

ИВАН
УКСУСОВ
ГОЛОДНАЯ
СТЕПЬ

ИВАН УКСУСОВ. **ГОЛОДНАЯ СТЕПЬ**



ИВАН УКСУСОВ

ГОЛОДНАЯ СТЕПЬ

РОМАН



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1979

Р 2
У 41

«Голодная степь» — роман о рабочем классе, о дружбе людей разных национальностей. Время действия романа — начало пятидесятых годов, место действия — Ленинград и Голодная степь в Узбекистане. Туда, на строящийся хлопкозавод, приезжают ленинградские рабочие-монтажники, чтобы собрать дизели и генераторы, пустить дизель-электрическую станцию.

Большое место в романе занимают нравственные проблемы. Герои молоды, они любят, ревнуют, размышляют о жизни, о своем месте в ней.

За роман «Голодная степь» И. И. Уксусову присуждена Поощрительная премия Всесоюзного конкурса 1976—1978 годов ВЦСПС и Союза писателей СССР за лучшее произведение художественной прозы о современном советском рабочем классе.

У $\frac{70302-024}{083(02)-79}$ 117—79 4 702 010 200

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

У ДРЕВНИХ БЕРЕГОВ ЯКСАРТ-СЕЙХУН

I



а станцию Голодная Степь приехали поздно вечером. Дежурный по станции показал им дорогу на хлопкозавод. Они переглянулись с веселой озабоченностью и давай смеяться. С ума сойти — в темноте тащиться с чемоданами по степи, знаменитой своим мрачным названием! Но и торчать до утра на вокзале им тоже не хотелось. Надвигалась среднеазиатская ночь — душная, неподвижная. Можно было подумать, что ветры и дожди здесь не шумели с сотворения мира, все высохло от зноя и затаилось в тяжком ожидании грозы, которая уже бушевала где-то вдали, часто и беззвучно забивая в темный небосклон высокие белые молнии.

Рудена сказала, что никуда отсюда не пойдет. Горбушин взглянул на нее и промолчал. Шакир засмеялся:

— Еще бы, Карменсита! Что ты напихала в чемоданы? Литые!..

— Литые... — с удовольствием подтвердила Рудена.— А тебе завидно? — Она присела на угол чемодана, дымя сигаретой, положила ногу на ногу. — Два больших и один средний, так уж и много? Я приехала на четыре месяца, а не в однодневный дом отдыха.

— Тогда грузила бы парочку контейнеров!

— У тебя забыла спросить!

Горбушин предложил позвонить на завод: может, пришлют машину? Рудена вскочила, чмокнула его в щеку.

— Браво! Где тут телефон? Мы не обязаны блуждать впотьмах, пускай за нами присылают легковушку.

— Лучше ишака — вот покатили бы!

— Шакир, ты бываешь когда-нибудь серьезным?

— Я? Серьезным? Горбушин, ответь ей!..

Дежуривший на заводе вахтер по-русски заговорил с отчаянными усилиями да еще вздумал уточнять: какие такие шеф-монтеры приехали? Что такое шеф-монтеры? Где монтировать, когда? Разрешение есть?.. Горбушин старался отвечать коротко, отчетливо.

— Мы не русский дизель привезли, нет! — кричал он в трубку, досадуя, что слышит вахтера еле-еле. — Мы от завода «Русский дизель» приехали. Из Ленинграда... Понимаете? Монтировать на вашем хлопкозаводе три дизеля с генераторами. Вы слышите меня?

Шакир вырвал у него трубку.

— Салам алейкум, уртак! Салам алейкум!

— Алейкум ассалам, алейкум ассалам!.. — обрадованно закричал вахтер.

Шакира он понимал лучше, хотя тот тоже говорил по-русски, и обоим почему-то уже не мешала плохая слышимость. Вахтер пообещал доложить о них директору на квартиру, его ответ передать на станцию. И, действительно, вскоре сообщил шеф-монтерам, что через полчаса за ними придет грузовик. Но минули эти полчаса, минул час, полтора прошло, а грузовика все не было.

Рудена хныкала:

— Я совсем задыхаюсь, ребята... Ночь, и такое пекло... Это же баня... Ад... Первое сентября называется!

Поговорив еще немного о том же — идти на хлопкозавод навстречу машине или ожидать ее на станции,— они приняли решение и зашагали в темноту, приглядываясь к чуть светящейся от пыли дороге. Но можно было и не приглядываться. Грозовые всполохи с горизонта переместились уже выше, теперь часто освещая большую нависшую тучу, бурно раздуваемую каким-то внутренним ветром, еще неощутимым на земле, но уже угрожающим обрушиться на нее шквалом. Туча с гневом бросала молнии во все стороны сразу — они рассыпались фейерверком.

Шеф-монтеры тревожно прибавляли шаг, в моменты вспышек осматриваясь. Ожидали увидеть хлопковые поля — ведь приехали они в страну хлопка, но вместо

хлопковых полей возникали в таинственно резком свете обыкновенные домики в садочках за глиняными дувалами и железная дорога напротив. На невысокой насыпи были навалены арбузы, вероятно приготовленные к погрузке в вагоны. Арбузы никто не охранял.

Изумительно было это зрелище все усиливающейся грозы здесь, в Средней Азии... Небо то мгновенно погружалось во мрак, не оставляя ни малейшего просвета, то ослепляло встающим от горизонта до горизонта острым сияющим всплеском, и затем раздавался гром, потрясая все живое. Грома столь оглушающей, столь раскатистой силы ленинградцы до этого никогда не слышали.

Они бросились бежать, жалея, что не задержались вблизи домиков переждать грозу. Впереди мчалась Рудена, держа в правой руке чемодан, левую подняв и вытянув для равновесия, как делают хозяйки, таща от колодца ведро с водой. За нею шагал Шакир: на плече чемодан, за плечами раздувшийся, переполненный рюкзак. Горбушин отстал. На ремне через плечо нес два увесистых чемодана Рудены и свой, не менее увесистый, в руке.

Рудена, оборачиваясь, покрикивала испуганно:

— Да побыстрее вы! Или уже выдохлись? Сейчас ливанет, уже капает!

Но Горбушин, обессилев, остановился.

— Где же машина? Мы не пошли другой дорогой?

— Снимай чемоданы, пока Рудена не удавила тебя ими! — подошел смеющийся Шакир. — Я скажу Скуратову спасибо, когда вернемся домой. Что дал нам в напарники даму, это замечательно, но уговора не было, что она наберет полтонны контейнеров!

От дождя они все-таки удрали. Помог грузовичок. Его фары так тускло засветились впереди — сразу и не признаешь, машина ли это. Останавливаясь, он поднял облачко удушливо-горячей пыли, мельчайшей сеткой закружившейся в свете фар. Очередная молния позволила шеф-монтерам увидеть высунувшуюся из кабины голову человека, до того заросшую обвисающими волосами, что она напоминала голову льва.

— Грузи скора!.. — вскричал шофер.

Чемоданы в крытый брезентом кузов шеф-монтеры покидали как попало, лишь бы скорее,— гром уже затихал разве что на секунды. А потом и этот грузовичок, под стать чудесам на небе, не тронулся медленно, как

обычно трогаются автомашины, а прыгнул, будто собака, вперед, затем прыгнул еще раз и еще, заставив шефмонтеров схватиться друг за друга и лишь тем удержаться от падения. И бешено помчался по дороге, подскакивая на неровностях и шатаясь.

Дождь пошел крупный, шлепками то здесь, то там, словно давал земле пощечины. Горбушин и Рудена присели на корточки, прижавшись друг к другу, молчали. Шакир стоял, держась за борт. Намокшая парусиновая крыша устрашающе хлопала над его головой, он не придавал этому значения и весело кричал:

— Тысяча и одна ночь! Нас встречают торжественным салютом!

2

Проснулись они в доме директора хлопкозавода Усмана Джабаровича Джабарова. Горбушин первым открыл глаза, не спеша поднялся с раскладушки, осмотрелся и подумал, что вот он и в таинственной Средней Азии, где побывать хотел еще подростком, когда читал сказки об этом удивительном крае.

Три окна в просторной комнате зарешечены толстыми железными прутьями... Странно! А на деревянных настенных полках расставлены начищенные до блеска медные тазы и маленькие тазики, рядом с ними сверкают узкогорлые кувшины с тонким узором. Чьи жилища украшала эта посуда? Когда? А теперь служит экспонатами домашнего музея...

В углу комнаты стоит сундук, обитый ясной и местами уже поржавевшей жестью, на его передней стенке нарисована птица, похожая на павлина и одновременно на глухаря. Веером развернув яркий хвост и приспустив крылья, она приготовилась взлететь, выкатив большие, как у барана, глаза, и сколько же в них самого естественного напряжения! Придуманная птица, а какая живая!

Эти ли решетки и медная посуда или она, птица с бараньими глазами, навели Горбушина на мысль об одной встрече? Он в прошлом году возвращался с Шакиром из Куйбышева, там они монтировали дизель в железнодорожном депо; спутником в купе был старый человек с насмешливыми глазами, инженер-ирригатор, много лет проживший в Средней Азии, откуда и ехал теперь в отпуск к родным на Смоленщину.

Он похвалил профессию Горбушина и Шакира, позволяющую им многое увидеть в стране, и неожиданно стал иронизировать над туристами. Едут смотреть чужое, а вот о своем Советском Востоке многие имеют лишь очень отдаленное представление, тогда как именно там пытливый ум обнаружит и природу, поражающую воображение грандиозными масштабами, и захватывающую историю многочисленных древних народов, следы древних культур и интереснейшее современное искусство. На тысячах километров лежат под раскаленным добела солнцем океаны хлопка, океаны фруктовых садов, желтые, черные, красные пески пустынь. Тысячи километров занимают горы. В глубоких теснинах беснуются реки, водопадами срываясь с высот.

И вот теперь они все это увидят.

Проснулся Шакир. Сложив ладони рупором, он возвестил подъем.

3

Они быстро умылись и оделись. Даже Рудена, спрятавшаяся с чемоданами за ширмой, не заставила себя ждать. Они спешили на хлопкозавод принять по акту здание ДЭС — дизель-электрической станции, чтобы со следующего дня приступить к работе,— машины из Ленинграда были доставлены заранее. И только занялись булочками с маком, еще дорожными, как в дверь постучали. Вошла полная женщина в пестром халате с подносом в руках: на нем едва умещались три пиалы, чайник, сахарница и тарелка с беляшами.

— Привет, земляки! — с удовольствием сказала она.— Я жена Усмана Джабаровича, меня зовут Марья Илларионовна.— Поставив поднос на стол, она поправила русые, с сильной проседью волосы, уложенные короной.

Шакир поспешил предложить ей стул.

— Не надо! Это вы приходите к нам вечерком посидеть за чашкой чая, там и познакомимся как следует. А вас я, милочка,— задержала она мягкий взгляд на Рудене,— сегодня вечером переселю отсюда. За этой стеной у нас живут две девушки-подружки, так мы подумали с мужем, что вам хорошо будет с ними.

Рудена слушала с заинтересованным видом, но одновременно и укоряла себя. Зачем ночью пошутила, когда

директор ввел их сюда: «И я буду здесь спать?» Именно здесь, не считаясь с неудобствами, она бы, пожалуй, пожила день-другой. Так хотелось показать Горбушину, какой она может быть хорошей и заботливой хозяйкой.

— А вы пейте, пейте, пока чай горячий и не остыли беляши,— Марья Илларионовна, продолжая улыбаться, ушла. Шакир, лишь дверь за нею закрылась, схватил беляш и изрек:

— А жизнь налаживается!..

После завтрака все вышли из комнаты и остановились на крыльце осмотреться — поздороваться с землей узбекской теперь уже при солнце. Дом состоял из двух мазанок с плоской крышей, стоящих под углом одна к другой. У каждой было свое крыльцо: у одной голубое, у другой красное. И перед каждым розовый куст. На одном цветы белые, на другом пунцовые. К ним тянула отяжеленные плодами ветки низкорослая шатрообразная груша. За нею, метрах в двадцати, беседка, закрытая пятипалыми листьями, между которыми проглядывали гроздья винограда.

После ночного ливня веял мягкий ветерок, колыхал на глиняном дувале махровые маки. Целая шпалера их, ярчайших, на высоких тонких стеблях, дружно качала головами-чашами в сторону дома, словно приветствуя молодых людей. Рудена ойкнула от восхищения и побежала к дувалу. Потом они медленно шли по улице к хлопкозаводу, с любопытством приглядываясь к людям, домам, садам, цветам; даже собаку, обыкновенную дворнягу, бежавшую с высунутым языком в тени дувалов, они встретили внимательным взглядом.

Рудена заметила среди развешенного на веревке белья цветастую ситцевую юбку со множеством складок, снисходительно улыбнувшись старине, скользнула взглядом по своему облегающему платью строгого серого тона, по белым туфлям на высоком каблуке. Голову ей покрывал атласный, чуть побольше носового платочек, завязанный по-крестьянски на прямой узел: такой платочек этим летом пятьдесят четвертого года только-только начинал входить в моду; большой белой сумкой Рудена небрежно покачивала от себя к себе, а не в направлении шагов.

Она взяла бригадира под руку.

— Поцелуй меня, Горбушин!

— На улице?! — удивился он.

— А ты уже испугался? — рассмеялась Рудена.

Он промолчал, подумав: «Как ты не похожа на Ларису...»

4

За воротами Шакир по привычке взял на себя роль ведущего. Они с Горбушиным ездили обычно вдвоем, лишь предстоящая большая сборка заставила начальника цеха Скуратова придать им третьего шеф-монтера, Рудену Яснопольскую. Иногда Шакир заслонял бригадира, но тот не обижался на школьного дружка, напротив, бывал ему признателен за помощь, потому что сам в отношениях с заказчиками не отличался находчивостью, тогда как у Шакира этой находчивости хватило бы на троих.

Он со всеми сходился завидно легко. С одним похохочет, с другим пошутит, третьему посочувствует, четвертого пожурит, пятого похвалит, и, глядишь, для всех уже свой. Он щедро пользовался помощью других, но никогда не злоупотреблял этим. Кое-кто не без основания называл Шакира трепачом. Следующей весной он должен был закончить заочный политехнический институт, получить диплом инженера-механика, но поверить этому могли немногие.

— Уртаклар! — поднял он руку, как только все оказались за воротами хлопкозавода. — Перед вами зданий двадцать в общей сложности. Одни из них уже построены, другие только еще строятся. Пусть вас не смущает море грязи на дворе, аллах свидетель, какой ночью рванул дождичек. Кызымка! — прервал он себя, обратившись к проходившей мимо девчонке в седом от известковых пятен комбинезоне; в руке она держала завернутую в газету книгу. — Извините нас, пожалуйста... Можно узнать ваше имя?

Она остановилась. Взглянула нерешительно, но ответила:

— Муасам!

— Муасам... — таял в улыбках Шакир. Он хотел порасспросить ее о строительстве, но она опередила его:

— Я плохо говори по-вашему... А?

— Ну что вы... Вы замечательно говорите...

— Вы нэ здэс жил... А?

— Надо же, как вы угадали! — восхищался Шакир.— Скажите, пожалуйста, зачем строят эти очень широкие сараи?

— Амбары сложить пахта...

— Что такое пахта?

— Хльооопок...

— У вас хлопок называют пахтой?

— Да...

Очень смущаясь своего выговора, Муасам пояснила, что она с подругой изучает русский язык, и в подтверждение показала книгу: «Записки охотника» Тургенева.

Глаза у нее были черные, с сильным блеском, как у тетерки, а черные брови еще и начернены сурьмой или усмой. Талию перехватывал красный шелковый поясок, показавшийся Рудене лишним на рабочем комбинезоне. Восемь длинных черных кос переброшены на грудь, заправлены за поясок. Ковრово-красная тюбетейка надета слегка набекрень.

— Я живу дом директора, он мой родной дядя...

— Тысяча и одна ночь! Так мы соседи?

Улыбнулась девушке и Рудена:

— Меня Марья Илларионовна сегодня поселит к вам!

Муасам обрадовалась новости, но, кажется, и смутилась еще больше.

Вероятно, вежливость не позволяла ей спокойно повернуться и уйти: она удалялась, непрерывно кланяясь и улыбаясь этим чужим людям, которые, впрочем, ей понравились. Девушка шеф-монтерам тоже понравилась.

Они пошли в глубь завода, но вскоре задержались перед широкой лужей грязи. Высматривая, куда лучше поставить ногу, Рудена то стояла на одной, то делала полупрыжок и увязала в грязи еще больше. В довершение беды на нее смотрели со стены воздвигаемого амбара, весело смеясь, молоденькие строительницы. Среди девушек, одетых в одинаковые комбинезоны, Шакир заметил Муасам, узнав ее по переброшенным на грудь косам, снял шляпу и стал приветственно размахивать, надеясь отвлечь внимание девчонок от Рудены, но не тут-то было. Они смотрели, помирая со смеху, только на нее. А Муасам спряталась за выступ стены.

Горбушин попросил Рудену идти напрямик, не смешить людей, а к ней в такие минуты лучше уж было не

подступать: сама не своя от злости на грязь и этих хохотушек, она ответила бригадиру резко и смутилась, потому что грубость не входила в ее планы.

— А ты знаешь, сколько я за туфли заплатила? Нет, не знаешь?.. Ну и заткнись!

Выход из положения она придумала. Повесила сумку на шею, сняла туфли и, держа их в вытянутых руках — с них капало,— в чулках-паутинках пошла напрямик. Теперь девчонки на стене амбара от смеха падали одна на другую.

У водонапорной колонки на пригорке Рудена вымыла туфли, затем ноги, обулась и с подчеркнутым достоинством приблизилась к мужчинам, ожидавшим ее в стороне.

Недоделки в знакомом типовом массивном здании ДЭС издали бросились в глаза сборщикам. Не застеклены по-заводскому широкие, высокие окна, этакие сетки из многочисленных мелких рамок, не стоят у ворот ящики с дизелями и генераторами, где им надлежало стоять согласно требованиям технических правил. Горбушина и Шакира это встревожило, а Рудене было не до станции.

Ее мучило случившееся недоразумение с Горбушиным. Она всегда вот так себе навредит, а потом переживает... Сколько плакала от своего характера! Что Горбушин сейчас думает о ней?

Выбрав минуту, уже перед зданием ДЭС, взяла его за пальцы, стараясь, чтобы этого не заметил Шакир, потянула книзу. И голос ее зазвучал виновато:

— Никиток... ты сердишься на меня?

— За что?

— Да за туфли, гори они...

— Я забыл об этом.

— Врешь!..

Он схватил ее за талию, приподнял и стал кружить. Она быстро поджала ноги, чтобы не ободрать туфли... А вскоре довольная, даже счастливая, она удивленно ахнула:

— Слушайте, парни... Директор сюда идет! Вон он, вон... А ну, сделайте умные лица!

Шакир хохотнул:

— Тебе это не поможет!

На Джабарове была старая-престарая тюбетейка, замасленная и захватанная, не лучшего вида и комбинезон. Приближаясь, он опирался на цепной ключ, как на палку. Одежда и ключ делали его похожим на разнорабочего.

— Салам алейкум! — приветственно поднял он руку с ключом. — Какие вы молодые и красивые, ночью я вас не рассмотрел... Комсомольцы, да?

Рудена зарделась от удовольствия, приняв комплимент на свой счет и не заметив его двусмысленности. Шакир всем своим видом показывал, что шутка принята и дальнейший разговор следует вести в том же ключе. И только Горбушин усмехнулся приличия ради, в словах директора услышав недоверие, и был прав. Джабарову приятно было смотреть на молодых, отлично одетых ленинградцев, но одновременно и тревожно. Смогут они должным образом выполнить работу, собрать и пустить в эксплуатацию шесть тяжелых, громоздких машин — три дизеля, три генератора?

Горбушин достал из кармана копию акта-договора о продаже машин «Русского дизеля» хлопкозаводу, в котором говорилось, что качество монтажа завод-поставщик гарантирует, протянул Джабарову. Но тот читать не стал. Копия была и у него.

— Не будем ссориться, друзья! — посмеивался он, в свою очередь поняв Горбушина. — Лучше доложите мне, как отдыхали? Такая ночь в Узбекистане — большая редкость. — И стал поправлять свою старенькую тюбетейку, чуть прикрывающую смоляные волосы, образцово уложенные природой кольцом к кольцу.

Рудена за всех поблагодарила его.

— Я просил жену дать вам больше одеял. Не замерзли? Вы приехали не из Ташкента, я понимаю, приехали не на одну неделю, я все прекрасно понимаю... Мы вам создадим условия, не беспокойтесь.

Но если понимал шеф-монтеров он, то не совсем понимали они его. Не знали, серьезно говорит или шутит,— в заблуждение вводил акцент Джабарова, а также многие неправильно выговариваемые слова. Часто произносимое «не», например, у него звучало как «нэ»...

Пнув ногой порожнюю бочку из-под цемента, он откатил ее от стены ДЭС. Вернулся, склонился и начал

отбрасывать куски битого кирпича, поругивая строителей. Всегда оставляют мусор!

Рудене интересно было наблюдать за ним. Внезапно она сказала, что ни одного ленинградского директора никто не заставит катать по заводскому двору грязные бочки или швырять кирпичи. Джабаров ответил, не оставив работу:

— Зачем равняете? У вас большой завод, большой директор. Я свинью вчера гонял здесь, прибежала с поселка. Я ее к воротам гоню, она к амбарам бежит. Как выражала протест!.. Пока не попал по ногам ключом, бегала...

Горбушин спросил, кто им сдаст по акту станцию. Он, Усман Джабарович?

— Зачем я? — не разогнулся Джабаров и теперь. — Или думаете, если бросаю кирпичи, значит, мне делать нечего? Сейчас придет главный механик.

Он и пришел через несколько минут, седой и грузный человек с опустившимся веком на левом глазу, отчего правый глаз, раскрытый шире обычного, смотрел резко, и многих людей это смущало.

— Гулам Абдурахманович Ташкулов, — представился он.

Директор ушел, провожаемый неодобрительным взглядом Ташкулова, что не укрылось от внимания Горбушина, и догадка, что на ДЭС не все благополучно, опять тревожно шевельнулась в нем. Но, ничем не показав своей озабоченности, он любезно спросил, кто сдаст им по акту станцию.

— Пригласим инженера Дженбека Нурзалиева, начальника СМУ. Завод строит он, ему и сдавать,— последовал ответ.

— Принять здание мы имеем право только от одного из членов заводоуправления,— возразил Горбушин.

— Почему?! — сразу пошел в наступление Ташкулов.

— Потому что договор «Русский дизель» заключил с вашим заводом, а не с узбекским СМУ, вы и обязаны сдать нам готовый для монтажа машинный зал.

— Я не строитель, я главный механик!

— Мы охотно примем станцию от главного механика,— улыбнулся Горбушин.

— Одну минуту, дорогие... Минуту! Вы правы! Наш завод имеет обязательство перед вашим заводом, а

государственный подрядчик, СМУ, имеет обязательство перед нашим заводом. Как быть?

Шакир увидел, что способность к возражению у бригадира иссякает.

— Вопрос очень серьезный,— поддержал он Горбушина,— в каком помещении, хорошо или плохо сделанном, будут работать машины. И другое учтите: типовые технические условия, которыми мы руководствуемся, утверждены Техническим комитетом при Совете Министров СССР.

У Ташкулова вырвалось:

— Хорошо в Ленинграде! Хорошо в Москве! Нанимай кого хочешь, сколько хочешь... В Голодной степи вечный голод на людей... За каждым способным работать бегут два нанимателя... Я сам бегаю, я, Ташкулов!..

Рудена спросила, почему дизеля и генераторы не стоят у ворот ДЭС, где им положено стоять по техническим условиям. И услышала: по указанию начальника СМУ, инженера Дженбека Нурзалиева, машины сгружены в ста метрах от ДЭС.

— Интересный ваш товарищ Нурзалиев! — весело заключила она. — А мы что же, на себе их сюда принесем? В каждом дизеле двадцать тонн, в генераторе — десять.

— Дорогие товарищи... Вес ваших машин меня не касается. Машины тяжелые, этого достаточно. Меня интересует, чтобы вы остались довольными ДЭС. Помещение должно быть надежным. Я правильно говорю?

Занятые разговором, они все же заметили, как к ним с изящной легкостью подошла девушка. Она была до того глазаста, что создавалось впечатление, будто глаза жили отдельной, независимой от лица жизнью и даже несколько его подавляли.

Она проговорила почти без акцента:

— Здравствуйте, товарищи!

Ташкулов представил пришедшую:

— Наша сотрудница Рипсиме Гулян... — Он задумался, приложив два пальца ко лбу, затем обрадованно воскликнул: — Джуда якши!.. Она вам сдаст станцию! В чем дело? Представительница заводоуправления...

Сколько можно возражать? Шеф-монтеры волновались. Особенно неприятно было Горбушину, но отказаться от строгой требовательности в этих переговорах он не имел права.

Рипсиме Гулян почтительно заметила Ташкулову:

— Гулам Абдурахманович, удобно ли сдавать одной мне? Может быть, вместе с Нурзалиевым?

— Его нет на заводе. Уехал проверять строительство дороги. Вы видали базар в Самарканде, ленинградцы? Нет, не видели? Советую посмотреть. Это всем базарам базар. Так я вам должен сказать, что у меня такой же развал в корпусах. Базар в Самарканде! Всюду валяются детали хлопкоочистительных устройств, пухоотделительных устройств, камнеуловительных устройств... Сам я не имею возможности сдать вам станцию!

Рудена, заинтересовавшись сообщением о строящейся дороге, улыбнулась:

— Что вы строите дорогу, это хорошо, но почему двор заливает грязища?

Ташкулов нацелился на нее правым глазом:

— Двор подождет... Надо скорее подводить хорошую дорогу к заводу. Конечно, мы извиняемся, пострадала ваша замечательная обувь!

Рудена покраснела.

— При чем тут мои туфли, странно вы рассуждаете... Культура производства должна быть или нет? — с трудом сказала она.

Ташкулов учтиво наклонил голову:

— Я так вас и понял...

Старый человек смутил не только ее. Быстро, осуждающе взглянула на него Рипсиме Гулян, откровенно выразив сочувствие Рудене. Ташкулов, впрочем, не придал этому значения. Сочтя вопрос о сдаче ДЭС решенным, он повернулся и пошел к главному корпусу, откуда только что стали раздаваться визг электропилы и гулкие удары деревянного молотка по жести.

Гулян стояла полуотвернувшись, застыв в неловком ожидании. Горбушин подошел к ней:

— Извините, пожалуйста, можно узнать, какую должность вы занимаете на заводе?

— Это не имеет значения, поскольку моя маленькая обязанность заключается в том, чтобы показать вам станцию. Вы старший?

— Бригадир... Горбушин. Значение имеет не ваша маленькая обязанность, но ваша должность, поскольку акт о сдаче, очевидно, предложат подписать вам, а нам не безразлично, какое должностное лицо это сделает.

— Я ничего подписывать не стану!

— Тем лучше... Если вы только покажете машинный зал, документ о сдаче подпишет либо директор, либо главный механик. Мы можем приступить к осмотру?

— Пожалуйста!

6

Она достала из карманчика большой, рыжий от ржавчины ключ, замок на воротах стала открывать с такой хозяйской уверенностью, что Горбушин невольно спросил себя: не было ли ей заранее приказано сдать шеф-монтерам станцию?

В нем росла тревога. На ДЭС не все благополучно, сейчас он убедится в этом. Но действительность серьезно превзошла его тревожные ожидания. Лишь половинки ворот поползли в стороны, Шакир ошеломленно пробормотал:

— Тысяча и одна ночь...

Потерянно сказала и Рудена:

— Надо же... Тут и конь еще не валялся, а нас вызвали за тридевять земель монтировать машины!

Горбушин удрученно молчал. Вот так они все трое растерялись, еще не переступив порога. И было отчего. Пол в машинном здании, длинном, широком, был пока еще только черный, то есть железобетонный, а должен быть уложен серой метлахской плиткой в косую ленточку. Шесть окон от пола до потолка с левой стороны, шесть точно таких же с правой и вся громадная крыша застеклены не были. Мягкий ветерок, что колыхал маки на дувале Джабарова, здесь, на сквозняке, тонко посвистывал. Отсутствовал мостовой подъемный кран, без которого шеф-монтерам и крышек с машин не поднять, а их на трех дизелях восемнадцать штук, и каждая весом до трехсот килограммов. Отсутствовали подкрановые пути на стенах, не видно было заготовок к ним, рельсов и коротко нарезанных шпал.

Вот когда Горбушин до конца понял, почему ни директор, ни главный механик сами не захотели сдавать станцию. И сдавать-то нечего. Голые стены. ЧП... Он не имел права начать монтаж в таких условиях, да и не смог бы, если бы даже захотел. Он должен был немедленно вернуться с бригадой в Ленинград. Инструкция шеф-монтерам пищи для кривотолков решительно не оставляла.

Но, вспомнив об инструкции, Горбушин почувствовал досаду. Узбекистан — братская республика. Как уехать отсюда, ничего не сделав на объекте? Тяжелое чувство через минуту усилилось: Шакир обнаружил новый недостаток, совершенно уже исключающий возможность работать. Из трех железобетонных фундаментов, возвышавшихся посреди здания, на которые следовало установить дизеля, один, средний, был запорот: отверстия для анкерных болтов, которыми машина прикрепляется к фундаменту, были сделаны не в шахматном порядке, как это требовалось по чертежу, а в линию, что начисто губило всю проделанную строителями работу. Для начала следовало отбойными молотками взломать фундамент, очистить яму от бетона и заново по металлическому каркасу залить ее бетоном.

Горбушин был потрясен. Он не знал, что думать, что делать,— разбегались мысли. Ведь что происходило в таких случаях, когда шеф-монтеры отказывались работать и возвращались в Ленинград? Директор предприятия, клянясь объективными причинами, помешавшими ему выполнить договор, поднимал скандал: отказом работать шеф-монтеры нанесли предприятию большой убыток, погасить его должен «Русский дизель», отказавшийся собрать в плановый срок машины. И разрастается переписка, которая нередко передается в главки, в арбитражные комиссии министерств, и каждая сторона защищает прежде всего честь мундира. А два директора войну остановить не могут, они бьются, словно петухи, до крови, и, в конце концов, их понять можно. Никому не хочется схватить выговор. Неужели допустить такую тяжбу между Узбекистаном и Ленинградом? Надо искать выход.

Стараясь успокоиться, Горбушин достал коробку с папиросами, закурил. Это был его шестой самостоятельный выезд на объект — до этого ездил подручным мастера. На пяти объектах Никита Горбушин и Шакир Курмаев смонтировали машины отлично. А теперь, выходит, орешек попался не по их молодым зубам? Тем более хотелось раскусить его, чтобы показать себя настоящими мастерами, способными выйти из любого тяжелого положения. Но как, как поступить?

У обоих шла голова кругом. Пока Горбушин знал только одно: машины можно монтировать с помощью талей и домкратов, средний же фундамент не сложно

сделать заново в готовой-то яме; но сборка допотопными средствами затянется, сломает план, что вряд ли устроит администрацию хлопкозавода, а «Русский дизель» ни за что не позволит своим мастерам возиться в Узбекистане дольше договорного срока. Завод буквально завалили заказами на установку и монтаж дизелей. Нередко бывало, что шеф-монтеры, закончив работу на одном объекте, получали телеграфное указание направиться на другой не заезжая в Ленинград, и не поездом, а по воздуху, чтобы скорее. «Скорее, скорее» — было лозунгом дня, часа. Шло первое послевоенное десятилетие, восстанавливалась разрушенная войной промышленность и сразу же закладывалась новая,— дизеля всюду требовались не менее остро, чем уголь, электричество, металл, нефть.

Велик был спрос и на хлопчатобумажные ткани, — кому не надоело носить ватники в долгую военную пору? Узбекская республика, ведущая по хлопкосеянию, непрерывно увеличивала посевы хлопчатника, и, хотя уже было известно, что через три-четыре года ее переведут на единую энергосистему и дизели повсеместно снимут (они и были сняты в конце пятидесятых годов), тем не менее советское правительство и на это короткое время решило отправить в Среднюю Азию партию мощных дизель-генераторных машин, следом за которыми на места выезжали бригады шеф-монтеров.

Попросив Шакира замерить оба крайних фундамента, правильно ли они сделаны, Горбушин и Рудена пошли к воротам, где поджидала Рипсиме Гулян. Она стояла спиной к машинному залу, показывая сборщикам, что их внимание к ДЭС ее не интересует.

Рудене это не понравилось. Впрочем, ей не нравилось и то, что девушка красива.

— Товарищ,— сказала Рудена,— что же получается? Черный пол вместо плитки... В каждом дизеле тринадцать тысяч деталей,— черное класть на черное, чтобы все смешалось? А есть детали не толще иглы, не больше птичьего глаза!

Гулян не переменила позы. Это показывало, что и Рудена ей не понравилась.

— Не беспокойтесь, пожалуйста, ваши детали не смешаются... Пол мы закроем брезентом, которым укрывают бунт хлопка от дождя, и можете раскладывать свои

детали, как вам захочется. Что же касается плитки, то она давно выписана, и, как только прибудет, мы сейчас же займемся ее укладкой.

Рудена иронически засмеялась.

— Ты слышишь, бригадир? Плитка выписана, скоро будет здесь... А нам, девушка, что же, сидеть и ждать ее? Это бы ничего, отдохнуть и позагорать у вас можно, солнце горячее. Но кто нам оплатит такой курорт, уж не вы ли?

Горбушин попросил Рудену говорить спокойнее, и она обиженно умолкла. Гулян, кажется, осталась этим довольна. Она повернулась к Горбушину, и его поразили ее удивительные глаза.

— Вы только не подумайте, бригадир, будто от вас намерены что-то скрыть. Недоделки на станции серьезные. Объяснение им — хроническая нехватка людей... Еще я должна вам сказать, что завод строит СМУ, вот к его начальнику, инженеру Нурзалиеву, пожалуйста, и обращайтесь со своими претензиями. Я предлагаю вам защищать интересы своего «Русского дизеля», а не нашего хлопкозавода.

Горбушин, чтобы уйти от искушения смотреть девушке в лицо, опустил голову.

— Об интересах нашего завода здесь следовало кому-то подумать раньше!

— Думали, думали!

— Это незаметно, представьте...

— Но я же сказала вам о нехватке людей... Директор даже инженера поставил сюда наблюдать за темпами строительства и его качеством.

Это услышал Шакир, который подходил, на ходу складывая белый металлический метр.

— Инженер контролировал это строительство? — удивился он.

— Да! — быстро, охотно ответила девушка.

— Ну и специалист он, знаете! Его бы за такой контроль уволить с работы без выходного пособия!

Гулян хотела что-то возразить, но вдруг смешалась, покраснела. Она заговорила после короткого молчания и с заметным усилием:

— Нельзя так говорить о человеке, которого вы не знаете!

— Простите, девушка, но я его знаю. Очень хорошо знаю. Качество его работы — вот лучшее удостоверение

его личности! А что здесь? Контрольный инженер позволил строителям допустить грубейшую ошибку, не справился, в сущности, с чепухой.

— Но если он еще неопытный... Никакого опыта...— От смущения лицо девушки сделалось уже багровым. И понятно было, как она от этого страдала.

— А зарплату, в силу своей неопытности, позвольте спросить, он не забывал получать два раза в месяц?

— Не забывал... — согласилась она с отчаянным уже усилием.

А затем произошло никем не предвиденное. Представительница заводоуправления быстро прикрыла ладонью глаза, всхлипнула и побежала к заводским воротам, не отнимая руки от глаз.

7

Шакир и Рудена ахнули. Она была контрольным инженером! И Горбушина озадачило поведение девушки, он тоже счел ее причастной к браку, но окончательно увериться в этом ему что-то мешало,— да он уже и знал, что именно. Он попеременно читал в ее глазах незаинтересованность происходящим, нетерпение узнать выводы сборщиков, просьбу помочь ей. И, наконец, это смущение, заставившее ее заплакать и убежать.

— Мне кажется, товарищи, что мы в чем-то ошибаемся!

Как же это задело Рудену! Она даже подбоченилась, выражая этим полное недоверие к услышанному:

— То-то, Горбушин, я подумала: дизелем, что ли, отрывать твой взгляд от нее?.. Поставил его на девчонку и умер. Она беды натворила, тут нечего и толковать. Вспомните, как стояла у ворот и даже смотреть в нашу сторону не хотела, а потом — плакать и бежать? Или ты где-нибудь видел, чтобы женщина плакала из-за того, что завод не выполнил производственного плана?

Горбушин промолчал.

Шакир радовался этой командировке в Узбекистан, восприняв ее как компенсацию за работу на прошлом, северном объекте, где его и Горбушина измучил гнус, это крошечное кровожадно-нахальное насекомое. Было там горя и смеху с этим гнусом. А еще Шакиру хотелось увидеть этот край потому, что когда-то он сделался новой родиной его далеких предков, сибирских татар,

часть которых увел сюда мрачный Чингисхан. И на новые амбары, разговаривая с Муасам, поглядывал он с приятным чувством: они, шеф-монтеры, заставят работать завод. А что получается? Завтра-послезавтра будут в Ленинграде. Лопается и пскентская командировка.

Им следовало три месяца работать здесь, в Голодной степи, затем переехать в Пскент, древний городишко, как им сказали в вагоне пассажиры, а точнее — большой кишлак, насчитывающий свыше двух тысячелетий своего существования; там они должны были за месяц смонтировать еще одну машину, тоже на новом хлопкозаводе, и домой, таким образом, вернуться на второй день тысяча девятьсот пятьдесят пятого года.

Бодрым настроением не могла похвастать и Рудена. Мужчины задумались над трудной задачей, она же долго размышлять не могла — заболевала голова и портилось настроение. Ожидая, когда Горбушин и Шакир примут какое-то решение, она бесцельно блуждала взглядом по заводскому двору, потом увидела бегающих по карнизу амбара изящных, будто выточенных хорошим мастером из разноцветного металла горлинок и засмотрелась на них.

Птицы занимались выяснением любовных отношений. Самец преследовал самочку, низко при этом опустив голову. Он непрерывно кланялся подруге и что-то ей пел, она же, независимая, гордая, легко бежала и часто оглядывалась, явно поощряя активнее преследовать ее.

«За нами бы, женщинами, так ухаживали мужчины! — вдруг пришла в голову Рудене нелепая мысль и рассмешила. — Как раз, жди... Черта с два!..»

Сняв с головы атласный платочек, обмахнув им лицо, она шикнула на птиц.

Рудена боялась дурных примет, а на этом дворе все для нее началось плохо. Попала в грязь на смех девчонкам, зачем-то грубо говорила с Горбушиным, которого любит, ее заставил покраснеть старый механик. Тревогу вызвала и эта красивая армянская девушка. Не окажется она Светкой номер два? И зачем столько красивых!..

Рудена повернулась к Шакиру. Он продолжал смотреть на небо и тихонько, не сходя с места, отбивал чечетку.

— Балерина тоже танцем выражает чувства,— недовольно сказала она. — Ты что, показываешь, как быстро мы должны исчезнуть отсюда?

— Трясу мозги, Карменсита, чтобы лучше работали!

— Что Горбушин политехнический кончает — в этом ничего особенного, так и быть должно. Ты-то зачем пошел в политехнический? Тебе бы в театральный как-нибудь проломиться. Пробовал?

— Папа-мама велели в политехнический.

— Ты сам папа-мама. Сколько сыну, три? Проломись как-нибудь в театральный, не боги горшки обжигают.

— Боги, Рудена, боги! Куда нам...

Рудена подошла к Горбушину.

— О чем ты все думаешь и думаешь, Горбушин? — Теперь ее голос звучал мягко и несколько заискивающе. — Тут думать не о чем... Пойдемте сейчас в контору, составим акт о полной неподготовленности помещения к монтажу машин и айда на станцию. Утром будем в Ташкенте, а там на самолет — и прощай, страна прекрасная!

Горбушин достал папиросы, медленно закурил. Конечно, дирекция «Русского дизеля» встревожится, вернись он в Ленинград с бригадой, но, поскольку вины за шеф-монтерами нет, она вступит с хлопкозаводом в переговоры о новом, более удобном для него сроке монтажа. А ему, Горбушину, что-то в этом не нравится... Не хотелось бы и подвести начальника цеха Скуратова, до смерти не терпящего заказчиков-жалобщиков — тех, что не выполняют своих обязательств, а потом выискивают всесильные объективные причины, чтобы понадежнее за них спрятаться и трепать нервы другим.

Это он, Скуратов, назначил, вопреки мнению директора завода, студентов-заочников Шакира Курмаева и Никиту Горбушина разъездными шеф-монтерами и оказался прав: работали они хорошо.

И сейчас победой над возникшими голодностепскими трудностями хотелось им правоту Скуратова доказать еще раз! Но как это сделать? Хоть он, Горбушин, все тринадцать тысяч деталей дизеля знает лучше своих рук, хоть весной получит диплом инженера-механика, но здесь все кажется неразрешимым...

К папиросам протянула руку и Рудена.

— Сегодня не уедем,— сказал Горбушин. — Прежде поставим в известность директора или Скуратова.

Достал сигареты и задымил Шакир.

— Если связываться с Ленинградом по телефону, так лучше ночью. Линия меньше загружена.

— Смешные вы, мужики, ей-богу! Да о чем звонить? Ну, был бы недостаток, два, три... Здесь ничего нет и запорот фундамент. Или вы считаете, что я хочу уехать из Узбекистана в разгар бархатного сезона? Да я, может, всегда мечтала попасть сюда. Тут одни дыни чарджуйские чего стоят. А виноград? Гранаты? Арбузы?

— Мы не за фруктами сюда приехали.

— Правильно! Но если обстоятельства сильнее нас...

— Открываю производственное совещание, уртаклар! В нашем цеху Скуратова иногда называют Людоедом — небось слышала, Карменсита? Так имей в виду, Людоед съест нас с сапогами и будет голоден, если не представим ему подробнейшего доклада о здешнем ЧП. Загибай свои музыкальные пальцы... Он спросит: что не сделано на объекте? Почему не сделано? Какими мотивами объясняет заказчик невыполнение договора? Чему мы должны верить? Почему мы должны верить? Наше предложение? А оно хорошо продумано? Но что мы Скуратову доложим, объясни мне, если примем твое решение уехать сегодня же? Не разговаривай с нами так, будто мы вчера пришли на «Русский дизель». Прошу тебя, не надо, Карменсита!..

Рудена рассердилась и стала оправдываться.

К ним подошла старая женщина в темном платке, темном платье, к легкому удивлению шеф-монтеров — русская.

— Усман-ака просит вас зайти в контору.

Шакир вгляделся в ее дряблое, темное от загара лицо.

— Вы говорите о директоре?

— О нем.

— Ташкулов тоже в конторе?

— Его нет.

— А начальник СМУ Нурзалиев?

— Он там.

Сборщики обрадовались. Сейчас все выяснится. И они направились за старой женщиной к воротам и пошли бы

куда быстрее, если бы она поспевала. Она еле тащилась, глядя себе под ноги. Рудена завела с нею разговор.

Ее звали Евдокией Фоминичной, она родилась в Голодной степи семьдесят шесть лет назад, в России никогда не бывала. Ее отец еще парнем приехал сюда с родителями по вербовке Переселенческого управления вместе с другими крестьянами из Минской, Смоленской, Полтавской губерний, потому что в обширном Туркестане хватало земель, которых никогда не касался плуг, а в обширной России — мужиков, из поколения в поколение остававшихся малоземельными и безземельными. Отец этой женщины не долго крестьянствовал, он поступил работать на сооружение первого оросительного канала от Сыр-Дарьи в Голодную степь, который строился на средства великого князя Николая Константиновича Романова.

От изумления Горбушин и Шакир шаг попридержали, готовые к расспросам, но тут все вышли за ворота и почти столкнулись с пляшущим на дороге человеком. Был он без фуражки, черные, длинные, как у женщины, волосы всклокочены, падая на лицо, они полузакрыли его, а борода начиналась словно от висков и занавесила грудь. С погасшей папиросой в зубах он тяжело топтался на месте, чуть похлопывая себя широкой, как лопата, ладонью по животу, по груди, по лбу.

Рудена как бы вновь увидела ночь в степных просторах, напугавших ее, и в свете молнии высунувшуюся из кабины голову человека, похожую на голову льва.

Узнал шофера и Шакир. Он приветственно поднял, посмеиваясь, руку:

— Грузи скора!..

Человек продолжал плясать, обращая внимание лишь на мальчишек, стоявших перед ним и жадно смотревших на него.

Евдокия Фоминична оказалась словоохотливей:

— Это наш шофер Роман, цыган из рода люли...

Шакир воскликнул:

— И великий князь, его императорское высочество, и цыган из рода люли... Какие у вас типы! А что это такое, род люли, тоже императорский? Тогда я сейчас сниму перед Романом шапку!

— Бес его знает, у него спрашивайте. Не человек он. Глядите, какие волосья... Год, поди, не расчесывал. А все вино. Сам его гонит из кишмиша. А опоздает на

работу — так вот и выделывает перед окнами конторы эту карусель, пока не выйдут приказать вахтеру пропустить на завод бедокура либо Усман-ака, либо Григорий Иваныч, либо Гулам-ака.

— А танцует неважно, хоть и цыган из рода люли! — решил Шакир.

Евдокия Фоминична, уже поднимаясь в контору по ступенькам деревянного крыльца, глуховато добавила:

— Вчера прибежал ко мне вахтер и гонит меня: скорей ступай к Роману, пусть едет на станцию, к нам из Ленинграда люди приехали работать... А ведь я его, почитай, больше часа будила. Храпит себе, как паровоз, и только. Я и по лбу кулаком стучала, и за бороду дергала, потом осерчала и ладонью рот закрыла и нажала... Тут он и проснулся. Вы-то, поди, ждали, ждали машину... Ночь какая страшная выдалась!

8

В кабинете Джабарова шеф-монтеров ждало начальство. Директор — за новым желтоватеньким письменным столом, на разостланной газете лежала его тюбетейка. Главный инженер завода, кореец Григорий Иванович Ким, пожилой человек с энергичным лицом. Начальник СМУ инженер Дженбек Нурзалиев, молодой киргиз спортивного вида с загорелым до синеватой черноты лицом и зачесанными черными, без блеска, волосами. У окна сидел, поставив локоть на подоконник, ладонью подпирая голову, бригадир слесарей-монтажников, секретарь партийной организации завода Нариман Абдулахатович Рахимбаев, старый узбек с седыми волосами.

Джабаров познакомил ленинградцев с присутствующими, потом скучно взглянул на Евдокию Фоминичну, задержавшуюся у порога.

— Работает ногами?

— Вытряхивает хмель!

Быстро заговорил с легким акцентом Григорий Иванович, поручая уборщице сказать вахтеру, чтобы пропустил Романа на завод. Отдав это указание, он обратился к шеф-монтерам:

— Вот, товарищи механики, поинтересуйтесь, как мы живем. Человек пьет горькую, но мы не можем его уволить, я вам больше скажу, мы боимся, что он уйдет от

нас. Из-за него, извините нас великодушно, мы не смогли вчера подать вам машину вовремя...

— Ну что вы... Это пустяк,— слегка смутился Горбушин.

— Голодная степь давно уже не голодная, на нее сам аллах глядит с неба и не может нарадоваться,— продолжал Григорий Иванович быстро, легко, с мягкой иронией. — Но люди почему-то игнорируют ее; посевы хлопчатника растут из года в год к нашей радости, люди живут очень хорошо, а новых поселенцев приезжает недостаточно.

Горбушин заметил: и главный инженер, как час назад Ташкулов и Гулян, заговорил прежде всего о нехватке рабочих рук.

Вошел главный механик Ташкулов, важно проговорив «салам», опустился на стул за спиной директора, оглядел всех пристальным взглядом. Джабаров, попросив Нурзалиева доложить, как идет строительство ДЭС, неожиданно прибавил:

— Да говори правду, Дженбек!

— Я брехать не умею,— засмеялся, обнаружив великолепный баритон, Нурзалиев.

— Все мы брехать не умеем,— скучно сказал Джабаров.

Перестав смеяться, Нурзалиев заявил, что надобности в докладе нет. Мастера из Ленинграда ДЭС осмотрели.

— Все-таки?.. — настаивал и все больше мрачнел Джабаров.

Горбушин согласился с Нурзалиевым: начальник СМУ прав, повторяться не надо. Они все видели. Приступить к монтажу завтра, как намеревались, они не смогут, потому что, видимо, придется по телефону консультироваться с руководством в Ленинграде.

Возникло молчание. Все думали. Потом заговорил Джабаров явно не о том, чего ждали от него присутствующие:

— Кто из вас, товарищи сборщики, обидел Рипсиме Гулян?

Рудена подхватила:

— Простите... Если вы имеете в виду девушку, убежавшую от нас, то еще неизвестно, кто кого обидел больше, мы ее или она нас... Ведь это она контролировала строительство ДЭС?

— Да.

— Она инженер?

— Инженер.

Рудена быстро бросила на Горбушина иронический и торжествующий взгляд. Потом опять повернулась к Джабарову и сказала, что благодаря такому замечательному контролю инженера Гулян они не могут монтировать машины и вынуждены вернуться в Ленинград. Сверх меры дружная реакция присутствующих на эти слова удивила даже Шакира.

Так пчелы, если стукнуть пальцами по улью, издают шум, похожий на глубокий вздох человека. В голосах людей зазвучали недоумение, беспокойство, протест. Рудена растерялась. Шакир, выжидая, плотно сжал губы. Горбушин опустил голову.

Так с ним иногда случалось. Если оратор на трибуне терял чувство меры и в зале начинали смеяться, ожидая от него очередной нелепости, Горбушин не смеялся вместе со всеми, он с чувством неловкости за неудачника опускал голову и не мог ее поднять, пока оратор находился на трибуне.

Бестактность Рудены заставила Горбушина вспомнить начальника цеха. Готовя их к поездке в Узбекистан, Скуратов иной раз обеспокоенно взглядывал на Рудену, а ему, Горбушину, признался: ни за что бы не послал ее с ними, да некем заменить, все шеф-монтеры на объектах. Он просил не забывать о ее грубоватом характере, которым она не всегда умеет управлять, просил чаще напоминать ей, что она в братской республике и вести себя должна с достоинством. Горбушин обещал не забывать об этом, но тут внезапно возникли у него эти новые отношения с нею, ошеломившие его своей ненужностью, и он почти утратил над Руденой власть бригадира.

Горбушин с опущенной головой ждал, когда его выручит Шакир, и не ошибся в этом ожидании. Шакир резковато сказал Рудене:

— Не спеши с выводами! Бригадир не принял окончательного решения, а ты чего выскакиваешь?

Когда все успокоились, бригадир монтажников Рахимбаев сказал Рудене на чистом русском языке, что Гулян не виновата, она работала на ДЭС не по специальности, ожидая, когда пустят завод и она займется хлопкообработкой, чему училась в текстильном институте

в Ташкенте. Нельзя очень уж за этот брак винить и строителей, так как большинство из них вчерашние разнорабочие.

— О фундаменте у нас больше разговоров, чем беды,— заключил старый бригадир. — В крайнем случае в тресте сделают маленький начет на Нурзалиева, что недосмотрел, не проверил. Так, Нурзалиев?

— Я говорил — я не согласен! Я прораб, не десятник, я не обязан совать свой нос в каждая щель, у меня их сто. Не надо на меня вешать дохлая кошка! — засмеялся веселый Нурзалиев.

И лишь умолк его отличный баритон, опять по-стариковски медленно начал Рахимбаев, теперь глядя на Горбушина:

— Почему же, товарищи, вы не можете приступить к монтажу? По-моему, надо соорудить надежные передвижные деревянные козлы, навесить на них две тали, мощную и малую, и можно открывать машины.

Горбушин наконец поднял голову, сказал, что о талях и домкратах думал и он, но позволит ли дирекция «Русского дизеля» работать таким допотопным образом? Он не знает. И просит присутствующих высказать свое мнение по этому вопросу, а он затем доложит руководству в Ленинград.

Джабаров первым подал голос:

— Предложение разумное. Другого выхода нет.

Остальные промолчали, выразив свое согласие с директором. Горбушин задал следующий не менее важный для себя вопрос:

— Когда будет установлен подъемный кран?

Джабаров повернул голову к Нурзалиеву:

— Что с севера сообщают?

— Поставщик обещает, он все обещает. Я завтра телеграммой стану его ругать. Крепко буду ругать!

— Напрасно. После войны ругань на директоров не действует. Ты бей на совесть: «Вы так помогаете братской республике?»— Лукаво-иронический взгляд Джабарова остановился на Горбушине, и все стали улыбаться.

— Хоп-хоп! — шумел громче всех Нурзалиев. — Мы умеем бить на совесть!

Шакир внимательно слушал, стараясь запомнить все важное, способное заинтересовать Скуратова, но удивительно: запоминался ему не смысл произносимого, а ко-

лорит речи одного, другого, третьего, и все время в ушах у него как бы звучал прекрасный голос Дженбека Нурзалиева.

Он обратился к начальнику СМУ:

— Скажите, пожалуйста, мы получим согласно договору шесть слесарей, по два человека на машину?

— По одному, товарищ Курмаев, получите. По два не дам. Три дам!

— А как разбирать машины, если рядом ваши люди станут отбойными молотками крушить бетон?

— Надо зашурупить уши ватой... Вот так, смотри, товарищ Курмаев! — И Нурзалиев, вытаращив глаза, заткнул уши пальцами.

Он восхищал Шакира!

Затем возник спор. Не такой громкий, сердитый, каким он нередко бывает,— люди возражали друг другу нехотя, будто по наскучившей уже обязанности, что дало Шакиру повод заключить: тема спора всем надоела. Григорий Иванович Ким не считал нужным ломать фундамент, он предлагал его исправить и доказывал возможность этого. Его поддерживали Джабаров и Нурзалиев. У Ташкулова оказалась своя точка зрения. Гулян час назад доложила ему о мнении шеф-монтеров, и он согласился с ними: нельзя тяжелую машину ставить на плохой фундамент. Машина, утверждал он, не человек, она не понимает хороших слов, она понимает, когда ее поставят на хороший фундамент.

В конце совещания Горбушин сделал заявление: он ночью позвонит в Ленинград директору. Какое тот отдаст распоряжение, так и будет. Прикажет монтировать с талями — они начнут работу с талями. Завтра утром он даст ответ.

Ким нахмурился. Раздались его быстрые, энергичные слова:

— Тогда уж, товарищи, передайте своему директору не только услышанное здесь. Вы передайте ему, что строительство всех объектов нашего большого завода идет в соответствии с плановым заданием, несмотря на недостаток в людях, мы отстали только со строительством ДЭС, но положение выправим, обязательно выправим — да-да, скажите это директору!

— Зачем, дорогой друг Григорий Иванович, ты занимаешься очковтирательством? — самым скучным тоном заговорил Ташкулов, и уже оба его глаза теперь

казались закрывшимися.— С имеющимся количеством рабочих нам из прорыва не вырваться, хотя прорыв, ты верно говоришь, только на ДЭС.

Джабарову не понравился этот спор. Он попросил не говорить ненужных слов, а потом обратился к Горбушину, заявление которого о том, что он будет консультироваться по телефону с Ленинградом, его тоже насторожило.

— Ты коммунист? — перешел Джабаров на «ты».

Шакир поспешил помочь Горбушину:

— Мы комсомольцы, Усман Джабарович! Но зачем вы говорите с нами таким тоном, будто мы приехали сделать вам неприятность и благополучно вернуться домой? Дайте нам малейшую возможность работать здесь, и вы увидите, как мы возьмемся. Не нужно думать, что нас интересует только получение зарплаты.

— Ну, не сердись, пожалуйста!.. — мягче сказал Джабаров.

— Так что же будем делать, Шакир? Думай, думай... И говори тихо, Рудена спит.

— Пусть думает бригадир Горбушин, член бюро Выборгского райкома комсомола!

— Брось трепаться... Нашел время... Не Выборгский райком решает проблему,— мы с тобой. У меня сейчас такое чувство, будто я виноват, что здесь ни черта не клеится!

— Может, не по телефону говорить? Может, дать Скуратову телеграмму? Да и в райком, Сашке Курилову, пожалуй, не мешало бы.

— Сейчас нам надо твердо уяснить себе, кого ночью поднимать с постели к телефону, директора или Скуратова. Ведь Николай Дмитриевич может отозвать нас домой, лишь только услышит, что здесь голые стены и запорот фундамент.

— Ну, может, и не отзовет. Ведь Узбекистан же, Никита!

— А другие республики? Или, думаешь, в одном Узбекистане сейчас требуется монтаж дизелей?.. Наш завод не справляется с заказами на установку и монтаж машин, предприятия ждут своей очереди. — Горбушин устало вздохнул, покосился на ширму, за которой спала Рудена, и понизил голос до шепота: — Ее не слушать...,

Ни в чем, ни на грош... Понял? А перед нами, старик, задача одна: сегодня же что-то придумать реальное — наше с тобой предложение Ленинграду... Обязательно надо здесь зацепиться и все сделать наилучшим образом. Хоть кровь из носу, как говорят. Вернемся к этому разговору, но уже с предложением у каждого, вечером. Ну, скажем... — Он задумался. — Ну... пожалуй...

И назначил час встречи.

9

В смятении пришла домой после работы Рипсиме Гулян. Не могла себе простить, что наврала чужим людям и заплакала.

Лишь в комнате, обставленной старой сборной мебелью, не увидев Муасам Джабарову, с которой здесь жила, девушка начала успокаиваться. А затем удачей показалось ей уже и то, что Муасам отсутствовала — значит, не станет допытываться: «Зачем, Рип, плакали глаза?»

Девушка постояла у окна, заставляя себя не прислушиваться к голосам в соседней комнате, куда ночью директор поселил этих сборщиков, и все-таки прислушивалась. Кто у них говорит так громко? Не тот ли парень, кинувший: «Его бы за такой контроль уволить с работы без выходного пособия!» Парня можно простить, он не знал, что она не строитель, с первого взгляда умеет отличить мексиканский хлопок от индокитайского, а советский тонковолокнистый, гордость отечественного хлопкосеяния, конечно, от какого угодно; но эти здания, фундаменты, отверстия!.. Что она в них понимает?

Рипсиме прилегла на кушетку, хотя и не нуждалась в отдыхе — просто надо было скорее успокоиться, обрести привычный вид. Сон, даже короткий, возвращал ей ровное настроение и свежесть. Она собиралась пойти вечером к портнихе, а в растрепанных чувствах или неряшливо одетой из дома никогда не выходила.

Но забыться не удалось, слишком много было неприятностей в этот день. Рип старалась дышать ровно, гнала навязчивые мысли, уже измучившие ее, анализируя допущенный на станции брак и пережитое унижение.

Она легко училась в школе, еще легче переходила в институте с курса на курс. Другие девчонки боялись

самой двери, за которой сидели экзаменаторы, а ей хоть бы что. Пятерки, только пятерки. Диплом с отличием. «Поздравь меня, папа, я — инженер». И папа прислал телеграмму: «Поздравляю и горжусь тобой».

И вот только начала работать — и случился этот брак! Вероятно, надо было по-иному вести себя с шефмонтерами. Да и отец не одобрил бы ее поведения, упрекнул бы: характер матери! А какой у матери был характер, разве она знает? Ей шел четвертый год, когда мать, тайно оставив мужа и ее, единственного ребенка, уехала с другим человеком в Москву, оттуда вскоре перебралась в Ленинград, там уже многие годы и живет, учительница русского языка и литературы.

Через пять лет после бегства она прислала дочери деньги и письмо. Отец готов был их принять, но третьеклассница, изумив его резкостью тона, потребовала не прикасаться к ним. И впоследствии мать присылала ей письма и деньги, но получала их обратно без единого слова в ответ. Каждое ее напоминание о себе заставляло девочку размышлять и плакать, вспоминать о неутихающих, оскорбительных расспросах одноклассниц: «Рип, где твоя мама? Рип, почему она тебя бросила? Она тебе пишет? Ты ей отвечаешь? А я бы отвечала!..»

Недавно от матери пришло письмо на институт, и вдруг, повинуясь новому чувству, Рип распечатала его, прочла. И долго плакала потом.

«Ты давно уже взрослый человек, такая же женщина, как я, но отчего же мне иногда кажется, что ты еще ребенок? Ведь только этим можно объяснить твое непримиримое отношение ко мне. Я пишу это и понимаю, что обманываю себя... Ты уже не ребенок! Так почему же до сих пор ты не можешь понять, что жизнь сложнее наших представлений о ней, а тем более детских? Я понимаю твои чувства к отцу и одобряю их, но когда же, взрослый человек, ты поймешь и меня? Ты должна узнать, почему я ушла от вас. Твой отец не давал мне развода, угрожал обратиться в народный суд, а я не могла понять и никогда не пойму, как можно мужу и жене свою личную драму размазывать в присутствии многих посторонних. Мне ничего не оставалось, как уехать: я не могла отказаться от человека, который является частью моей души. Только раз встречается в жизни такой человек, в котором как в зеркале видишь самого себя... У меня не хватило сил отвернуться от него,

и я виновата лишь в том, что поздно встретила его, когда была уже ты.

Ты должна понять, почему я не взяла тебя с собой. Я жалела твоего отца, Рип, он хороший человек... Горе могло надломить его, если бы мы обе ушли из его жизни.

Вот теперь ты все знаешь. У меня хороший муж и хорошие дети. Но я тоскую о тебе и не теряю надежды, что ты меня когда-нибудь поймешь, простишь и мы встретимся. Отзовись, родная!»

Рип поверила написанному. Однако через несколько дней с прежней непримиримостью стала думать о матери. Да, с эмоциями детства она давно рассталась и понимает, что жизнь сложнее наших представлений о ней, но еще лучше она понимает, что мужа женщина может бросить, если серьезно ошиблась, но ребенка — нет.

И опять Рип не отозвалась на письмо. Такое отношение к матери удивляло даже отца. Он давно простил свою бывшую жену, продолжая любить ее. Никогда он не испытывал к ней злости, только горечь и обиду. Он знал, что она человек сильной воли. Так дочь от матери унаследовала свою твердость, решительность?

Он внимательно следил за развитием дочери. Замечал, когда она училась в старших классах, что мальчишки хотели ей нравиться. Догадывался, что и студенты в институте не обходили ее своим вниманием. А вот она никем почему-то не увлекалась, и причину этого, как думалось ему, он тоже знал. Она никому не прощала грубого слова, глупой выходки, пустой болтовни. Отец считал ее характер тяжелым и печалился, убежденный, что женщина с таким характером никогда не будет счастливой. И не повинна ли в этом мать?

Рип так и не вздремнула на кушетке. Она поднялась, ополоснула тепловатой водой лицо, шею, плечи, не чувствуя освежения, и долго стояла у окна, глядя на уходящую вдаль уныло-однообразную после заката степь, окутавшуюся лиловым туманом. Потом она переоделась, постояла перед зеркалом, поправляя чуть скошенную прическу.

Выйдя на крыльцо — на свое голубое,— она на соседнем, красном, увидела сидящую на ступеньке Марью Илларионовну. На скрип двери хозяйка обернулась:

— Новость, Рип, подойди-ка!

Поднялась Джабарова, несмотря на свою полноту, очень легко. Рип приблизилась к ней.

— Сегодня, часочком попозже, я поселю к тебе и Муасам приехавшую сборщицу.

— Марья Илларионовна, они сегодня или завтра уедут!

— Я не знаю, когда они уедут. Я обещала. Она же незамужняя, ты понимаешь? — тоном извинения заключила женщина.

Рип охватило неприятное чувство, которое она постаралась не показать хозяйке, давно сделав своим правилом не делиться с людьми плохим настроением и неудачами, потому что заметила: человека, жалующегося на судьбу, люди не любят. Значит, все нужно носить в себе.

Разговаривая, обе увидели Нурзалиева, с непокрытой головой быстро идущего в направлении к хлопкозаводу, куда он каждый вечер отправлялся проверить работающих во второй смене. И начальник СМУ заметил женщин: поравнявшись с дувалом, поднял руку и приветственно помахал, затем решительно свернул в калитку. Джабарова, улыбнувшись ему издали, ушла в дом.

Рип недолюбливала Нурзалиева. Когда выяснилось, что фундамент запорот, Нурзалиев обвинил ее, тут же, впрочем, оговорившись, что она не строительница, да и ошибка невелика. Но все-таки обвинил. И еще: женатый человек, он при встрече с нею разговор начинал с каких-то двусмысленных комплиментов, вызывая в ней только досаду и никогда этого не замечая. Не хотел он замечать и ее тона, которым она показывала, что ей не нравятся эти разговоры.

Нурзалиев на ходу сдернул на дувале золотистый, очень крупный мак и с шутливым поклоном протянул Рип.

— Аллах допустил ошибку, прислав вас сюда так поздно...

Но Рип не взяла пышный, большой цветок.

— Подарите его вашей жене!

— Девушка, не надо на меня сердиться! — засмеялся Нурзалиев. — Я вам ничего плохого не сделал!

— Если слова человека расходятся с его поведением и он не видит в этом плохого...

— Поставь вас на мое место,— подхватил он,— и ваши слова иной раз разойдутся с делом.

— Не этой ли логике следуя, вы ошибку строителей решили приписать мне?

Нурзалиев швырнул мак на куст белых роз и перестал улыбаться, но веселый блеск в его иссиня-черных глазах стоял еще некоторое время. Он развел руками:

— Сожалею, не могу вас убедить...

— Не советую и пытаться.

— Но вы же все-таки не правы, Рип! Десятиклассница на вашем месте легко бы справилась с такой работой, а вы инженер. Она взяла бы чертеж, она бы увидела: отверстия располагаются в шахматном порядке, а не в линию... Десятиклассница, Рип! Не надо на меня вешать дохлая кошка... В вас совсем отсутствует чувство самокритики, да?

— Я не отрицаю своей вины, товарищ начальник! Так, может быть, на этом и кончим?

— Сейчас закончим... У меня к вам дело. Просьба... Я хочу вас просить...

— А просить вы можете своих подчиненных, не меня.

— Просьба небольшая... — вновь стал улыбаться Нурзалиев и пальцем показал на виноградную беседку. — Там стоит наш главный тарантул, Рип... Зайдите к нему!

— Какой тарантул?

— Который проглотил наши надежды исправить фундамент... Бригадир шеф-монтеров Горбушин. Он стоит там за чертежной доской.

— За чертежной? В виноградной беседке? — не поверила Рип, переводя взгляд на беседку. Она невольно понизила голос.

На красное крыльцо вышел Джабаров в полосатом расстегнутом халате, в белой рубашке и синих широких штанах. Он стал спускаться по ступенькам, деревянные сандалии хлопали его по пяткам.

— Директор! — встретил его Нурзалиев своей белозубой улыбкой. — Прошу Гулян зайти в виноградную беседку к бригадиру Горбушину, она отказывается. Надо спросить, нет ли у него специальных приспособлений для распиловки отверстий. Если есть, Рахимбаев сам выполнит необходимую работу, не беспокоя ленинградцев. Дело предлагаю?

Джабаров неодобрительно пошевелил губами. Говорить о фундаменте ему уже надоело, ведь там и дела-то — один день поворчит бетономешалка у ворот ДЭС, и новый фундамент готов. Так сколько можно колотить языком?

Напомнив Нурзалиеву, что разговор об этом шел в конторе и что Горбушин, по всей вероятности, не отступится от своего требования, Джабаров тем не менее попросил Рип сходить в беседку к бригадиру потолковать о предложении Нурзалиева. Сам он вернулся в дом. Сейчас же и Нурзалиев пошагал к заводу, испытывая легкое сожаление оттого, что девушка продолжает на него сердиться.

Рип задумалась. Ей предстоял разговор с человеком, перед которым она утром так неудачно себя вела и к которому ни за что бы сейчас не пошла, сколько Нурзалиев ни проси ее об этом. Она и директору не постеснялась бы сказать, что рабочий день давно кончился. Но он был добр и заботлив — не хотелось отказать ему в просьбе.

Закончив институт, получив назначение на работу, она ехала сюда с неутихающей в душе тревогой: как встретят на работе, покажут ли, подскажут на первых порах или только посмеются над ее практической неопытностью? Иронии и недоверия к себе она очень боялась. А вышло так, что сам директор встретил ее по-отцовски. Поселил в собственном доме вместе со своей племянницей Муасам, комсоргом завода, а знакомя со строительством, просил быть предельно откровенной с ним, и не без умысла. Он хотел увидеть ее знания, но еще больше почувствовать характер, так как работа, на которую намечал ее, была не совсем-то девичья. Джабарову требовался человек с хорошими знаниями и надежными нервами, способный успешно возглавить отдел технического контроля: заведовать лабораторией, определяющей сортность поступающего хлопка-сырца и, следовательно, его оплату, руководить людьми, принимающими хлопок на полевых заготовительных пунктах. Разница же в оплате хлопка существовала достаточно серьезная, поэтому нередко между колхозниками, сдатчиками товара, и его приемщиками возникали на заводе шумные разногласия, и тут слово заведующего ОТК, молодого мужчины, каким его представлял себе Джабаров, всегда должно было быть твердым и авторитетным.

Директор получил нужные ему сведения об инженере Гулян. Они устраивали его. А то, что Гулян комсомолка, четыре года избиралась комсоргом факультета, редактировала факультетскую стенгазету и сама иногда писала в нее, обрадовало директора. Девушка, значит, с не-

которым организаторским опытом. Может быть, и справится.

Рип не обрадовалась назначению, но и не испугалась: она понимала, что выбора у директора из-за нехватки людей нет.

А пока, до приемки урожая, ей предстояло поработать где-то не по специальности. Она попросилась в молодежную бригаду к Муасам Джабаровой, с которой, живя в одной комнате, быстро подружилась. Сближала девушек и общественная работа: Рип только что была комсоргом факультета, Муасам — комсорг завода.

Без малого месяц Рип работала подсобницей. Закатав рукава легкой синей спецовки, выданной в заводской кладовой, месила лопатой раствор в неподъемно тяжелом деревянном корыте, носила цемент, песок, подавала кирпичи девчонкам, ловко складывающим стены: все они закончили какие-то специальные курсы. Рип отлично сработалась с ними, подружилась. Потом директор поручил ей контролировать строителей, а главное, поторапливать их, так как приближался срок монтажа машин, приезда мастеров из Ленинграда, а ДЭС еще была в прорыве. Для Рип это были дни безделья, она урывками продолжала помогать Муасам и ее подружкам строить амбар, увлеклась, чего-то на фундаментах недосмотрела.

Слегка волнуясь, Рип приблизилась к дувалу, размышляя о поручении директора и поглядывая на виноградную беседку. А если Горбушин слышал ее разговор с Нурзалиевым и Джабаровым и сейчас ждет ее?..

Она сдернула с дувала огненно-красную чашу мака со светлой, будто размытой каймой и решительно направилась к виноградной беседке.

10

Горбушин действительно стоял в беседке за легким складным кульманом, который смастерил с Шакиром из алюминиевых планок. Они всюду возили его с собой, так как чертить на пятом курсе студентам-дипломникам приходилось много.

Он слышал голоса у крыльца, но не следил за разговором, приучив себя ценить каждую минуту, позволяющую взяться за учебник, раскрыть тетрадь с конспектами или постоять у кульмана. Непрерывные разъезды по стране научили друзей заниматься в любых условиях,

порой совершенно не подходящих для этого; перейдя на последний курс заочного политехнического института, они начинали готовиться к диплому.

Последние две недели в Ленинграде Горбушин вовсе не занимался, и это беспокоило его. То собирал для отправки в Голодную степь ящики с инструментом, то оформлял командировочные документы на бригаду, и, будто гром над головой,— то, что случилось у него с Руденой...

Дома он успокаивал себя обещанием взяться за книги в поезде, однако дорога оказалась очень интересной, он все время стоял у окна в коридоре, вглядываясь в знаменитую казахскую целину, на сотни километров покрытую пышными кустами верблюжьей колючки, стоящими на этаком подчеркнуто почтительном расстоянии один от другого, словно они посажены рукой человека.

Иногда орел дремал на телеграфном столбе, с великолепным презрением озирая бегущий рядом поезд; верблюды паслись по двое, по трое, по четверо, редко — до десятка. А иногда верблюд неподвижно стоял на горизонте, будто высеченный из серого гранита символ этого безбрежного степного океана, его единственный хозяин и зоркий страж.

А вот кибитки казахов не вызвали в Горбушине радостного удивления, какое вызвала великая степь. Маленькие, желтовато-серые на желтовато-сером степном фоне, они лепились по три-четыре под одной крышей и по двадцать — сорок, очевидно, под несколькими длинными крышами, и ни деревца, ни газончика с цветами на кривых, пыльных улицах... На пороге иного жилища сидела женщина с ребенком на руках, перед нею ползали, бегали ребятишки.

Раз увидел Горбушин казаха в широкополой белой шляпе, он важно ехал верхом на верблюде, а за ним, метрах в пятидесяти, следовала его жена верхом на ишаке. Словоохотливые пассажиры сейчас же объяснили Горбушину, что в старое время Коран не разрешал жене казаха ни приблизиться к мужу во время пути, ни ехать на верблюде: ей полагался ишак, и за широким шагом верблюда он должен был семенить на приличном от него расстоянии.

Паслись огромные стада крупного рогатого скота, вдали казавшиеся большими темными пятнами, над

ними стояли облака пыли. Небольшие стада паслись неподалеку от кибиток.

Чертить в виноградную беседку Горбушин пришел не сразу. Он пошептался в комнате с Шакиром, и тот ушел в сад спать на раскладушке. Горбушин сел к столу, уткнулся в тетрадь с конспектами, но тут же отодвинул их: перед ним открылась возможность остаться здесь работать и пустить завод в плановый срок. Значит, верно: что ищешь, то всегда найдешь...

Чтобы успокоиться и обстоятельно обговорить с Шакиром свою находку, Горбушин снова заставил себя сосредоточиться на конспектах, но сделать это было уже нелегко. Мало-помалу он все-таки вчитался в них. Речь шла о достоинствах дизеля, этой отличнейшей во всех отношениях машины, с каждым годом все шире внедряемой в разнообразные области промышленности, сельского хозяйства, городского транспорта. Армия и флот тоже не обходятся без нее. На земле, под землей, на воде и под водой одинаково надежно работает дизель, основательно потеснивший крупные паровые машины, этих лидеров в механике прошлого столетия. Дизель обладает несравненно большей, чем любая из них, мощностью, он не требует от человека столько физических усилий, сколько требовала паровая машина, он прост в управлении. Славная машина!

К огорчению Горбушина, позаниматься долго ему не пришлось. Из-за ширмы вышла Рудена с заспанным, будто припухшим лицом, в незастегнутом халате, растрепанная. Она положила ему руки на плечи.

— Никита, мне не спится!

— Послушай! — почти взмолился он. — Я должен позаниматься, иначе завалю зимнюю сессию!

— Не завалишь! Ты умный. А я вот все думаю и думаю и не могу понять... Как ты ко мне относишься?

— С самыми добрыми чувствами!

— И только?.. — разочарованно уточнила Рудена.

— А разве этого мало?

— Конечно, мало! — засмеялась Рудена, обвивая его шею руками. — Чепуха твои добрые чувства, если сказать правду. Теперь они не котируются.

— А что же котируется?

— Деловые отношения... Я — тебе... Ты — мне... Очень просто! Чем мы меняемся, кто какой пользы ищет.

Так сказать, современное деловое содружество. Мне нравится. А тебе?

— Не очень. Иной делец до того доменяется — рожки да ножки останутся.

— Ну, меня это не интересует... Меня интересуют мои личные дела... Боюсь тебе не понравиться, а то бы еще сказала...

— Что бы ты сказала?

— Правду. А она не всегда чистенькая и красивенькая, недаром многие люди не любят ее и боятся. Надеюсь, не я в этом виновата?

Горбушин засмеялся:

— Не ты... Значит, что я — тебе, что ты — мне?..

— Язык современных людей...

— К которым ты и себя причисляешь?

— И я такая же... От себя никто ничего не отбрасывает.

Он вдруг по-новому увидел ее, по-новому услышал. И ему не захотелось продолжать разговор.

Взяв лист ватмана и кульман, опустив голову, он сказал, что все-таки пойдет чертить, ей же советует последовать примеру Шакира — вынести в сад раскладушку и хорошо выспаться. Рудена не согласилась. Она не хотела оставить его одного в чужом дворе, помня, что где-то здесь живет та красивая девчонка, на которую он утром так засмотрелся.

В беседке Горбушин собрал кульман, прикнопил ватман, стал чертить. Рудена уселась за деревянный некрашеный столик, раскрыла «Анну Каренину» и начала читать, с трудом преодолевая желание уснуть.

11

Увидев в беседке несимпатичную ей сборщицу, Рип ощутила желание повернуться и уйти. Она так бы и сделала, да Рудена уже заметила ее.

— Добрый вечер! — отчего-то зазвенел голос Рип.

Горбушин живо обернулся от кульмана:

— Еще раз здравствуйте... проходите, пожалуйста...

— Спасибо, я на минуту, я зашла к вам по поручению директора и начальника СМУ Нурзалиева... — она запнулась и перевела дыхание.

Рудена не ответила на приветствие. Лишь взглянула на нее мельком, опустила голову и стала водить глазами

по строчкам, будто очень уж интересовалась чтением. А видела не строчки, нет, она видела отделанное бархатом темно-голубое платье Рипсиме, красный мак в руке и эти глаза, которые она не сводила с Горбушина. Только женщина может увидеть сразу так много!

Горбушин понял состояние Рип.

— Я рад вашему приходу,— поспешно заявил он.— Представьте себе, я только что думал о необходимости встретиться с вашим директором еще раз, а теперь вы мне поможете это сделать. Хочу задать ему несколько вопросов, которые не пришли мне в голову утром на совещании у него в кабинете.

Рип видела, что он хочет помочь ей, но продолжала со все усиливающимся от волнения акцентом,— утром Горбушин не заметил его:

— Они прислали меня спросить, нет ли у вас каких-то специальных приспособлений для распиливания отверстий, и, если есть, дайте их, пожалуйста,— мы своими силами, не беспокоя вас, попробуем исправить фундамент.

Горбушин пошутил:

— Приспособления есть... Голова и две руки!

— Благодарю вас! — резко ответила Рип. — А кроме этого оригинального приспособления вы ничего не можете нам предложить?

Горбушин переменил тон:

— Не в том суть дела, товарищ Гулян, кому из нас исправлять фундамент. Он запорот окончательно, и я не приму его, как бы удачно, с вашей точки зрения, он не был исправлен. Неужели я недостаточно ясно говорил об этом вашим руководителям?

— Но почему же не попытаться исправить его? Отклонение от чертежа незначительное, и, если осторожно расширить гнезда для болтов, машина сядет на них, потом можно будет расширенные места залить бетоном, и проблема решена.

— Можно машину посадить на расширенные гнезда. Можно добавочно залить их бетоном. Все можно. Но во время работы тяжелая машина расшатает ваш добавочный бетон, возникнет вибрация, и что мы получим? Машина начнет дрожать и шататься, придется ее с фундамента снимать, фундамент ломать, машину заново перебирать... Зачем делать две работы вместо одной?! Да

еще учтите, производство все время будет на простое, пока вы станете возиться с фундаментом и дизелем.

Рип машинально мяла лепестки мака.

— Значит, я должна передать руководству, что приспособлений нет и они не нужны?

— К сожалению, это так.

— До свиданья!

Рип повернулась и уже сделала шаг.

— Минуточку... — подошел к ней Горбушин. — Я обещал вашим администраторам позвонить сегодня ночью в Ленинград. Передайте, пожалуйста, Джабарову, что я изменил это решение. Я сам полечу в Ленинград, чтобы лично доложить дирекции о вашем объекте и найти выход из положения.

Рудена перестала читать, подняла голову, вся слух и внимание. Округлое лицо будто вытянулось, на нем читалось: «Да что ты говоришь, Горбушин?..»

Рип напряженно думала над словами бригадира.

— Мне нетрудно передать... Скажите, вы один туда полетите или с товарищами?

— Они останутся здесь ждать моего возвращения.

— И когда вы отправитесь?

— Эту ночь после большого пути и перед полетом буду отдыхать. В Ташкент выеду завтра в полночь, а на рассвете следующего дня вылечу в Ленинград.

Дальше сдерживаться Рудена не могла. Она шумно перевела дыхание, напомнив Горбушину и Рип о себе.

— Бригадир, если я правильно тебя поняла... ты именно по поводу этого своего решения собираешься увидеться с Джабаровым?

— Да.

— Мы все трое пойдем к нему?

— Об этом договоримся позже.

— Скажи... Почему мы с Шакиром ничего не знаем о твоем новом решении?

— Ты уже знаешь, а Шакир узнает, когда проснется. — Горбушин вновь обратился к Рип: — Если не трудно, скажите Джабарову, что я зайду к нему через час-другой.

— Может быть, вы скажете подробнее о цели полета?

— Пока только одно: она не противоречит интересам хлопкозавода. — Взяв со стола коробку с папиросами, он раскрыл ее, протянул девушке: — Прошу.

— Благодарю. Я не курю. До свиданья!

Он смотрел ей вслед, пока она не скрылась за дверью на красном крыльце. Рудена проследила за его взглядом, потом начала медленно вставать, обеими руками опираясь о край стола, — испуг и раздражение поднимали ее.

— Никита, что ты наплел этой девчонке?

— Я сказал правду.

— Принял такое ответственное решение без нашего участия?

— Да. Но мы всё обсудим, не волнуйся.

— Не волнуйся!.. Вместо того чтобы спокойно лететь всем вместе — право на нашей стороне,— ты растерялся и начинаешь впадать в панику!

— А техники-механики и не живут без паники,— улыбнулся он.

Рудена закурила, призывая на помощь все свое самообладание. Она знала, что ей нельзя сейчас нервничать, хоть она и получила еще одно доказательство того, что же именно удерживает здесь Горбушина. Эта девчонка!

— Послушай... — старалась она говорить ровным голосом. — Давай подумаем, надо ли тебе действительно туда лететь. Ты серьезно нарушишь трудовую дисциплину, если появишься перед Николаем Дмитриевичем без его разрешения, без вызова. А ведь не было случая, чтобы он кому-нибудь простил самоволку.

— Так же,— подхватил Горбушин,— как не было случая, чтобы он большие вопросы решал с маху, по телефону. Шакир прав: Скуратову вынь да положь самый обстоятельный доклад по объекту. А что я могу ему накричать в телефонную трубку из Средней Азии? Если думать о том, чтобы получить добро на возвращение домой, тогда смысл есть. Но ведь у нас, надеюсь, цель другая? Мы ищем выход из тупика?

— Одна цель! Сказать Скуратову всю правду о здешней ДЭС, ничего не утаив и ничего не прибавив.

— Именно это я и сделаю.

— Тогда давай по телефону! — повысила голос Рудена, опять почувствовав раздражение.

— Но по телефону всего не скажешь. Надо все тщательно обговорить. Как же иначе? Приехали, посмотрели и уехали? Я так работать не умею и тебе не советую. Короче говоря, все трудные вопросы решать буду я, понравится это тебе и Шакиру или нет, дело ваше.

— Ты берешь на себя большую ответственность, Никита. Я боюсь за тебя... Пусть дирекция в Ленинграде соображает, что и как, а мы работяги!

— Благодарю тебя за беспокойство, Рудена... Но для телефонного разговора с начальством я просто не готов... — сказал Горбушин, не видя конца атакам Рудены. — Может, что-то выясню сегодня у Джабарова.

Рудена пошла в сад будить Шакира, чтобы вместе насесть на Никиту, заставить его отказаться от полета. Надо уезжать отсюда как можно скорее, а то еще влюбится в эту самую Гулян...

Горбушин, оставшись наедине, вновь попробовал чертить, но теперь дело совсем не пошло... И все-таки он всматривался в тонкие линии на ватмане.

Неожиданно в доме запела женщина:

Степь да степь кругом,
Путь далек лежит.
В той степи глухой
Замерзал ямщик...

Горбушин выглянул из беседки, увидел Марью Илларионовну, гладившую у раскрытого окна. Как интересно: поет про раздольную русскую степь, а живет в великой Голодной, охватившей десять тысяч квадратных километров — юг Казахстана и северо-запад Узбекской республики... Представив себе этот простор, он невольно задумался: если все эти земли освободить от соли и засеять хлопчатником, сколько прибавится одежды человечеству?

Интерес к Средней Азии Горбушин впервые почувствовал, читая сказки Шехеразады, потом отец, в свое время закончивший Петроградский университет, много говорил о ней, разжигая любопытство мальчишки. Отец называл Среднюю Азию перевалочной базой многочисленных древних народов, рассказывал об исследованиях выдающихся русских ученых — Пржевальского, Семенова-Тян-Шанского, Ламанского, Берга, Докучаева. И это он, отец, узнав месяц назад о предстоящей командировке сына, дал ему прочесть книгу о Средней Азии. Там были географические и исторические сведения, описывалась флора и фауна.

Так постепенно складывалось у Горбушина-младшего представление об этом грандиозном крае, где вода тысячелетиями считалась великим даром жизни и где по

бескрайним степям и нагорьям носились легкие кони, брели по пескам нагруженные товарами верблюды.

Не оттого ли утром, едва проснувшись, Горбушин загляделся на зарешеченные окна и изображенную на сундуке птицу с бараньими глазами и подумал прежде всего не о работе, для которой приехал, а о том, что увидит и узнает в этом удивительном крае. Вот почему необходимость возвращения в Ленинград удручала его, а когда наметилась возможность остаться и работать, настроение поднялось.

В беседку вбежал Шакир, за ним шла недовольная Рудена.

— Никита-ака, удираешь от нас, удираешь?.. Меня заложником-аманатом, ее аманатом оставляешь?

— А ты на большее и не тянешь! — с досадой кинула Рудена, зная, что если он начинает с обычного зубоскальства, то помощи от него не жди.

Но Шакир продолжал уже серьезно:

— А может, накатаем Скуратову телеграмму слов на триста, завод от этого не обеднеет, и станем ждать ответа? Зачем тебе лететь?

Все возрастающее недовольство Рудены серьезно тревожило Горбушина, раскрыть же перед нею все карты он не хотел, уверенный, что она только осложнит дело. Поэтому он сказал Шакиру как можно мягче:

— Пока я летаю, ты хоть за кульманом постоишь, не то опять придется мне вытаскивать тебя на экзаменах.

— Кульман от меня дома не уйдет, где, чую носом, все мы окажемся через несколько дней. Если улетишь, я займусь изучением здешнего народа. Буду каждый день ходить на базар, смотреть и слушать.

— Завидное изучение народа!

— Кому что, знаешь. Ты не забывай, у татар и у здешних народов масса общих слов и понятий, так что мне интересно. Когда-то наши предки были связаны одной мусульманской веревочкой.

Рудена вспылила:

— Перестань трепаться, Шакир! Давайте говорить о деле!

Предчувствие беды охватило Рудену. Оно возникло утром, а теперь, после прихода Гулян в беседку, усилилось. Ведь что получается? Она любит Горбушина все больше с каждым днем, жизни своей уже не может представить без него, а он ее всерьез не принимает. Да и за

что ее любить, глупую? Сколько раз обещала себе быть веселой, остроумной, а ходит темнее тучи и без конца противоречит ему.

— Хотелось бы знать, Никита,— с горьким чувством сказала она,— что тебя здесь так удерживает?

— Странный вопрос. Дело, для которого мы приехали.

— И больше ничего? Ты должен учитывать все. И Николай Дмитриевич может не оплатить тебе летные билеты.

— Ну, от этого еще не умирают.

— Умирать не умирают, но если ты готов даже деньги бросать на ветер... тогда все-таки хотелось бы знать, что тебя здесь так зацепило.

— Рудена, ты умеешь говорить спокойно, без особенных эмоций?

— Ну что ты... Где же дуре обойтись без эмоций...

— Солидная самокритика! — одобрительно кивнул Шакир. После паузы он повернулся к Горбушину: — Джабаров еще не знает о твоем новом решении?

— Сейчас мы с тобой пойдем к нему.

— А Рудена?

— Хозяйка обещала вечером переселить ее.

— Ничего не случится, если она переселит меня завтра!..

— Я думаю, это не удобно, Рудена, поскольку ты сама просила об этом. Останься!

— Тогда, Карменсита,— подхватил Шакир,— придется тебе поскучать с «Анной Карениной», пока Джабариха не придет за тобой.

У Рудены дрогнул от обиды голос:

— Ладно-ладно, черти... Уже сговорились за моей спиной?

12

Квартира директора пахла глиной и солнцем, так оно напекло мазанку за день. Джабаров сидел за столом, поджав под себя правую ногу. На растопыренных пальцах левой руки он держал бело-золотистую пиалу с зеленым кок-чаем (утром Марья Илларионовна приносила шеф-монтерам другой, черный).

Горбушина и Шакира хозяйка встретила приветливо, каждому подала такую же бело-золотистую пиалу, как

у Джабарова. На столе лежали круглые белые лепешки, заменяющие в Средней Азии хлеб, в большой пиале — изюм с колотыми грецкими орехами. Марья Илларионовна налила гостям чай.

То, с какой теплотой Джабаров, довольно сурового вида человек, обратился к жене, шеф-монтеров несколько озадачило.

— Машенька, милый дружок... Три мужика за столом! Так нельзя. Что о нас подумают гости?

— Гостей я приглашала на чай.

— Для знакомства надо бы по одной...

— Вы бы знали, — не слушала его Марья Илларионовна,— какое ранение он перенес на фронте. Ему и капли белого нельзя. Я угощу вас домашним красным, оно вам понравится.

— Беда... — поморщился, качая головой, Джабаров, когда она вышла.

Скоро Марья Илларионовна принесла кувшин не вполне еще перебродившего мускатного вина, терпкого на вкус, светло-красного. А сама отправилась переселять Рудену.

Горбушин с любопытством оглядывался: чем же примечательно жилище узбека и русской? Но никакой экзотики тут не было, и Горбушина это даже разочаровало. Полы покрашены, в прихожей большая деревянная вешалка на восемь крюков, у стены трюмо, на призеркальном столике черный телефонный аппарат и платяная щетка.

В следующей комнате, куда дверь была открыта, виднелась двуспальная кровать под легким одеялом и горка маленьких подушек под кружевной накидкой. На стене висел темно-синий ковер с большой пунцовой розой в центре.

По восточному обычаю гость обязан прежде отведать угощения, затем только начинать беседу. Не зная этого, Горбушин взялся было выяснять отношение райкома партии к нуждам завода, полагая, что и об этом его спросят на «Русском дизеле»; его толкнул локтем Шакир, кое-что понимавший в восточных обычаях, да и директор сделал неопределенный жест, бормотнув:

— Кушайте кишмиш, пейте...

Через некоторое время он заговорил сам:

— Если не ошибаюсь, бригадир, ты хочешь нам помочь?

— Но как это сделать?.. Давайте вместе обсудим. Райкому партии известно об авральном положении на станции?

— Мы с Нурзалиевым два раза просили у райкома разрешения завербовать в кишлаках двадцать человек для временной работы.

— У секретаря просили?

— Со вторым объяснялись.

— Почему не с первым?

— Первый у нас недавно. Молодой. Тридцать восемь лет. Инженер-ирригатор. Мелиоративное и ирригационное дело для многих новое, машины сложные. Вот первый все время и проводит с рабочими в степи, делает план освоения. Актуальнейшая, знаете, задача района... Союзное правительство решило через пятнадцать — двадцать лет в Голодной степи создать пахта-арал.

— Если вы считаете,— ввернул Шакир,— будто мы понимаем, что такое пахта-арал...

— По-нашему хлопок — пахта, арал — море... Хлопковое море должно разлиться в Голодной степи через пятнадцать —двадцать лет, но для этого уже сейчас следует трудиться очень напряженно.

Вино в кувшине убывало, мягкое на вкус, с кислинкой и неустоявшимся еще ароматом, очевидно недавно извлеченное из погреба, оно было приятно холодноватое. Не привыкшие к отчаянной жаре, на которой пеклись весь день, сборщики пили этот мускат глоток за глотком, не забывая, однако, о деле.

Они слушали директора. Второй секретарь райкома, шестидесятилетний Айтматов, не внял просьбе Джабарова и Нурзалиева найти людей для временной работы. Он утверждал: в колхозах тоже не хватает рабочих рук, но там справляются с делом, справятся и они, заводские. А если завалят план строительства, их будут судить партийным судом.

В райком ходил бригадир заводских монтажников Рахимбаев, доказывал первому секретарю необходимость послать на завод людей, но первый, недостаточно опытный, поддержал Айтматова: уборка хлопка на носу, будет преступлением снять с полей сборщиков урожая.

— Сходи, бригадир, к Айтматову, побеседуй! — заключил Джабаров.

— Непременно...

Много любопытного услышали шеф-монтеры.

Качество хлопка-сырца, а в конечном счете качество всех хлопчатобумажных товаров — вопрос сложный, большой и нередко тревожный и для колхозников, выращивающих урожай, и для работников хлопкозаводов, обрабатывающих его, и для текстильщиков, которые прядут и ткут, и, наконец, это не безразличный вопрос для всего народа, покупающего мануфактуру.

Хлопок гигроскопичен. Это значит, он легко вбирает в себя влагу и очень легко отдает ее. Вот почему, когда он созревает, первейшей обязанностью людей является скорее убрать его с поля, не дать осенней сырости пропитать его. На поля выходит вся уборочная техника, все способное собирать население; норма сбора на человека дается высокая, но ловкие и сильные перевыполняют ее. Рекордсменов награждают почетными грамотами, денежными премиями, орденами, высокими званиями.

И тут — парадокс. Нередко именно высокие темпы уборки служат началом большой беды. Хлопок, прежде чем сдать его на заводы, где он будет сложен в амбары и бунты от семисот до тысячи тонн каждый, надо просушить, а в спешке уборки это делается не всегда достаточно тщательно. Люди рассчитывают, сдавая урожай заводам, что там хлопок просушат механическими сушильными средствами, но эти средства, как правило, маломощны и сушат лишь тот хлопок, что уже поступает из амбаров и бунтов в перерабатывающие цеха. Хлопок лежит зиму в бунтах и амбарах, и та его часть, что не была должным образом высушена, начинает, в силу своей гигроскопичности, согреваться, преть, гнить, из первого сорта превращается во второй, третий, однако текстильным предприятиям часто отправляется первым сортом, каким его оплатило государство совхозам и колхозам, и ватерщицы, ткачихи, к которым попадает такой полупрелый хлопок, мучаются от частых обрывов нити. В адрес хлопкозаводов поступает громадное количество рекламаций...

— Хлопок белый, уртаклар, а душа у заготовителей черная, как сапог, от противоречий и тревоги.

Шакир спросил, несет ли кто ответственность за портящийся хлопок. Джабаров ладонью приподнял тронутые сединой усы, вытер их, посмотрел в кувшин, и разочарование отразилось на его темном от загара лице.

— Ответственность прежде всего несет природа хлопка. Она виновата. Против нее статьи в уголовном кодексе нет.

Ответственность несут, слушали дальше Горбушин и Шакир, колхозы, совхозы, кишлаксоветы, райкомы и райсоветы, если мало посеют хлопчатника или плохо его уберут. Тут им спокойно спать не придется. В том же прошлом году уборочная закончилась хорошо, все были довольны, начиная от дехкан, вырастивших урожай, кончая заведующими статистическими управлениями в республиках, дружно отрапортовавшими Москве о высоких темпах уборки и о том, что хлопок государству сдан в основном первым сортом. Тот же факт, что его затем много согрелось, никого уже особенно не волнует, потому что ежегодно во всех странах мира, где выращивается хлопок, он согревается в больших массах, и люди везде к этому привыкли. Сдатчики и заготовители говорят: мы свое дело сделали — вырастили хороший урожай, вовремя сдали его на заводы, а там пусть головы болят у наших ученых... Как лучше сохранить эту капризную и такую ничем не заменимую, необходимую людям культуру?

Горбушин подошел к этажерке с книгами.

— Получается, Усман Джабарович, что второй секретарь не очень-то стремится пустить хлопкозавод в плановый срок?

— Почему не стремится? Он стремится. Но еще больше он стремится обогнать соседа в соревновании по уборке и сдаче урожая заводам, получить за достигнутые успехи орден. Один у него уже есть, обещают второй.

Горбушин взял брошюру, раскрыл наугад. Прочел, что спрос на хлопчатобумажные ткани в России резко возрос во второй половине прошлого столетия, когда красный товар стал властно входить в каждую русскую избу на смену домотканой одежде. Страна вынуждена была покупать хлопок в Америке и других странах по столь высокой цене, что от этого трещал национальный бюджет. России позарез нужен был свой собственный хлопок, а Средней Азией еще Петр Первый остро интересовался, засылая туда умнейших людей своего времени познать быт и нравы соседних народов.

В сухом и жарком климате Туркестанского генерал-губернаторства хлопок родился хорошо, но далеко не в том количестве и не того качества, что удовлетворили бы

русский спрос. Поэтому первый же генерал-губернатор Туркестана, не успев еще как следует рассмотреть его и оценить, уже должен был по указанию из Петербурга обратить особое внимание на расширение площадей для посевов. Заговорили о Голодной степи, решили списать в отставку часть солдат и поселить их там, чтобы начать необходимые работы для орошения и посевов высококачественного хлопчатника.

В Петербурге было создано Переселенческое управление с разветвленными пунктами в губерниях; с его помощью множество русских бедняцких семейств потянулось за тысячи километров искать лучшей доли — вон когда, еще задолго до начала нашего века. Свои деревни, похожие одна на другую, они строили по плану Переселенческого управления: с одной, но широкой улицей, по обе стороны обсаженной тополями и карагачами.

Горбушин долго листал брошюру. К нему подошли Шакир и Джабаров.

— Что ищешь, бригадир?

— Я охотно почитал бы что-нибудь о Голодной степи. У вас не найдется?

— У меня все найдется. — Джабаров нагнулся к нижней полке, достал папку с газетными вырезками.

Они вернулись к столу, и глаза Горбушина быстро побежали по строчкам.

Он прочел, что острую необходимость освоения земель под хлопчатник показала проектно-изыскательская группа русских ученых, пять лет занимавшаяся тщательным изучением почв Туркестанского края. Руководитель группы, крупнейший в Петербурге знаток мелиорации и ирригации профессор Ризенкампф Г. К., он же автор проекта обводнения Голодной и Дальверзинской степей, писал в дни первой империалистической войны: «Если оросительная программа в Туркестане не будет проведена в жизнь, то в течение ближайшего десятилетия мы должны будем уплачивать за границу до четырех миллионов рублей золотом, а в течение ближайшего двадцатилетия до десяти миллиардов рублей золотом...»

Группа русских ученых— Г. К. Ризенкампф, А. В. Васильев, В. А. Чаплыгин, И. Г. Александров — составили проект обводнения Голодной, Дальверзинской степей и некоторых других засушливых районов Туркестана. Но царское правительство, занятое войной, не обратило

внимания на этот проект, хотя само в 1910 году организовало эту группу и финансировало ее.

В феврале 1918 года профессор Георгий Константинович Ризенкампф, виднейший ученый, фанатически преданный идее обводнения засушливых земель Средней Азии, пришел в Смольный к Советскому правительству. Он принес проект обводнения Голодной степи, Дальверзинской степи и некоторых других районов. Это был коллективный труд ряда крупных ученых, плод их пятилетнего труда.

Отсюда и начинается история создания знаменитого ленинского декрета об орошении земель Средней Азии. Владимир Ильич чрезвычайно заинтересовался принесенными чертежами, схемами, картами, проектами. По его предложению и под личным его руководством была создана в Смольном комиссия для изучения этих документов, они были приняты за основу в деле орошения земель Средней Азии. А в марте, уже в Москве, проект тщательно изучался Высшим Советом народного хозяйства; в дни, когда оголтелые белогвардейцы и интервенты лезли на республику, стремясь разорвать ее, Ленин с огромной энергией делал все возможное для поднятия хозяйства в отсталых районах государства.

Так на основании заключения специальной комиссии Совнаркома Владимир Ильич подписал 17 мая 1918 года декрет, ныне известный в каждом доме Средней Азии; только в Голодной степи предписывалось декретом освоить и оросить под посевы хлопчатника 500 000 десятин.

Ленин не ограничился изданием декрета. Для его осуществления было учреждено Управление ирригационными работами в Туркестане, техническим директором которого стал профессор Ризенкампф. Он же был одним из авторов плана еще более знаменитого ленинского детища — плана электрификации России — ГОЭЛРО. Владимир Ильич высоко ценил Ризенкампфа, он говорил: с его мнением надо считаться, его надо беречь.

В осуществление декрета и опять под личным наблюдением Ленина в Москве и Ленинграде стали спешно набирать — кипучую деятельность развил Ризенкампф — специалистов по ирригации и мелиорации, искать многочисленное механическое оборудование, инвентарь, одежду, продукты, медицинские средства, литературу. Это добро было погружено в три эшелона и отправлено

в Туркестан. Но в Самаре ученых по недоразумению арестовали, эшелоны загнали в тупик. Ленин, следивший за движением эшелонов, в телеграмме самарскому губисполкому и самарской ЧК приказал немедленно освободить задержанных, возложил на губисполком и ЧК ответственность за сохранение планов, документов, всего имущества.

Но к месту назначения прорвался лишь один эшелон, два вернулись в Москву. Белоказаки Дутова не дали им проскочить в Среднюю Азию.

Так у самого истока нынешнего необыкновенно высокого экономического и культурного расцвета народов Средней Азии стоял Ленин. Ведь надо вспомнить, что до Октябрьской революции народы этого обширнейшего края были в большинстве своем неграмотны и жили бедно, тонули в болезнях и лечились знахарством, блуждали, как в глухом лесу, в вековых невежественных предрассудках.

Два памятника о себе, печальный маленький и великий, на тысячелетия, оставили еще в прошлом веке первые покорители Голодной степи — русские, белорусские, украинские рабочие в солдатских шинелях. Первым памятником явилась выстроенная недалеко от бурливой Сыр-Дарьи невзрачная церквушка, где они часто просили защиты у бога, а еще чаще отпевали покойников.

Вручную, кетменями и лопатами, отрывали они широкий, глубокий канал, тачками вывозили из него землю в знойном, жестоком климате, где жара летом превышала сорок пять градусов и некуда было укрыться от нее: ни дерева, ни куста вокруг, насколько хватал глаз. Трудно было с питьевой водой.

Осложняла жизнь саранча, миллиарды серо-зеленых насекомых. О том, сколько ее там было, можно судить по следующему историческому факту, освещенному в печати того времени. В конце столетия саранча переползала железнодорожный путь, когда шел поезд. Машинист решил давить ее, уверенный, разумеется, что поезд пройдет. Он с ходу вогнал в нее состав. Но что же? Паровоз сошел с рельсов, а саранча продолжала ползти.

С противным шелестящим шумом она двигалась непрерывным потоком километров на пятнадцать длиной, до пяти в ширину, до метра в рост. Валом шла... Где же было поезду проскочить через такое?!

Она уничтожала все посевы первых поселенцев Голодной степи, все их посадки, всю растительность вокруг. Борясь с нею, вчерашние солдаты отрывали перед домишками окопы в полный профиль. Отрывали их перед посевами, и, когда окопы наполнялись саранчой доверху, забрасывали ее сухой травой, обливали керосином и поджигали. Зловонный запах горящего мяса распространялся далеко, днями стоял над степью. И все же посевы и посадки спасти не удавалось — немыслимо было сжечь всю саранчу. Требовалось очень много парижской зелени, чтобы отравить прожорливых насекомых, но многочисленные просьбы поселенцев, отсылаемые генерал-губернатору в Ташкент и самому Александру Второму в Петербург, годами оставались без ответа. Вот уж воистину были эти просьбы гласом вопиющего в пустыне!

И великим памятником первым покорителям Голодной степи явился отрытый ими канал, мощная водная артерия, несущая жизнь настоящим поколениям и всем будущим, что станут жить здесь века.

— Так когда же впервые пошла вода на эти соленые просторы? — Горбушин выжидающе поглядывал на Джабарова.

— В девяносто шестом. Перед началом нашего столетия. Из Сыр-Дарьи. А вы знаете, как называлась она в эпоху Александра Македонского?.. Яксарт... А в первые века нашей эры? Сейхун...

Акцент у Джабарова все усиливался. Поглаживая ладонью волосы, Джабаров сообщил, что он не только узбек, но еще и араб: отец узбек, мать арабка. Шакир усмехнулся:

— Видимо, папаша в молодости прокатился в Египет?

— Зачем кататься так далеко? — удивился директор. — Арабы есть и в Узбекистане. Маленькая этническая группа, оставшаяся после их великого нашествия. А вообще — кого здесь нет?.. Десятки народов и народностей объединились в узбекский народ шестьсот лет назад. А представители шестидесяти народов и народностей живут сейчас только в одной Голодной степи.

— Вавилонское столпотворение!—воскликнул Шакир.

— Голодностепское столпотворение, — поправил его Джабаров.

И стал перечислять: рядом с первыми покорителями целины живут узбеки, казахи, киргизы, туркмены, тад-

жики, калмыки, кара-киргизы, цыгане, евреи, корейцы, татары, греки, чечены и многие другие. Все они нашли свою родину на щедрой узбекской земле.

— Хорошо мы с вами говорим, только где моя Марья Илларионовна? — забеспокоился Джабаров.

13

А жена Джабарова намеренно задержалась у Рудены. Очень уж ей захотелось досыта наговориться по-русски и о России. По-русски говорили все кругом, но это было не то.

И столько тепла, ласки звучало в голосе хозяйки и светилось в глазах, когда она предложила Рудене побеседовать немного, а потом уж перенести чемоданы в комнату девушек.

Поначалу Рудена отмалчивалась, не до беседы было, Горбушин своим решением расстроил ее надолго, но, с каждой минутой все острее чувствуя, что неловко оставаться равнодушной перед этим натиском искренности, она втянулась в разговор, и он получился что надо, получился так, как умеют однажды разговориться две женщины.

Ответив на много вопросов о том, как течет теперь жизнь в Ленинграде, достаточно ли товаров в магазинах, какая одежда в моде, Рудена стала спрашивать и сама: как она, Марья Илларионовна, попала сюда, в Голодную степь, вышла за узбека, довольна ли жизнью? И услышала удивительную историю...

— Я родом с Новгородчины, рано замуж выскочила, ребеночек у меня бегал... Потом подрядился муж на станции кирпичи возить, там гулять стал, запил. Я плакала, плакала, потом прогнала пьяницу, зажила одна, а через год и в комсомол вступила. Ну, поставили меня заведовать в деревне избой-читальней. Избачкой стала. А вскоре доченька моя от скарлатины померла, осталась я с матерью. А тут и война... «Мам, а мам, говорю, я добровольной на войну пойду, трое наших деревенских девок в армии уж; убьют так убьют, одна ты и поплачешь». Да и пошла в райвоенкомат, там не отказали в моей просьбе, взяли санитаркой.

И вот уже я на фронте под Старой Руссой... Сколько там наших лежит, господи... Подползаю в одночасье со своим старшим санитаром к раненому, старшой и

говорит: «Узбек... И готов уже, давай к другим». —«Подожди, говорю, он еще дышит». Ну, осмотрела. Ранение тяжелое. Пулевое. Где-то около самого сердца. Остановила я ему кровь, перекантовала на плащ-палатку и поползла потихоньку, по привычке уже левым локтем в землю упираюсь, правой плащ-палатку к себе подтаскиваю; пульки еще вжикали, хотя и редко. Доставила раненого в санпункт, а там за него другие взялись. Дней через пяток старшой и говорит мне: «Марья, ты зайди к тому узбеку, как будешь в медсанбате».—«А чего, спрашиваю, его дальше не отправляют?»—«Доходяга он,— махнул рукой старшой. — Но тебя, говорят, спрашивал: «Как я здесь оказался? Кто меня сюда доставил?.. Я вместе со всеми к Старой Руссе бежал, а больше ничего не помню». Ну ладно, думаю, чего не зайти? И зашла. Он не то без памяти был, не то спал. Немолодой, разглядела я, волосы черные и все кольцом к кольцу вьются, будто парикмахер их завил. Села я около него и уснула — намаялась, таскавши раненых. В иной день человек до пятнадцати вытаскивала с того страшного поля перед Старой Руссой, да все на плащ-палатке. Ну, сплю и вдруг слышу: «Не ты меня с поля вынесла?»—«Я...»—«Как тебя зовут?»—«Маша...» И стал он меня распытывать: откуда я, чем занималась. А глаза у него экие живые... О себе сказал,— наверное, к жене отправится,— померла перед войной. Детей не было. Попросил он навещать его, как буду в медсанбате, ну, я и еще разок зашла к нему на минуту. Потом его далеко в тыл отправили, он мне оттуда письмо прислал.

А через месяц и меня почитай насмерть уложило, когда перед раненым сидела, перевязывала его. Попало осколочком мины в живот. Оно и пулевое ранение в живот страшное, из десяти таких семеро помирало, а тут осколком. Чего я натерпелась, о том рассказать не могу. Две тяжелые операции перенесла там, в полевых условиях, да дело уже шло и к третьей операции, когда далеко в госпитале, на Урале лежала. Там и вспомнила кудрявого узбека, как просил меня написать ему словечко: взяли, что ли, мы Старую Руссу или нет... Сама слаба была, рукой-ногой двинуть не могла, так попросила сестру написать, продиктовала. Так, мол, Усман Джабаров, и так, ты горя хватил, а мне того горше досталось, да что поделаешь, против судьбы не пойдешь, значит доля наша с тобой такая.

И пошли наши письма из госпиталя в госпиталь летать, и хоть изрезали меня всю, но что получается? Вроде бы уже и любовь какая-то у нас, что ли... Хочу вспомнить его лицо, хочу, но не могу, что-то темное только, да голос густой, хороший. А он все пишет: я тебе песни буду петь, новгородская спасительница моя, любить буду, потому как помирать не собираюсь, хоть сердце у меня то пулеметом частит, то враз останавливается.

Пролежал он в госпитале пять месяцев, я — четыре; может, и еще лежала бы, да он за мною приехал. Мне же в госпитале сказали: отправляйся, Салтыкова, домой, долечивайся, но детей у тебя до века не будет. И получи вот — две награды сразу с фронта прислали: медаль «За боевую отвагу» и орден Красной Звезды.

Усмана тоже по чистой демобилизовали. Предложил он мне ехать с ним в Узбекистан, жить вместе. Я согласилась, только, говорю, на правах законной супружницы, иначе езжай один. И имей в виду: детей у нас не будет... Он ничего не сказал, только обнял меня.

К госпиталю он с палочкой в руке пришел, я его в окно увидала. И мне палочку принес такую ладную. Решили мы поездом пробиваться на Свердловск, оттуда на Казахстан, а из него уже и к узбекам. А морозы какие с сорок первого на сорок второй гремели? Злые... А мы с ним из госпиталя-то какие?.. одна кровина на двоих... Кого в тот год по чистой отпускали? Кому вслед всякий мог сказать: помирать солдат пошел домой...

Ну, движемся мы с ним на вокзал: я его одной рукой поддерживаю, другой на палочку жму, он меня таким же манером ведет. А что ветер бьет в лицо, что снегом швыряет... У нас в Новгородской области ежели вьюга, так это к оттепели, а тут сразу и вьюжит и мороз какой сильный. Приковыляли мы на станцию, и вскоре, глядь, порожняк подходит. Идем мы вдоль состава, увидели один вагон раскрытый и обрадовались — запертую дверь нам бы нипочем не открыть. Спасибо старичок-обходчик помог взобраться в вагон, ну, вскоре поезд и пошел. Пробуем мы дверь закрыть — нет, не закрывается, колесики сильно к своим рельсам примерзли. Мы и так, мы и этак... Уж мы мучились, мучились... Да потом обессилели, сели в угол вагона, прижались друг к дружке, дышим в пригоршни, ждем не дождемся, скоро ли будет остановка, вылезать нам надо поскорее, пропадем тут. Поняли уже, что на погибель взобрались сюда, да что

поделать. Поезд мчится, ночь черная, ветер и снег волком воют в вагоне, да и мороз, видно, градусов на двадцать — тридцать, жжет огнем... Я терпеливее к холоду была, не то что Джабаров,— не на юге родилась, как он. Южный человек, он, вижу, сразу и сник. Голову клонит все ниже, ниже... Распахнула я свою шинель, накрыла его, руки ему тру, а у самой тоже зуб на зуб не попадает. Потом закричала на него: вставай, хлопай себя руками! Вот так... И песню пой — обещал мне петь... Ну так вот и пой! Он и вправду запел какую-то свою песню, до чего же заунывную, и сказать тебе не могу... Поет он, как плачет, а я и то рада: жив, значит...

Но вдруг поезд с силой поддернул вагоны, мы упали. Опять подняться силы уже не было. А поезд знай мчится и мчится, ему хоть бы что. Черный ветер со снегом забивает лицо, мы коченеем. Потом узнала, что порожняк тогда на Урал за вооружением гнали, каждый поезд накроет сто двадцать километров за полтора — два часа, да постоит минут пять, наберет воды и снова накроет сто двадцать, а то и больше,— аж снег за ним столбом поднимается к небу.

Прижались мы опять друг к дружке на полу деревянном, ледяном, и вдруг я почуяла, что мне так тепло да хорошо делается, уж лучше и не надо... И поняла, что засыпаю и во сне помру, только никак этого не испугалась. Хорошо, тепло, и ладно... И вот вижу я сон, будто с мамой и тятенькой идем мы все трое по высокой ржи в солнечный полдень, жарко так, колосья задевают мне по лицу, задевают мягко, шелестят, и очень теплой рожью пахнет... А я всегда любила этот запах, войду, бывало, в рожь, которая повыше, и стою, дышу полной грудью. А тут будто быстро-быстро иду я по ржи, ушла уже далеко вперед мамы и тятеньки, оглядываюсь, зову их... Чтобы они не отставали... Зачем я одна так далеко ушла... Кричу, кричу...

И открываю глаза. Что такое? Где я?.. Почему тихо? Кто это рядом со мною лежит?.. Ну, с трудом я взяла в толк, что поезд стоит, рядом — Усман... Стала я подниматься, а ноги не слушаются. Я так ими, я этак ими... нет! Отмерзли, что ли? Да подползла к двери, схватилась руками за дверную стойку и кое-как встала. «Усман, кричу, Усман!»— но нет, не отзывается. Выглянула я из вагона — кого звать на помощь? Ни души кругом... Ни фонарей, ни людей, словно поезд стоит в степи. Опять

кричу, кричу Усману что есть силы, но он не отзывается. Вернулась к нему, тормошу, зову — молчит... Ору в лицо — и опять нет ответа... Да жив ли, думаю? Приложила ухо к груди, а сердце еле-еле услышала. Ну, подтащила его тогда к двери кое-как, уже не пытаясь разбудить, и опять выглянула. Ни души... И вдруг стало мне страшно, что поезд сейчас пойдет... Поджала я тогда руками живот покрепче, вот так, гляди, да и прыгнула из вагона... Боль меня сразила несусветная, такой не чувствовала, когда в полевых условиях неусыпленной резали меня,— смертушка, думаю, пришла, вот она!.. Закусила губу, плачу, стою согнувшись,— и тут слышу: вагоны где-то впереди меня — дрын-дрын... Потом все ближе, ближе — дрын-дрын... Да все громче!.. Рванула я тогда Джабарова себе на плечи и вовсе согнулась под ним... Вагоны катятся мимо меня, только-только что не задевают, я стою ни жива ни мертва от боли, и Джабаров висит на плечах. И прошу бога, чтобы вытерпеть боль, не свалиться с человеком под колеса...

Не знаю, сколько я стояла, уж и поезд укатил... Приподняла чуть голову, вижу: далеко впереди два фонаря под козырьком еле светятся в метели, там, должно, и станция. Кружит, кружит метель... Да и пошла я... Сделаю четыре-пять шагов и стою, набираюсь силы, говорю себе, что все равно донесу. А силы нету, и боль меня сражает. Уж я шла, шла, был тот путь самым великим путем в моей жизни... Вспоминаю фронт, вспоминаю, как резали меня на трех столах — и вроде ничего, уже забывается. Но вот подумаю о том пути в метели, и сразу жар подступает к лицу.

Что еще плохо-то было? Шинель моя расстегнута, полы задувает на стороны ветер, а как руки мои подняты вверх,— ведь вот-вот метель сорвет с плеч Усмана,— то рубашка и гимнастерка на мне поднялись, ветер бьет по заголившемуся телу, по шрамам. Теплого белья нам в госпитале не дали: куда вам теперь, сказали, теплое, домой идете на печи лежать, а теплого и солдатам на фронте не хватает. Ну, да еще реву в три ручья, слезы и метель застят все, под ногами только бело... И боль же, боль эта.

Добралась я все же до станции, остановившись в пути, может, сто раз. Иду уже по перрону. Сквозь снег вижу, окно светится, должно конторка дежурного по стан-

ции, мужик в ушанке за столом сидит, низко наклонив голову, не то пишет, не то читает. В углу печь топится поленьями, дверца откинута. Рванула я дверь на себя, а тот мужик как вскочит да ко мне: «Нельзя, нельзя! Военный пост!» И руками-то меня в грудь, в грудь... Чтобы я пятилась назад, а куда мне пятиться? Да рассмотрел, что я военная и военный на плечах у меня висит, да еще реву, искривившись, сказать ему ничего не могу,— помог снять Усмана, уложить его на пол перед печью. Я упала рядом с ним и больше ничего не помню. Обморок был у меня на пять с половиной часов, это дежурный мне утром сказал.

Утром, вижу, заходит мужик в тулупе, с кнутом, дежурный и говорит ему: «Отвези их в Спас-Демьяновку, померзли они. Это инвалиды войны по первой группе, я ихние документы проверил. Сдай в сельсовет, там их как-нибудь отходят». И повез нас тот мужик в санях-розвальнях в деревню. Джабаров тоже пришел в себя, но ничего не говорит — голосу лишился. Смотрит на меня ясными глазами и молчит, язык ему стужа отшибла. Я-то до саней сама прошла, поджав живот, острой боли уже не было, глухая она, две недели не откатывала начисто, а Джабарова возчик наш и дежурный вынесли на руках, уложили в сани. В общем, я думала, он навсегда немым останется.

Устроил нас председатель сельсовета на постой к солдатке-вдове, она похоронную на мужа недавно получила. В избе трое мальчишек мал мала меньше. «Ничего, говорит, поживете, может, и мне с вами не так тоскливо будет. Карточки на хлеб сельсовет вам даст, а картошки у меня много».

У Джабарова признали воспаление легких с двух сторон. Спасибо, в деревне больничка была, в ней докторша из Москвы врачевала, эвакуированная. До чего заботная женщина была — не поверишь, такую надо самой увидеть. По три раза на день к Джабарову прибегала — утром чем свет, и потом еще в полдень, и попозже вечером. Снегу много, скрипит он под ее валенками, как по тропке, по сугробам бежит к нам, мы этот скрип еще в избе заслышим. А когда кризис болезни наступил, она всю ночь рядом со мной у его постели просидела, то компрессы ему холодные ставила, то сердце уколами стерегла ему. Заговорил он только через тринадцать дней, и так интересно, знаешь...

Стал меня спрашивать, что это такое, где мы. В медсанбате, а медсанбат в деревне? И вдруг одно за другим стал вспоминать — и как мы из госпиталя на вокзал шли, и тот вагон с открытой дверью страшный, да как мы замерзали, умирали в нем. И вдруг заплакал, сжал мне руки. «Маша, говорит, Маша...» А больше ничего сказать не может. Хозяйка же, глядя на нас, у окна в голос ревет... Вот как было!

— А как сейчас? Любит он вас, Марья Илларионовна?

— А чего бы я тут жила, неразумная, если бы не так? — засмеялась Джабарова, и Рудена устыдилась своего вопроса. — Да и я его люблю и жалею, что не встретились с ним в начале пути.

Марья Илларионовна сходила в сад, где была летняя кухня, принесла жареных семечек и в пиале прессованную массу из зерен урюка и ягод тутовника — пахучие восточные сладости. Опускаясь на прежнее место, предложила Рудене угощаться.

— Полтора месяца мы прожили у той солдатки, а вот уже двенадцать лет посылаем ей две посылки фруктов ежегодно: одну — свежих, другую с кишмишом. Да все в гости зовем, так пишет, ребят пооженю и приеду.

— А сюда как доехали, хорошо?

— Добрались. В полдень. Набежали тут родичи Джабарова, радуются, плачут, на меня глядят и, конечно, разговаривают по-своему. Я оробела, даже несколько ночей спать не могла. Завез меня кудрявый... Как жить-то придется? И решила никого не выделять, со всеми держаться ровно. А тут через неделю и наш женский праздник подошел, Восьмое марта. Усман мне рано утром букетик фиалок и мелких тюльпанчиков принес; потом, смотрю, идут ко мне с цветами узбечки... Муасам, говорят, Муасам... Это мое имя по-ихнему. Я уже многих обучила русскому языку, а сама ихний выучила, запросто теперь объясняюсь с кем хошь. Джабарову не только жена, еще и нянька ему. Разнервничается на заводе, придет домой и еле дышит: сердце худо работает. Скорее в постель его, к ногам грелку приложу.

— А как с женщинами узбекскими живете? Ладите?

— Как с сестрами родными, и даже лучше. Подружки мы все. Тут не только узбечки, тут какие хошь... Интересно нам, может, и оттого, что все мы по крови раз-

ные. Вот так и живу. Да еще за цветами хожу. Скучно ведь без деточек-то, Рудена. Где узбек, там и сад, а где сад, там и цветы, но все равно, пройди хоть весь поселок, а больше и лучше цветов ни у кого не увидишь. На мой дувал с маком все заглядываются. Дувал глиняный, так я натаскала на него земли, посеяла этих махровых маков, а они какие, видала? Во... Стоят и горят, будто генералы в строю с разными наградами. Взора не отвести. Иной раз задержусь у дувала, гляжу на них — и сделается тихо на душе, да светло, да спокойно, да легко, и подумается, что все ж таки я счастливая баба.

14

Потом Марья Илларионовна сказала, что теперь ее очередь слушать, и Рудена смутилась. Что же она поставит рядом с рассказом Марьи Илларионовны? У одной жизнь сложилась так, а у другой совсем иначе...

Разговор душа в душу у них стал разлаживаться. Поначалу на откровенность Марьи Илларионовны Рудена отвечала тоже спокойно и откровенно.

— Ведь ты вроде русская, Рудена?

— Русская.

— Вот и я гляжу... А почему имя такое?

— Да уж такое, теть Маша...

— Мам, а мам, я имя переменила!

Поставив таз посреди комнаты, мать стирает белье, в такт движениям уныло покачивая большой головой, волосы на которой растрепались и повисли. Рудена красит перед зеркалом губы, старательно их выпятив.

— Мам, а мам, я имя переменила.

— Помогла бы мне, чем перед зеркалом красоваться!

— А тут и делать нечего. Завтра соберу все большое и перестираю. Я имя свое, говорю, переменила.

— Как переменила, в милиции, что ли?

— Кто это в милиции переменил бы! — Дочь не отводила взгляда от зеркала, теперь маленькими ножницами подправляя брови. — Просто называют меня теперь по-другому.

— Ой, не нравишься ты мне, Муська! Как не нравишься... Волосья в третий раз перекрасила, дерганая какая-то стала... Или сама не замечаешь?

— Будешь тут дерганая, если парни такие идиоты.

— Для глупой девушки парни-то всегда идиоты. Мы в молодости тоже любили принарядиться, но чтобы брови по волоску выдергивать, как делает твоя Светка, или волосья на каждый сезон перекрашивать, будто крышу... этого за нами не водилось. А замуж выходили.

— И я бы уже вышла, будь у меня отец инженер или мать заведующая магазином. А то что получается? Понравится парень, а он либо пьяница, либо себе на уме: кто девчонкины родители? Есть у них дача под Ленинградом? А вы что мне нажили?

Мать выпрямилась, вытирая мокрые до локтей руки. Недоброе выражение стыло на ее большом бледном лице.

— Не знаю, с какими ты парнями водишься! Твой отец от меня имущества не требовал. Расписались в двадцать пятом, пришли домой, бутылку водки на стол поставили и блюдо винегрета, вот и все угощение молодым и родителям. А теперь, видать, парни за старину взялись, приданое требуют? Хороши... А тебе знать следует, что дачи-то и многое другое люди имеют ученые да заслуженные. А ты как училась? Кто тебе не давал? Не я тебе говорила — учись, учись?.. Семилетку еле дотянула, на завод бросилась работать четырнадцати лет, а кто гнал?!

— У меня от ученья голова болит! Это вам надо было учиться, если народили меня. Или и похимичили бы немножко — не велика страсть... Теперь многие так делают. Кто около чего стоит, тот тем и химичит.

— Ой, Муська, ой... Как возьму я тебя сейчас за крашеные космы, узнаешь тогда, чем люди химичат... — Неловкая, высокая, костистая, мать схватила таз и, расплескивая мыльную воду, вышла. И сейчас же вернулась. — Так как же зовут-то тебя нынче, дуреху?

— Я — Рудена.

— Ай, господи...

— И нечего тебе айкать, я еще и сама его боюсь!..

Мать помолчала, отдышалась.

— В жизни не слыхала таких имен. Немецкое оно или какое?

— Было у меня время справки наводить!

— И чего ты только вытворяешь, девка, ей-богу. Имя-то один раз дается человеку родителями и государством, какое выпало, то носи... Имя не волосья, его

разве на смех людям переиначивают дураки набитые...

— Муськой называлась — рыбкой в стае была, а теперь меня вся Выборгская сторона знает!

— Покрывала я тебя, Муська, покрывала... Но уж будет... Сегодня же обо всем узнает отец.

Мать ушла на фабрику, где работала ткачихой и где дежурным слесарем ходил по цехам ее муж, в прошлом моряк-балтиец. Муська же, встревоженная угрозами матери — отца боялась, мог и поколотить, — понеслась к подружке за советом.

Рудена молчала. Марья Илларионовна ждала. И не дождалась, дружески усмехнулась:

— Ну, о работе-то всякий человек может поделиться... — Она ближе подвинула к ней пиалу с тутовником. — Угощайся, вкусно и полезно, у нас в России такого не попробуешь.

Рудена с усилием разжала губы:

— Работа как работа. На завод пришла четырнадцати лет, подружилась с девчонкой-ровесницей; обе работали по четыре часа в день, потом по шесть, но все равно уставали и очень хотели спать. В воскресенье, обнявшись, спали целый день... Долго работала ученицей и подручной сборщика, потом вот сама стала собирать машины.

Красивенькая Светка на семнадцатом году носила уже декольтированные платья, брови более чем наполовину выщипывала, а то немногое, что оставалось, начерно красила. Муська подражала подруге, только платье с большим вырезом носить стеснялась и густых бровей не трогала, чувствуя их красоту.

А вообще-то не было у Муськи хорошего декольтированного платья, хороших туфель, хорошей блузки, ничего у нее не было, так кого же ей брать за бока? Мать! И что доводила она мать до слез, это ее мало трогало. «У Светки все есть, у меня — ничего!» — «Так у Светкиных родителей она одна, и отец на войне не был, а ты у нас третья, и отец пришел домой искалеченный». — «Значит, босиком мне прикажете ходить? В лаптях, да?..

Если родили меня, так нечего было еще дюжину заводить!»

И стала Муська питаться отдельно от родителей, чтобы экономить деньги на приобретение нарядов. Борщ варила себе на пять дней и бесстрашно ела его, уже утратившего за окном на морозе и цвет и вкус; борщ и только борщ с черным хлебом в течение месяца, булки не купила ни разу, сахара куска не съела за тридцать дней, зато в получку принесла из универмага шелковую комбинацию и туфельки на модном каблуке.

Некоторое время после этого питалась нормально, набирая силы для жизни впроголодь еще на месяц; копить деньги, приобретать наряды, нравиться мальчишкам — вот что было ее главным и всепоглощающим желанием, перед которым зов желудка в расчет не принимался.

В цехе было полно женщин — война только что кончилась. На мальчишек, своих ровесников, Муська и Светка внимания не обращали, а парни, что называется, были нарасхват... Женька Марьянов, подручный слесаря, всегда чумазый, веселый болтун, с жадным интересом озирающий все в цехе, все решительно, как будто это все принадлежало ему, не замечал девчонок-замухрышек, пока не увидел их однажды в заводском клубе в почти модных платьицах, с почти модной прической, почти барышень. Сдвинув кепку на затылок, он подскочил к ним, примеривающимся взглядом поедая то одну, то другую.

И выбрал Муську, начал ухлестывать за нею. Первое, что она почувствовала, была большая гордость. Ей шел тогда второй месяц на шестнадцатый год, нагрянувшая любовь ее не пугала. Однако Женька вскоре отвернулся от нее так же просто, легко, как легко подскочил к ней на вечере в заводском клубе. У Муськи опухло от рева лицо, горькое чувство брошенной не оставляло ее даже во сне, а Светка, крылышки которой успел уже опалить другой парнишка, смеялась зло. «Чудик ты,— говорила она,— чего ревешь? Еще будет... Теперь наше, женское время, это раньше женщина говорила, что я другому отдана и буду век ему верна; кукиш с маслом, чтобы я одному всю жизнь заглядывала в пьяные глаза, как моя мама заглядывает отцу!»

На фотокарточке неверного Муська выколола глаза, чтобы скорее забыть его, как это сделала и Светка несколько раньше, затем спрятала карточку под подкладку на дно чемодана: хоть и без глаз, а все-таки первая любовь, пусть лежит. Через два года ей понравился другой, только теперь уже не было к нему доверия, с доверием к мужчинам Муська покончила. Как работает строгальщик Новиков, сколько он получает, много ли пьет, не бросит ли ее, как тот черт чумазый, скалозубый Женька?

Ее нового избранника в цехе звали Тимофеем, Тимохой, а вечером на улице это был Джек. В сером костюме и белой рубашке с отложным и всегда расстегнутым воротником, в желтых туфлях и зеленой шляпе с затейливо изогнутыми полями, с гитарой в руках, бродил Джек по вечерам вблизи Финляндского вокзала, перебирая струны. Его сопровождали приятель и две-три девушки. Девушки менялись, приятель нет. Впрочем, они менялись до тех пор, пока с парнями не стали ходить Светка и Муська, твердо решившие выйти за них замуж. Муське не нравилось это шатание по улицам, не нравилось новое имя, навязанное Джеком, которого она поначалу побаивалась, но все решила перетерпеть, уверенная, что женится — переменится, а пока пусть поломается, важность не велика.

— Курочка, — обнял он ее как-то на улице — на такой пустяк, что рядом идут люди, они внимания не обращали. — Муська-Пуська?.. И ты не падаешь в обморок от седой древности?

— А я-то при чем, что меня так назвали?

— Сама назови себя... Могу помочь великодушно... Колумбия, например, чем плохо? Молчание?... Тогда Сильва... Ответ отсутствует?.. Возьми Рудену... Но вообще-то ты что-нибудь кумекаешь в красоте?

Но больше Муськи в красоте кумекала Светка. Она обрадованно сказала:

— Ой, правда, Муська, бери Рудену! Замечательное имя!

А Тимоха присовокупил:

— Меня как матка назвала? Но я же переменил.

Нередко видели на улицах эту четверку лениво движущихся молодых людей. Тимоха-Джек, вышагивая, бренчал на гитаре, его приятель и Светка тихонько подпевали, а Муська павой шла впереди всех шага на три-

четыре, выбивая каблуками дробь, щелкая пальцами, как испанка кастаньетами, тоже подпевая:

Пришла весна, бревно запело,
Коровы крякают, чирикают козлы,
И летят утки, летят утки
Метать икру, метать икру!

Гром загремел внезапно. Комсомольцы поместили в заводской многотиражке карикатуру, озаглавив ее: «Муська-Рудена и Тимоха-Джек». Рудену изобразили танцующей коровой с разинутой пастью, из пасти сыпались слова: «Коровы крякают, крякают, крякают...» А Джек-козел самозабвенно пел, и ветер завихрил вверх и в сторону его длинную узкую бороду: «Летят утки метать икру...»

Ну и посмеялись в цехе! Тимоха не смутился, он только сказал: «Кого они критикуют? Тимоха делает план ежемесячно на сто два процента. А они, которые критикуют? На сто». Руденой же овладела ярость, ей показалось, что теперь она всю жизнь не отмоется от этого издевательского смеха. Она кинулась в комитет комсомола, атаковала секретаря:

— Не имеешь права навязывать свое мнение другим! Умный какой нашелся! Отдыхаем, как умеем. Тебе не нравится? На здоровье... Где нам равняться с тобой, тебе критиковать и руководить!

Секретарь терпеливо усмехался, слушая. Дал ей накричаться.

— Между прочим, ты не знаешь, кто неделю назад на собрании хвалил тебя? Можешь посмотреть протокол. Я говорил: Яснопольская самостоятельно собирает сложные узлы, будет шеф-монтером через какое-то время, не в пример некоторым комсомольцам. Но кто этому поверит, Маша, скажи сама, увидев тебя распевающей на улицах пошлятину?

— Знаешь, Курилов, на улицах не романсы поют!

— Ну, если не романсы, так и не пошлятину же. Нечего смущать общественное спокойствие. И насчет прав ты говоришь неверно. Права у всех одинаковые. Вам нравится распевать на улицах, а кому-то нравится критиковать вас за это. Ну а рисунки сделали комсомольцы твоего цеха.

— Но с твоего одобрения!

— С моего. Я бы и сам написал, давно на тебя и твоих дружков гляжу, да все ждал: сами за ум возьметесь... Присядь, присядь, Яснопольская! Давай покурим и потолкуем по душам...

— Пошел ты к черту!

— Ну и глупо... Ты же хорошо работаешь, знаешь сложную машину. Вызови на соревнование того же Тимоху или даже Горбушина да победи их!

Рудена знала, что Курилов был назначен шеф-монтером год назад, — перевели его в цех внешнего монтажа со сборки. Он сделал несколько выездов на объекты и вдруг вернулся на сборку. Желая уколоть его этим, Рудена сказала:

— Мне обещаешь шеф-монтерство как праздник какой, а что же сам не удержался на этой работе? Кишка оказалась тонка? Ты только мастер хорошо прорабатывать других, да?..

— Душою, понимаешь, рвусь на разъездную работу, да не могу. Пока у нас был один ребенок, ездил, а куда поедешь от двоих? Понимать должна. Жена тоже работает... И оба ребятенка еще в пеленках, такое дело...

Критика сработала. На улицах веселая компания больше не появлялась.

Вскоре Джек и Рудена решили пожениться. Наметили день после получки, когда пойдут в магазины покупать белое свадебное платье, а ему черный костюм, да захотелось вдруг Рудене заранее присмотреться к товарам, побегать по магазинам: ведь выбор свадебного платья — событие. И поспешила Рудена к жениху, так как и подумать уже не могла, чтобы приобрести серьезную вещь без его совета и одобрения.

У двери в коммунальную квартиру она позвонила соседке Тимофея, желая обрадовать его внезапностью своего появления, в комнату к нему вбежала с улыбкой, хотела крикнуть: «А вот и я!» И замерла. Нет, она не сразу поняла, что перед нею. . .

На коленях Тимофея сидела Светка без туфель и чулок, обняв его, склонив ему на плечо голову. На столе водка, буженина, огурцы, навал окурков на блюдечке. Светка вскочила, и в красивеньких ее синих глазках ошалело заметался испуг.

Тимофей поднимался медленно. С простецкой улыбкой, такой доброй и широкой — за нее и полюбила-то

его Рудена, — подошел к ней как ни в чем не бывало, сказал, что они со Светкой только что хотели отправиться к ней, а вот и она... И прошел в дверь, не спеша протопал сапогами по коридору — и был таков, предоставив подругам самим разбираться в интересно сложившейся ситуации. Рудена будто и не заметила его, так намертво ее взгляд остановился на Светке. И это подруга... С которой росла, в обнимку спала, делилась первыми тайнами...

Светка занималась туалетом неторопливо, будто показывала, что ничего особенного не произошло. Но когда подошла к Рудене, голос ее сломался, зазвучал виновато: «Рудка, прости! Больше этого не будет!» Рудену же охватило возмущение, — никогда до этого она не испытывала такого. Она не собиралась Светку ударить, но как-то получилось, что шлепнула ее по лицу, вроде бы для того, чтобы та скорее исчезла с глаз; Светка же отшатнулась с великим удивлением на лице, и Рудене захотелось дать ей еще разок, чтобы не удивлялась. И она дала, а там пошло и пошло — дорого начало...

Светка отступала в угол комнаты, боясь, что Рудена закричит и прибегут соседи, шептала, не защищаясь:

— Рудка, ты с ума сошла... Рудка...

Рудена упала грудью на стол и заплакала...

В цеху Тимоха каждый день передавал ей записочки, просил прощения. Светку называл «случайностью при холостяцкой жизни», предлагал готовиться, как и прежде, к свадьбе. Рудена не отвечала, даже не смотрела в сторону его большого строгального станка.

Через некоторое время Тимоха подошел к ней. Она напильником опиливала зажатую в тисках деталь. Он стал что-то говорить, она повторяла, не поднимая от тисков головы:

— Уйди.

Тимоха не уходил. Она разогнулась.

— Не мешай работать! — сорвался и зазвенел ее голос.

— Работа не волк...

Рудена положила напильник, взяла молоток на длинной ручке, с которым обычно обходчики поездов проверяют колеса. Тимоха увидел, как отлила кровь от ее лица, безумием загорелись глаза, понял, что сейчас она

разнесет ему голову этим молотком, — и отошел, и больше не присылал ей записок и не подходил к ней, и через полгода женился на Светке.

Когда порушилась первая любовь, ушел веселый и чумазый Женька, Рудена с месяц ходила с опущенной головой. Разрыв же с Тимохой переживала около двух лет, и особенно тяжело было в первое время: даже ночью, стоило проснуться — и сон не возвращался, в голову лезли одни и те же измучившие ее мысли. «Шакалы!» — думала она о парнях.

Марья Илларионовна заметила: Рудена правой рукой трогает мозоли левой, ковыряя их.

— Беспокоят? — спросила она.

— Старые не беспокоят, одеревенели.

— Что же, так с ними и ходишь?

— Иногда отпариваю в воде с содой, потом срезаю ножом.

— Не женское это дело слесарить, в слесарках ходить.

— Привыкла уже.

— Сколько, говоришь, годов работаешь?

— Десять.

Когда ей предложили перейти со сборки в цех внешнего монтажа, откуда слесари, именуемые уже шеф-монтерами, направляются во многие районы страны и за границу монтировать дизели, она это предложение приняла радостно, как долгожданное и наконец-то свершившееся. Непрерывные командировки обещали внести разнообразие в привычно-скучноватую жизнь, показать страну, а главное, обещали хороший заработок, чему Рудена всегда придавала первостепенное значение.

На объекты монтажа она стала ездить со старым мастером, в командировках проводила десять-одиннадцать месяцев в году, там суточных на жизнь ей хватало, а зарплата полностью оставалась. Возвращаясь в Ленинград, Рудена никаких денег не жалела, да и ног тоже, обегая десятки магазинов. Дорогими платьями, костюмами, пальто, перчатками награждала себя Рудена за то тяжелое время, когда училась работать и обрекала себя на голод, чтобы экономить деньги. Теперь ее

гардеробу позавидовала бы самая взыскательная модница.

К Горбушину она приглядывалась долго, целый год, встречаясь с ним лишь в те редкие для обоих дни, когда их возвращение с объектов на завод совпадало. То веря своему чувству, то не веря, она изучала Горбушина. Парень высокий, спортивного вида, застенчивый, густые темные волосы не поддаются расческе... Закончил четыре курса института не отрываясь от работы... Ей удалось узнать, что он любил девушку, но почему-то свадьба не состоялась.

И она полюбила его, да ведь как! Словно заново родилась и в светлом, радостном изумлении познавала мир. Выходя утром на работу, она как бы здоровалась с домами, с многочисленными окнами, деревьями, даже с дорогой... Даже к самой себе она почувствовала интерес: могла теперь долго стоять перед зеркалом, безмолвно спрашивая: кто ты?.. Действительно, кто она такая?.. Фигура хорошая, не разбросаешься такими... Глаза хоть небольшие, глубоко сидящие, но яркие. И брови пушистые, с изломом. Светка тысячу раз советовала сделать их ниточкой, как у нее, но это из зависти.

В отдельные минуты Рудена не могла даже сказать, кого она больше любит, себя или его... И это тоже было удивительно... Ни одно из ее прошлых увлечений не сравнить с этим. И если только полюбит ее Горбушин, никакая Светка уже не уведет от нее парня...

Признаться Горбушину в любви Рудене помог случай, а главное... дом!

Еще дед Никиты Горбушина, известный в Петербурге крупный инженер-конструктор кораблей, умерший от разрыва сердца незадолго до войны, поставил на окраине Гатчины по собственному проекту причудливую дачу. Максим Орестович, отец Никиты, главный инженер одного из больших заводов в Ленинграде, гатчинской дачей отца никогда не пользовался — далеко; на лето снимал дачу в Лисьем Носу, куда ежедневно ездил после работы, а отпуск обычно проводил на Кавказе или в Крыму. Отцовский дом решил подарить какому-нибудь ленинградскому детскому дому, чтобы тот имел свою собственную дачу для летнего отдыха.

Он попросил Никиту поговорить у себя в цеху с кем-нибудь из женщин: не согласятся ли навести в доме не-

обходимый порядок перед сдачей его Ленсовету. Никита посоветовался с Руденой, только что назначенной к нему в бригаду Николаем Дмитриевичем для работы в Узбекистане, и девушка с засветившимися от радости глазами спросила, большая ли дача, как ее найти.

— Об этом не беспокойся, поедем вместе — надо же ее открыть.

Договорившись с Николаем Дмитриевичем об отпуске на пятницу и субботу, Рудена со своей соседкой Леной сложили в мешок необходимые для работы ведра, тряпки, веники, соду, мыло, в отдельную сетку — продукты и отправились на вокзал, где их уже поджидал Никита, тотчас отобравший у них мешок.

Рудена едва не ахнула от восторга, увидев великолепную дачу Горбушиных: оранжевый дом под железной крышей с двумя открытыми балконами, с террасой, застекленной цветным стеклом. Рудена спросила, сколько же времени пустует дом, и пожурила хозяев за его сиротливый, запыленный вид.

Потом медленно шла из комнаты в комнату, цепкий женский глаз все высматривал быстро, точно. Великое счастье иметь такую дачу. Комнаты просторные, светлые, дубовая лестница с резными перилами, полы паркетные квадратными плитками, потолки отделаны вагонкой и покрашены цинковыми белилами, сохранившими блеск и белизну.

Пообещав девушкам приехать за ними в воскресенье вечером рассчитаться за работу и запереть дом, Горбушин ушел на вокзал. Девушки, растопив плиту, до ночи мыли горячей водой оконные рамы, двери, потолки. Рудена удивлялась себе: до чего же ей хотелось так навести порядок в доме, чтобы похвалил Никита. Дом будет принадлежать ему, он единственный наследник у отца... И отчего-то сердце у нее сладко сжималось.

А ночью, когда она лежала на диване рядом со спящей Леной, мысли о Никите, о его доме, который может стать ее домом, овладели Руденой властно, всецело. Она бы постелила в этой гостиной красную дорожку от порога, на ней шалили бы ее дети. Она промечтала всю ночь, ни на минуту не сомкнув глаз, но удивительно — усталости утром совершенно не чувствовала.

Два дня девушки мыли, скребли, чистили, на третий осталось лишь справиться с полами, но их было мно-

го, за работу подруги взялись на восходе и закончили ее после полудня. Предложив напарнице не дожидаться Горбушина, ехать домой — деньги за работу она привезет, — Рудена проводила девушку и занялась туалетом. Необходимые вещи она предусмотрительно привезла с собой. Надела свое любимое светло-серое облегающее платье с глубоким вырезом, полуоткрытую грудь украсила золотым медальончиком на тонкой цепочке, руку — часами, другую — браслетом. Она принесла из магазина бутылку самого дорогого коньяка и значительно больше, чем нужно на двоих, закусок. Накрыв стол газетой, поставила розы в банку с водой.

Горбушина встретила у калитки дома, от радостного смущения зардевшись до корней волос. В доме они не спеша осмотрели все сделанное.

— Не узнать ни тебя, ни этих комнат! — удивлялся Горбушин.

— Что ты говоришь, сделано только самое необходимое... Вот если этому дому отдать месяцок...

— Хватит и того, что сделано. Отец передает вам свое спасибо и этот конверт. Держи.

Рудена спрятала руки за спину:

— Ты хочешь меня обидеть?.. Мы же в одном цехе... Сегодня я тебе помогла, завтра ты мне!

— Во-первых, — улыбался Горбушин, — это не я тебя просил работать, а отец. Во-вторых, ты была не одна. В-третьих, труд есть труд, дело, как говорится, святое, и за него надо платить. Даром в нашем грешном мире ничего не делается. Так? Ну и держи!

Рудена нехотя положила конверт в свою большую белую сумку.

— Ну, Никита, дом у вас — замечательный. Мечта и сказка. Если ты не очень спешишь, давай по рюмочке выпьем за то, чтобы вы никогда больше не доводили его до такого состояния.

А Горбушин знал, что через несколько дней дом уже не будет им принадлежать, и сказал с неопределенной улыбкой, чего, однако, Рудена не заметила:

— Нет, теперь уж не доведем... По одной, пожалуй, но не больше... Я хочу еще сегодня позаниматься.

Они сели на диван, Горбушин налил коньяку в два граненых стакана, из которых до этого девушки пили чай,— больше никакой посуды в доме не было.

— У меня новость,— сказал Горбушин. — Вчера Николай Дмитриевич сообщил, что в Узбекистан едем через пять дней.

— Уже?! Так за работу в Узбекистане! — подняла Рудена стакан.

— Идет!..

Они выпили и оба некоторое время не могли поднять головы: так жгуче-крепок был старый, отличный коньяк, который Рудене, однако, не понравился. С трудом отдышавшись, она сказала:

— Никогда такого не пила. Даже к горлу липнет. Зараза... — И подалась слегка вперед, придавив руку Горбушина, лежащую на столе, своими обеими. — Как с тобой работать придется, бригадир? Имей в виду, в работе я самостоятельная, подсказок на каждом шагу терпеть не стану. Я хочу, Никита, чтобы у нас с тобой все ладилось. Все... Понимаешь?

— А почему же нет? Работаешь ты хорошо.

Не нальешь в стакан столько, сколько наливается в рюмку, в рюмочку... Голова кружилась...

— У меня противный характер,— жарко говорила она,— Николай Дмитриевич хвалит мою работу, а мне все равно, хвалит или хает, я свое дело знаю. Мать люблю — и всегда цапаюсь с ней. Одно удовольствие для меня поцапаться... Вот видишь, хвалю я себя сейчас? А как девчонки поступают? О чем бы ни заговорила любая, знай себя нахваливает. А я ругаю себя. Дура я, да? Прежде надо воду попробовать, потом купаться, а я — бух с головой!

— Может, возьмем по глоточку?

— Ты выпей, на меня не смотри, я ужас как за эти дни устала. Налить?

— Один не буду. Мне еще надо позаниматься немного.

— Тогда и я выпью!

Они выпили и опять помолчали, склонившись, будто хватили яду. Потом Рудена крепко сжала ему руку:

— А ты знаешь, сколько я о тебе думаю? Если бы знал!..

Самолюбию какого парня не польстит признание девчонки?.. Горбушин все шире улыбался, смотрел только на нее.

— Почему ты много думаешь обо мне?

— Угадай...

— Я плохой отгадчик.

— Я самому Скуратову сдачу даю, а тебе и подавно достанется от меня в Голодной степи! — смеялась Рудена.

— Не знаю, как насчет сдачи, но петь и плясать, я слышал, ты здорово умеешь.

— Не намекай, не намекай! — еще веселей и громче заговорила Рудена. — Пела, плясала, может и еще спляшу! А что?

— Сплясала бы сейчас, а? И спой. Я же не слышал... Даже той смешной карикатуры не видал, на объекте сидел.

— Сто бед — один ответ!.. Только ты никому ни звука, слышишь, даешь слово?

— Десять раз даю! — закричал Горбушин.

— А то опять изобразят танцующей коровой!

— На двух копытах... — Горбушин согнулся от хохота.

— Но я глотну немного для смелости... А ты не пей, тебе надо заниматься!

— Плевать на занятия!.. Хочешь, я один сейчас все выпью?

— Тогда вместе! Хоть и зараза, а добьем!

— Добьем!

Выпили. Закусывать не смогли, так сокрушил их коньяк. Закуска идет, если питие в меру... Рудена поднялась, отошла к стене, отсчитала шаги к противоположной стене и вернулась, выпрямилась, поставила руки в бока, щелкнув пальцами, как испанка кастаньетами, запела и пошла, то кружась, то притопывая, играя плечами, бедрами, глазами...

Пришла весна, бревно запело...
Коровы крякают,
Чирикают козлы...

Горбушин орал:

— Браво, Карменсита!.. Браво!..

Но внезапно Рудену сильно шатнуло в сторону, и она остановилась, будто не понимая, что с ней происходит. От лица медленно отливала кровь. Постояла, прикрыв

глаза ладонью, затем неверными шагами вернулась к дивану и молча легла. Горбушин поднялся испуганно, спрашивая, что с нею, не дать ли воды. Рудена не отвечала, не открывала глаз. Он принес воды, но она и пить не смогла, тяжело дыша. Заговорила не сразу:

— Сдали силы... Встала в четыре, и кончили в четыре... И тут коньяк... И ничего не закусывали. Да еще откружилась девять раз... Расстегни вот здесь... Дай руку... Никиток... Родненький мой...

Марья Илларионовна с мягкой снисходительностью сказала:

— Видно, ты всегда такая разговорчивая!

— Правду сказать, теть Маш, у меня настроение сегодня худое. Приехали работать, и ничего не получается... А теперь бригадир задумал что-то несуразное... И как-то не до разговора. Но вам за все большое спасибо!

15

Утром Горбушин пошел к секретарю райкома Айтматову. По дороге ему захотелось представить, как же произойдет эта встреча с руководителем района. Возможно, ему долго придется ждать в приемной. Или Айтматов, услышав о приходе шеф-монтера, холодным тоном попросит секретаршу уточнить, по какому вопросу он явился. Может быть, заинтересованно скажет: «Где он?! Давай его сюда!»

А скорее всего, занятый делами, будет сидеть за письменным столом, вчитываясь в бумажки или разговаривая по телефону, головы не повернет при входе какого-то Горбушина, и тогда придется искусственным кашлем напомнить о своем присутствии.

Разные варианты приходили на ум, и Горбушин понимал, что это не от смелости. Скорее от растерянности...

Но ни один из вариантов не состоялся. В приемной Горбушину ждать не пришлось. И не закричал секретарь обрадованно: «Давай его сюда!» За письменным столом, демонстрируя занятость, не восседал, и вообще в просторном кабинете, куда Горбушин вошел, был он не один. Седой и тучный, в чесучовом костюме и кожа-

ных сандалиях на босу ногу, в роговых очках, за стеклами которых светились усталые глаза, секретарь Айтматов стоял у раскрытого окна рядом с бригадиром монтажников Рахимбаевым, и они мирно беседовали.

— «Русский дизель»? Ленинград? Прошу вас...

Горбушина обрадовала встреча с Рахимбаевым. Секретарь парторганизации поможет ему выяснить вопросы! Однако не получилось и так. Все трое сели у стола, и Айтматов ввел Горбушина в суть происходившего разговора:

— Нам предстоит организовать в скором времени музей истории освоения Голодной степи, так вот мы и толкуем, как лучше это сделать. — И перевел взгляд усталых глаз на Рахимбаева. — Все документы, фотографии я посмотрел — очень интересно. Только зачем в музей великого князя тащить? Ну — был, ну и что? Первый воду пустил в Голодную степь? Не он канал копал, люди копали. Зачем сегодня его вспоминать?

Рахимбаев заговорил, как и накануне в конторе, тихо, спокойно, вроде бы нехотя, четко произнося русские слова:

— Нравится нам князь или не нравится — это одно дело. А историю подправлять не надо. История обводнения края связана с его именем крепко.

Горбушин не удержался от вопроса:

— Простите... О русском князе и я что-то слышал вчера от уборщицы конторы.

Айтматов великодушно предложил Рахимбаеву:

— Тогда, Нариман-ака, давай просвети товарища ленинградца, да и я послушаю, свободная минутка у меня есть. Историю про князя у нас никто так хорошо не знает, как ты.

Рассказ старика удивил Горбушина.

Великий князь Николай Константинович Романов в Средней Азии оказался не по своей воле. В Зимнем дворце, в домашней церкви, он украл бриллиантовое ожерелье, возложенное на икону богородицы женой Александра Второго, продал бриллианты ювелиру и вскоре был уличен, о чем тотчас стало известно всему великосветскому Петербургу.

Если бы Александр Второй не захотел огласки, никто бы ничего не узнал, в Зимнем дворце и не такого масштаба события покрывались навечно тайной, если того желали цари. Самодержец терпеть не мог двоюродного

брата за его острый язык и шальную жизнь кутилы. Подписал указ, ссылая князя Николая на бессрочное поселение в Туркестанский край, как обычного вора.

В Ташкенте опальный вельможа построил себе дворец и стал кутить. Говорят, пуделя завел, отпустил ему бакенбарды, как у Александра Второго, и сек его собственноручно в саду каждый день перед обедом у всего Ташкента на глазах.

В этот первый период своей жизни в ссылке он не думал еще о Голодной степи, начинавшейся невдалеке от узбекской столицы. Тогда степью интересовалось правительство, поощряя начинания ташкентского генерал-губернатора Кауфмана — заселить степь отставными солдатами, рыть в ней канал, орошать безжизненную равнину.

Но после убийства Александра Второго народовольцами дело освоения Голодной степи пришло в совершенный упадок — Александра Третьего Голодная степь вовсе не интересовала.

Вот тут и загорелась в князе честолюбивая мечта пустить воду в засоленные степи, создать там прекрасный оазис и царствовать в нем в пику, так сказать, петербургским родственничкам. Тысячелетние предания гласили: кто оросит Голодную степь, тот и будет владеть ею.

За дело князь взялся с жаром, миллионов у него хватало. Его отец, великий князь Константин, отказавшийся от русского престола, умерший в 1832 году, оставил сыну баснословно громадное состояние. Непонятно даже, зачем князь Николай сдернул бриллианты с иконы богородицы. Может, болел клептоманией? Но и до получения наследства он, офицер конногвардейского полка, расшвыривал в Париже такие тысячи, что о нем складывались анекдоты, сохранившиеся во Франции до наших дней.

Широко образованный человек, он изучил ирригационное и мелиоративное дело, для чего выписывал из Европы специальную литературу; северную часть Голодной степи изъездил на верблюдах, лошадях, исходил пешком, составляя планы, разведывая почву, изучая ее. Под его руководством и на его деньги трудились более четверти века сотни людей, начиная большое дело: строительство канала от Сыр-Дарьи в Голодную степь, чтобы пустить воду на огромные безжизненные пространства. Это были в основном солдаты русской армии, списанные в отставку по указанию из Петербурга, да часть бед-

няцких русских семейств, прибывших из разных губерний в Туркестан по призыву Переселенческого управления и с его материальной помощью.

Они болели, кажется, всеми болезнями в этом тяжелом для них жарком климате, в иной год мерли, словно мухи осенью, копая вначале один, затем второй канал и многочисленные арыки, сооружая дома, поселки, сажая деревья. Так были созданы восемь поселков, до настоящего времени составляющие центр освоенной части Голодной степи. Князь назвал их Мирзачуль, что в переводе на русский язык означало: мирза — князь, чула — город, княжеский город.

Айтматов, соглашаясь с Рахимбаевым, кивнул:

— Верно, Нариман-ака, канал выложен людскими костями и более всего костями отставных солдат русской армии. Но первый-то канал оказался негодным, вода по нему не пошла.

Со все растущим любопытством слушал Горбушин. Князь, изучив недостатки первого, неправильно сооруженного канала, вода по которому не пошла, взялся строить второй. В тысяча восемьсот девяносто шестом году вода впервые хлынула из бурной Сыр-Дарьи в засоленную степь. На шлюзе выбита на камне надпись, которую можно прочесть и сейчас: «Николаевский канал предназначается для орошения северной части Голодной степи, начало оживления коей положено Его Императорским Высочеством, великим князем Николаем Константиновичем».

Разумеется, честь досталась князю, а не тем, кто трудился и сложил здесь голову.

Полтора миллиона рублей истратил князь на строительство двух каналов, системы арыков и возведение восьми поселков.

В самом конце прошлого века правительство Николая Второго решило взять ирригационную систему князя в руки государства, для чего из Петербурга приехала в Голодную степь группа высоких чиновников, обследовала все сделанное и оценила это в триста сорок тысяч рублей. Князь Николай, узнав об этом, пришел в бешенство. Ядреный мат, которому удивился бы одесский биндюжник, гремел во дворце его императорского высочества.

Кончилось тем, что он подал на царское правительство в суд. Таковой необычный суд и состоялся в Пе-

тербурге шестнадцатого декабря девяносто девятого года — за две недели до нашего столетия. Суд вынес решение, какого и добивался князь: в его личную собственность было присуждено две тысячи сорок одна десятина орошенной им земли.

Вся эта история поучительна. В ней перемешано и комическое, и трагическое, и героическое.

— Мы князю памятник ставить не собираемся, но и делать вид, что его не было, неверно. Вы приезжайте к нам, товарищ Горбушин, через несколько лет, — немного отдохнув, заключил так же спокойно, как и начал, Рахимбаев.— Музей уже, видимо, будет. За дело взялся Сыр-Дарьинский обком партии.

Когда Рахимбаев поднялся, встал и Горбушин, просительно глядя ему в глаза. Однако старик или не понял его взгляда, или не придал ему значения. Айтматов сказал, лишь Рахимбаев вышел:

— Гордость нашей районной партийной организации этот старый рабочий. Ну, вы когда приступаете к работе? Мне о вашем прибытии вчера позвонил главный инженер Ким.

— Работу, товарищ Айтматов, мы не можем начать. Станция к монтажу машин не готова, что, собственно, и привело меня к вам. Скажите, пожалуйста, верно ли, что прорыв на строительстве ДЭС объясняется нехваткой рабочей силы?

Айтматов недовольно покривил губами. Помолчал, переложил бумагу перед собой.

— Нет, неверно... Расставить рабочую силу правильно не сумели администраторы... Вы что предлагаете?

— Поставить на достройку ДЭС необходимое количество людей.

— А где их взять?

— Я не решаюсь подсказывать. Я одно знаю: если строительство станции не будет выведено из прорыва, завод первого декабря в эксплуатацию не пойдет.

Секретарь помолчал, его тяжелое лицо заметно мрачнело. Заговорил он с недобрым подрагиванием губ:

— Ну, если так случится, мы с директором Джабаровым и начальником строительства Нурзалиевым будем разговаривать другим, партийным языком. Они об этом предупреждены. Вы видите, товарищ, только свою

станцию, и вы правы. Вы не обязаны знать, что для Узбекистана главное в сентябре. Джабаров и Нурзалиев это знают... Хлопок мы начинаем убирать, дорогой товарищ... В это время мы просим даже стариков: если спина гнется, иди, пожалуйста, собери пахты сколько сможешь... А Джабаров и Нурзалиев предлагают снять с полей двадцать сборщиков!

Непримиримый тон секретаря показал Горбушину всю бесполезность дальнейшего разговора. Он поднялся.

— Понятно... Извините, пожалуйста, за беспокойство...

Айтматов не стал его удерживать.

16

— Вот теперь узел действительно завязался крепкий, и никакой телеграммой, никаким телефонным разговором его не развяжешь. Лети домой! Докладывай большой тройке, пускай она думает, как выходить из положения.

К такому выводу пришел Шакир, выслушав вернувшегося из райкома Горбушина. Они долго сидели за столом вдвоем, обсуждая то, что нужно будет говорить в Ленинграде.

В полночь Роман на грузовичке повез на станцию Горбушина и Рудену, непременно пожелавшую проводить его до Ташкента и посмотреть, как он полетит. Радость овладевала ею уже при мысли, что несколько часов она проведет с ним наедине, никто не помешает смотреть ему в лицо, сколько она захочет, слышать слова, обращенные к ней одной. Ведь даже Шакир мешал ей. Третий есть третий.

Горбушин подосадовал, узнав о ее намерении провожать его, однако разубеждать ее не стал, и она поехала с ним.

Цыган снова гнал грузовичок, машина подскакивала и шаталась, а Рудена была довольна: сидела на низком опрокинутом ящике, спиной к кабине, рядом с Горбушиным, держась за него, прижимаясь к нему, чувствуя себя счастливой. Она вела себя неразумно эти двое суток,

ревновала его к Гулян. А ведь женщина, когда она ревнует, выглядит мрачно и всем в тягость... Теперь она переменит тактику. Ошибаться нельзя!

Любовь... Она ведет человека напролом. Ничто ее не остановит, ни воля родителей, ни общественное мнение. Жизнь рушится перед ее силой, если сопротивление велико... Увлекаться можно много раз, но любить много раз невозможно, не хватит для этого никаких сил. Ничего подобного не испытывала Рудена до этого, когда любила Женьку, когда любила Тимоху... На беду себе встретила Горбушина, но и беда желанная, единственная...

Смутное чувство тревоги не оставляло и Горбушина, как только он понял, что отвязаться от Рудены нельзя: она поедет с ним в Ташкент и даже, возможно, полетит в Ленинград. И как же неловко, случись это, будет ему перед Николаем Дмитриевичем... Неловко и сейчас, потому что Рипсиме Гулян действительно понравилась ему и Рудена это почувствовала. Вероятно, в поезде она устроит ему допрос. Что ответить?

Поэтому, едва они вошли в вагон и выбрали места, Горбушин начал ждать наступления Рудены, уверенный, что за этим дело не станет,— пассажиров в вагоне было мало. И не ошибся. Рудена мягко атаковала его.

— И хочется и не хочется продолжать вчерашний разговор в беседке,— сказала она.— Но если тебе это неприятно, тогда не будем.

— Я все понял, ты, кажется, тоже...

— Дорогой бригадир мой...— весело вильнула Рудена,— вчера ты немножечко меня обидел своим недоверием.

— Я и сегодня могу сказать лишь вчерашнее...

— Ну уж ладно, Никита... Значит, одни производственные вопросы заставляют тебя лететь?

— Конечно! — твердо проговорил Горбушин.

— Я все время чувствую в твоей поездке какую-то двусмысленность, прости меня.

Вот так она заявляла ему свое право на него. Это рассердило Горбушина, однако благоразумие подсказывало промолчать, не время и не место для таких объяснений.

Он встал, вышел в тамбур покурить. Вернувшись, сказал, что не прочь слегка подремать, сел, откинул голову, закрыл глаза. Рудена с готовностью предложила:

— Ты ложись на диван, а я буду сидеть. Голову положи мне на колени.

— Спасибо... Эти доски, стоит лечь, сразу отобьют желание уснуть. Подремать же сидя — в самый раз.

Все больше успокаиваясь, Горбушин и вправду стал дремать. В вагоне было полутемно, душновато, тихо, перестук колес казался таким мягким, приятным. Это был полусон... Ни на минуту не переставал Горбушин ощущать сидящую рядом Рудену и что-то смутно думать о ней, и одновременно видел прыгающих по дереву красавиц горлинок; то шел по Невскому проспекту с Ларисой, нес ее скрипку; то чуть доходящий до сознания неутомимый перестук колес перерастал в узбекскую народную мелодию, которую он слышал накануне по радио. Эта музыка заинтересовала его обилием в оркестре ударных инструментов и их звуковой активностью. И, как всякое размышление о музыке, даже мимолетное, оно закончилось его горькими думами о Ларисе.

В Ташкент приехали перед рассветом. С удовольствием дыша утренней свежестью, хотя и попахивающей пылью, Горбушин и Рудена прошли на привокзальную площадь, увидели там стоянку такси. Приблизившись, обнаружили тут же и маленький розарий: розы всех цветов, вдвое и втрое крупнее наших северных, только что политые, издавали сильный и нежный аромат.

— Подарила бы я тебе розочку, да боюсь милиционера!

— Ну вот и считай, что подарила...

Быстро светало. Некоторое время Горбушин и Рудена смотрели, как все отчетливее вырисовываются аллеи-улицы, стрелами уходящие к центру города, и казалось им, что они здороваются с Ташкентом. Затем сели в подошедшую машину и через полчаса уже подходили к кассам на аэровокзале.

— Я нисколько не уснула в вагоне, сидела и думала о себе, о тебе, об этих днях, прожитых на хлопкозаводе.

— И что надумала?

— Ничего...— вдруг тихим, непривычным для нее голосом сказала Рудена. — Возвращайся, пожалуйста, скорее.

— Не задержусь, нам вряд ли позволят тратить время попусту.

Он подал ей руку, она умоляюще смотрела на него, ожидая ласки. Но он отвел взгляд в сторону.

Кресло Горбушина оказалось у иллюминатора, он обрадовался этому, прильнув к нему раньше, чем самолет оторвался от земли. Увидел часть летного поля, подъездную площадь у аэродрома, где находились здания всяческих служб для пассажиров. Потом самолет взлетел, море крыш открылось Горбушину. Первый солнечный луч не мог осветить их все, он словно перескакивал с одной на другую, резвый и такой веселый.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

У БЕРЕГОВ НЕВЫ

17



амолет шел на высоте восемь тысяч метров, внизу лежало Аральское море в изумительно преломляющейся игре света и красок — то розово-золотистое, то огненное, то голубое до неправдоподобия, и солнце било в иллюминатор, в который продолжал заглядывать Горбушин. Но ни солнце, даже на такой высоте беспощадное, ни радостно сияющий Арал не отвлекали Горбушина от раздумий.

Ему хотелось лучше понять Усмана Джабарова, директора с цепным ключом в руках, двадцать лет проработавшего слесарем и водопроводчиком. Почему именно он назначен директором хлопкозавода, а не инженер Ким, например?

А что представляет собой начальник СМУ Дженбек Нурзалиев, человек с красивым голосом и беспечным характером? Станет он вмешиваться в работу шеф-монтеров? Он и Джабаров должны помогать, но будут ли... А Нариман Абдулахатович Рахимбаев с его безупречным русским произношением и знанием истории Голодной степи?

Засели в памяти эти два разговора с Гулян; она безусловно умна и горда. Что он еще о ней знает? Кто однажды заглянет в ее глазищи, тот, наверное, не сразу забудет о них. Почему она побледнела, войдя в беседку?

Так неприятно было встретиться с людьми, сказавшими ей утром горькую правду?

Когда она слушает, лицо выражает внимание и только внимание, а когда говорит, оно становится вдохновенным... Как у Ларисы, когда она, опустив подбородок на деку, закрыв глаза, отрешившись от всего окружающего, начинала играть и он неотрывно смотрел на нее.

Мать...
Отец...
Лариса...

— Папа, папа, я боюсь!..

— Ты не плачь... Не надо плакать... Ведь я с тобой!

— Мама не придет, ее закопали! Я видел! Почему она была белая и не отвечала?

— Наталья Тихоновна напрасно позволила тебе поехать с нами. Мама, сынок, уже не придет, но я с тобой... Разве тебе плохо со мной?

— Мне хорошо с тобой, только ты не ходи каждый день на работу. Зачем туда ходить каждый день?

Через неделю отец повел сына в школу, в первый класс. Вела сынишку, тоже за руку, тоже в первый класс, и молодая, со следами оспы на лице дворничиха Гаянэ. Зная, какое горе постигло Горбушина, большого начальника — по утрам за ним приходила красивая машина и вечером привозила его домой,— женщина неловко остановилась.

— И Никитака в школу? Ай, как хорошо! А я думал, Никитака рано в школу.

Татарчонок смело возразил матери:

— Почему ты так думал? Он выше меня, ему давно надо в школу!

Максим Орестович вспомнил, что не раз замечал его, с яркой тюбетейкой на макушке, пляшущим на дворе среди ребят. Да-да, ребята всегда его окружали.

— Плачет и плачет,— сказал Горбушин. — Прямо не знаю... Может, посадить их за одну парту?

Гаянэ горячо это одобрила. Она с кем-то переговорила в школе, и ребята сели за одну парту. Никите это помогло. Шакир часто ему что-то шептал, отвлекая от тяжелых мыслей, а когда возвращались из школы,

Никита шел не домой, где его ждала нанятая отцом пожилая домработница, которой он боялся, а бежал вместе с Шакиром в его полуподвальную квартиру. Там тетушка Гаянэ кормила обоих, потом усаживала за широкий стол делать уроки. Иногда они на полу играли в кубики, расставляли солдатиков. Лишь вечером, возвращаясь с работы, заходил Горбушин к дворничихе за сыном, долго извинялся за причиняемое мальчишкой беспокойство, сетовал, что не хочет он сидеть дома.

Когда ребята закончили шестой класс, началась Отечественная война. Школьников эвакуировали в глубокий тыл. Вместе с сыном, проводив мужа в армию, уехала и тетушка Гаянэ. Горбушин просил ее не оставить своей заботой Никиту, обещал высылать деньги, но вскоре Ленинград оказался в окружении, и связь отца с сыном прервалась на годы.

Эта худенькая девчонка с острыми плечами и торчащими лопатками носила очки в тяжелой черной роговой оправе, казавшиеся большими и нелепыми, а к тому же еще пиликала на скрипке, что ребятам представлялось уж и вовсе ни к чему.

Шакир и Никита терпеть ее не могли. Не очень-то общительная, за ними она почему-то бегала всюду, как собачонка. Сколько можно? Им и двоим было интересно, никто третий не нужен, а эта вяжется и вяжется. Говорили ей, что играть с ней все равно не станут, но она будто не понимает русского языка. Тогда они решили проучить ее, но удобного случая для этого долго не представлялось.

В первую зиму в эвакуации ребят отправили в лес заготавливать для школы дрова. Они пилили, разделывали лесины на швырки, мерзли, недоедали: школьного пайка, да еще при тяжелой работе в лесу, на морозе, конечно же не хватало. Никита лихолетье терпел молча, а Шакир то с матерью схватывался ни за что ни про что, то в школе скулил и плевался. И вдруг однажды он подмигнул Никите:

— Мы что-нибудь придумаем!..

В руках у него появилась старая колода карт, неизвестно как к нему попавшая. Стал он предлагать ребятам сыграть в подкидного на пайку хлеба или сахара, в выигрыше обычно оказывался сам. Проигравший, слу-

чалось, ревел. Ларка пожалела одного такого проигравшегося, донесла на приятелей воспитательнице, а та была очень нервная — недавно получила похоронную на мужа. Она прямо в лесу подняла такой крик, что он слышен был на деревне. Потом прибежала к тетушке Гаянэ, все ей выложила.

Та быстро устроила суд над ребятами. Посадила их рядом на лавку, от злости мешая татарские слова с русскими, начала отчитывать. Так, значит, за счет других хотят жить паразитами? Обыграли девять мальчишек, беда!

Конечно, Шакир не сидел молча. Он тоже кричал, доказывая матери, что когда они с Никитой проигрывали, а другие ребята выигрывали, так они не плакали, нет! Но мать слушать не стала, схватила его за шиворот, хлестнула по щеке, по другой, подтащила к двери и вышвырнула на снег. Никите по щекам не попало, но вылетел вслед за Шакиром и он.

Как же отомстить Ларке за предательство?.. Шакир поймал ее в коридоре школы, прижал к стене и пообещал: если посмеет еще раз подойти к ним близко, он сломает ей очки и скрипку. Она посмеялась и продолжала за ними бегать.

В предпоследний год войны им стукнуло по шестнадцать, они получили паспорта и всем классом, ленинградские мальчишки и девчонки, вступили в комсомол. Шла война, и каждый хотел быть с коллективом,— чувство коллектива людьми никогда не владело так властно, как в дни войны. И она же, война, сделала для ребят вступление в комсомол волнующим необыкновенно. Побледнев, слушали они на торжественном собрании напутствия старших, а кто уже знал, что отец убит на войне,— и со слезами, судорожно сдерживаемыми.

Секретарь райкома комсомола, девушка лет девятнадцати, говорила: восемь секретарей ушли на фронт один за другим, она девятая... Вступающим в молодежную организацию надо понимать трагическое и героическое время,— ведь, если война протянется, и они должны будут бить врага по-комсомольски.

Она говорила долго. Ее сменила пожилая колхозница, депутат райсовета, потом один за другим говорили учителя. Директор предложил ребятам поздравить друг друга с вступлением в комсомол. Пришлось им пожать руку и Ларисе.

А потом опять потекла обычная, размеренная школьная жизнь. Тогда, в шестнадцать, Горбушину и Шакиру ничего лирического и в снах еще не снилось, они ждали победы, ждали окончания десятилетки, ждали возвращения домой и встречи с отцами,— не жизнь, сплошное ожидание.

И Лариса тоже ждала. Она каждый вечер наводила старенький театральный бинокль на окно той избы напротив ее дома, где жили тетушка Гаянэ, Шакир и Никита. И видела: Никита за столом пишет или читает, а Шакир либо грызет карандаш, либо ловит муху, мешающую ему заниматься.

Девочка шепотом просила Никиту не делать уроки, поднять от стола голову, взглянуть в окно, и, если Никита в тот момент выпрямлялся, ее радость не знала границ.

Иногда в школе устраивали вечера художественной самодеятельности, Лариса играла на скрипке. Она всегда просила Никиту и Шакира прийти послушать ее игру, но Никита после смерти матери, учительницы музыки, с которой, бывало, дома в четыре руки бойко играл на рояле детские песенки, не только не мог играть, но спокойно слушать музыку не мог, хотя прошло уже десять лет с того дня, как «мама была белая и молчала». А этого достаточно, чтобы музыку не терпел и Шакир. У них было полное единение во взглядах и вкусах.

— Смешно же, правда, ребята! — корила их Ларка. — Вы ни один концерт не досидели до конца. Почему?

— Если ты воображаешь,— сказал Шакир и поставил локоть ей на плечо, она рванулась, но не тут-то было, он надавил сильнее,— что наши нервы могут выдержать твою игру, так ты ошибаешься, Ларочка!

— Ваши нервы никогда ее не слышали!

— Ну, если правду сказать, так ты права, музыку мы не признаем вообще, мы приветствуем кино и цирк. Но твою игру мы слышали. Человеческие нервы ее не выдержат.

— Врете, все врете!

— Никита, подтверди! — сказал Шакир и опять надавил локтем. — Ты играешь, как воет кошка на крыше. Впрочем, кошка воет приятнее.

Наконец вырвавшись из-под его локтя, она отскочила в сторону. Она смотрела на Никиту, только на него.

«Не соглашайся!» — кричал ее взгляд. Вспоминая впоследствии этот ее взгляд, он понимал, что смотрела она на него умоляюще, смешная, не похожая ни на кого девчонка, ждала его приговора, как смерти себе или помилования, а ему что тогда было? Он подыграл Шакиру:

— Конечно, мы слышали, как ты играешь. Прошлым летом! Ты играла, окно в зале было открыто, а мы стояли на улице и слушали.

— И что же, я играю... как воет кошка?

— И даже хуже. Как воют две кошки, когда сидят на крыше одна против другой.

— Скажи честное слово!..

— Честное слово! — выпалил Никита.

Она побежала по коридору, схватила в раздевалке пальто, понеслась по улице с красными и мокрыми от слез щеками. Ребята же, проводив ее взглядом, победно смеялись. Во, допекли очкарика! Не станет больше приставать со своей дурацкой игрой. И как это неожиданно и здорово получилось!

Весной они вернулись в Ленинград.

Никита не сразу узнал на вокзале отца в генеральской шинели, да и Максим Орестович напряженно присматривался, прежде чем в шедшем навстречу большеруком парне с нелепой усмешкой признал сына, так он вытянулся за трудные годы.

— Папа!..

Они постояли обнявшись. Радость Никиты на этом кончилась. Отец сказал:

— Познакомься, сынок. Это моя жена, Лилия Дементьевна.

Стояла рядом с ним молодая улыбающаяся женщина, на военной гимнастерке ордена, медали. Много орденов, медалей... Майор медицинской службы. Она протянула Никите руку, он, подав свою, поскорее наклонил голову.

— А это Гаянэ Валиевна Курмаева и Никитин дружок Шакир, я тебе говорил...

Приехав домой, Никита прошелся по комнатам и удрал к Шакиру в подвал, не в силах побороть тягостное чувство неловкости. Вскоре туда пришел и отец. Еще раз поздоровавшись с Гаянэ, задержав ее жесткую руку

в своей, он сел, огляделся. Приспущенными флагами свисали отставшие от стен обои, серой бумагой казались стекла на окнах, так они с обеих сторон запылились. Бил в нос запах тяжелой сырости и затхлости, несмотря на то, что окна были настежь открыты. Никита, засучив рукава, стоял на подоконнике, мыл стекла, Шакир трудился над вторым окном. Тетушка Гаянэ, оставив швабру, присела к столу, уже тщательно вымытому, стала рассказывать Горбушину, как мыкала горе в эвакуации.

— И не съели вас живьем эти два парня?

— Веселее мне было, что два. Кочегаром работала, дали карточку первой категории. Мальчики получали школьный паек. Не санаторий был, конечно, но жить можно. Выросли они — работали в колхозе каждое лето: копали, таскали, косили, сгребали; картошки много заработали, совсем хорошо стало.

Давно знал Максим Орестович, что ничем не отплатить ему за все то, что великодушно, бескорыстно сделано этой женщиной для Никиты и до войны, и во время нее. Ведь, может быть, она спасла ему сына. Он хотел помочь ей материально и терзался, не зная, как осуществить это получше.

Их дружеская беседа изменилась, лишь он поднялся.

— Знаю, дорогая Гаянэ Валиевна, каким неоплатным должником вашим являюсь... Ведь вы десять лет были Никите доброй и внимательной матерью... Я часто думал о том, каких усилий вам стоило это, но вряд ли понимал до конца... — И, стараясь сделать это незаметно, Горбушин положил на стол тугую пачку денег.

Дворничиха отступила от него.

— Что вы...

Горбушин смешался и совсем испортил дело:

— Я вас прошу... Ведь это лишь часть затраченного вами.. Я ваш должник...

— Вы сказали: я была ему матерью... Матери не за деньги растят своих ребят!

— Вы вернулись из эвакуации, вам нужно многое... У вас ничего нет... Ну, пожалуйста... Я очень прошу...

Но, увидев, как некрасивое лицо женщины делается непримиримо суровым, он опустил деньги туда, откуда

достал их, поцеловал ей руку и ушел домой, оставив Никиту мыть окна.

И потекла у ребят жизнь так, что лучше и не надо. Утром Никита, к удовольствию Лилии Дементьевны, не ждал от нее завтрака, он ставил на огонь большую сковороду, поджаривал на ней черный хлеб, заливал его яйцами. Приходил Шакир, они завтракали и отправлялись в поход на целый день, в кинотеатры главным образом; иногда им удавалось просмотреть три, а то и четыре фильма в день. В сельской местности, где они жили в эвакуации, кинотеатра вблизи не было, вся война прошла для них, так сказать, вслепую. И вдруг увидели ее, остолбенели, готовы были каждую картину смотреть по два и три раза, смотреть картины про войну круглые сутки, не евши, не спавши.

Трагическими криками тетушки Гаянэ, огласившими двор-колодец, оборвалась для них эта великолепная жизнь. Мать Шакира получила похоронную на мужа. Максим Орестович узнал об этом от жены вечером, приехав с работы, сейчас же сбросил шинель и поспешил в подвал к Курмаевым. Увидел сына с расширенными от горя глазами, стоявшего рядом с Шакиром. Несколько женщин успокаивали плачущую. Надо же, говорили они, ранен был и контужен, отпраздновал победу в Берлине, а погиб в степях Маньчжурии — вон откуда черная весть, не с запада, откуда ее с замиранием сердца ждала каждая женщина несколько лет, но с востока, где и война-то вроде бы уже и за войну не считалась!

Максим Орестович долго шагал по комнате молча, потом остановился перед вдовой:

— Теперь я буду заботиться о вашем сыне!

Она слабо запротестовала — ничего ей не нужно, Шакир уже вырос. Как-нибудь проживут. Горбушин спокойно выслушал ее.

— Но ведь ребятам нужны не только учебники и сапоги. Им еще необходим отцовский совет... Жить Шакир будет с вами, разумеется, об остальном забота моя. Не обижайте меня и Никиту, Гаянэ Валиевна, своим отказом!

Вскоре парни серьезно огорчили Горбушина, отказавшись подать документы в институт; они сказали, что хотят работать на заводе «Русский дизель», где уже много лет трудился токарем дядя Шакира и теперь звал

и его туда же. Максим Орестович попросил каждого объяснить ему причину такого решения, каждого слушал не перебивая.

Мать постарела, говорил Шакир, а работа у нее тяжелая, к шести утра уже должна очистить панели от снега, сколоть лед, чтобы идущие на работу не падали,— участковый строгий, неприятностей не оберешься, если этого не сделать. Днем убирает на лестницах, в коридорах, наблюдает за порядком на дворе.

— Все это так, но неучами-то нельзя оставаться. Да и на что она станет жить, если ты снимешь ее с работы?

— На мой заработок.

— Тебя осенью призовут в армию.

— Тогда опять станет работать, лопата и лом от нее не уйдут. А пока пусть отдохнет, в эвакуации ей досталось. Кочегаром на двух котлах работала.

— Ну хорошо, твои мотивы я теперь знаю. Что скажет Никита?

У парня ныла душа, так робел перед отцом, от которого малость уже и поотвык... Но сказать постарался твердо:

— Есть причина, папа!

— Не сомневаюсь, если принимаешь это серьезное решение. Объясни ее, пожалуйста.

— Сколько себя помню, я все учусь и учусь, устал, и надоело,— выпалил Никита и помолчал, напряженно всматриваясь в лицо отца. — Десятилетку мы закончили, но как? Мы больше работали зимой и летом, чем учились. Да и учиться не хотелось. Это скажется на вступительных экзаменах? Скажется. Мы уже нюхали. Конкурса нам не вытянуть. Поработаем год, отдохнем от парты, а там можно и опять за учебу...

— На заводе собираетесь отдыхать? — тоном главного инженера спросил Максим Орестович.

Никита понял этот тон, однако и теперь не уступил отцу.

— На заводе мы работать будем, не отдыхать.

Шакир вторил другу:

— Пусть он повышает уровень, я наелся партой! Для будущего слесаря знаний хватит.

Встретив это железное упорство ребят, Максим Орестович задумался. Радовало их напористое желание самим решать большой для себя вопрос, но одновременно и досадно было, что не сумел привести доказательств,

которые бы их убедили, не проявил находчивости в доводах.

Он сказал, что не намерен с ними ссориться, но, если они не посчитаются с его мнением, быть скандалу. Пусть отдохнут год, но потом должны продолжать учебу. Оба. И пришлось ребятам дать слово.

После этого разговора долго думал Максим Орестович. Повидал он людей на своем веку, всегда чувствуя симпатию к тем, кто всю жизнь чему-то учится. Таких не надо подталкивать к знаниям, сами рвутся... Есть у Никиты и Шакира крылья — взлетят, десятилеткой не удовлетворятся; нет — пусть будут мастеровыми, завод — неплохой оселок, на котором вот такие ребята обтачивают самих себя, становятся мужчинами и мастерами.

Он позвонил на «Русский дизель» начальнику цеха, куда Шакир и Никита уже поступали, попросил коллегу принять его. Они договорились о встрече, и Горбушин приехал на завод.

Николаю Дмитриевичу Скуратову, инженеру-механику, начальнику цеха внешнего монтажа, перевалило за пятьдесят, но пока еще ни одна сединка не тронула его густых смоляных волос. Ветеран завода, знаток отечественного и мирового дизелестроения, автор ряда научных статей, он был астматик «до синюхи», а к этому несчастью еще и заикался немного.

Борясь с астмой, Скуратов курил трубку с астматолом, его зеленый ядовитый дымок до того густо плавал в небольшом цеховом кабинете, что каждому входившему туда было трудно дышать. О требовательности Скуратова в цехе ходили анекдоты. Все на заводе знали о его подвижническом отношении к своим обязанностям, поэтому обиды на него долго не держали.

— З-драсте... Говорили, что коллега, а вон в какой шинели приехали.

— Последние дни ее донашиваю, Николай Дмитрич. А вам не пришлось поносить шинель?

— И-избавил бог. Б-без шинели задыхаюсь. Садитесь, прошу. Вы звонили — десятиклассники, двое... Устраиваются такие. А вы кто им будете, п-простите?

— Один сын мой, другой — сосед. Кончили десятилетку. Хотят работать.

— П-по-охвально... А иные от завода нос отворачивают, как черт от л-ладана. — Протянув руку к коробке

с астматолом, на которой лежала трубка, и что-то вспомнив, Скуратов лишь повел бровями и не закурил.

— Скажите мне, пожалуйста, к чему вы намерены приставить моих ребят?

— Прежде посмотрим, на что они способны.

— Инструментом владеют. Не думаю, чтобы хорошо, но сверлят, паяют, напильником и ножовкой тоже работали при школьной мастерской. В общем, ребята подготовленные.

— Сейчас мы набираем учеников к слесарям-сборщикам. Думаю, ваших можно поставить подручными к шеф-монтерам. Но один серьезный вопрос: водочкой не балуются? Ответить прошу откровенно... Потому что бракоделы достаточно портят нам кровь и здесь, а ведь на объектах за брак отвечает завод, его доброе имя.

Горбушин улыбнулся:

— Ребята хорошие, да и совсем еще молодые. Негде было научиться пить, в колхозе жили.

Скуратов покачал головой:

— Посмотрим... Словом, Максим Орестович, с вас спрошу через полгода: столько времени буду их держать в цеху, посмотрю, на что способны.

— Согласен. Теперь скажите,— переменил Горбушин тему,— много требуется стране дизелей?

— Невероятно... Их и до войны требовалось много, а что же т-теперь, после нее? Задыхаемся, замотали своих шеф-монтеров, д-двое разошлись с женами из-за постоянных разъездов. Месяцами бабы не видят своих мужей. На ч-ч-черта, говорят, нам и деньги большие нужны, п-представьте...

— Тогда, Николай Дмитрич, действительно, отдайте моих ребят шеф-монтерам. Работу с разъездами они скорее полюбят. Только уж хорошим, пожалуйста.

— А плохих мы на объекты не посылаем.

Горбушин, собираясь уходить, поблагодарил Скуратова, просил звонить ему, если ребята станут плохо работать. Скуратов на это помахал указательным пальцем: завод не школа, папу-маму на родительский совет за неуспеваемость младенца не тянем, обходимся своим умением...

Никита и Шакир проработали у Николая Дмитриевича год, потом их призвали в армию.

18

Со службы вернулись молодцами. Особенно Шакир бросался в глаза своей статностью: так окреп, пополнел, ремень на гимнастерке любо-дорого охватывал талию. Возмужал и Никита, но от врожденной стеснительности до конца не освободился, вероятно унаследовав ее от отца, не разучившегося смущаться и теперь.

Вскоре как зазвучал в подвальной квартире веселый голос артиллериста-наводчика Шакира, к тетушке Гаянэ повадились ходить пожилые татарки чаевничать с хрустящими чиекче. Беседа у них текла неторопливая, обстоятельная; думает ли Гаянэ о будущем сына? Отслужил, работа у него, слава аллаху, хорошая, да и красивый парень, и здоров, и годы подошли; пора подумать о подруге ему, не то, если сам начнет выбирать, какую подцепит? Наплачется Гаянэ. Вертихвосток теперь хоть отбавляй... Есть на примете девушка достойная, осчастливит того, кому достанется. Она почти фельдшер. Закончила фармацевтический техникум, работает в аптеке. Конечно, Шакир может взять русскую, но почему же и не свою? Халида красива, скромна.

Мать сказала о свахах Шакиру. Тот кинулся к Никите и хохотнул:

— Тысяча и одна ночь!

К указанной матерью аптеке они мчались, обгоняя прохожих, задевая их плечом, не обращая на это внимания; Шакир не собирался церемониться с какой-то там Халидой, набивавшейся ему в жены, он сейчас так даст ей понять — забудут ее свахи дорогу на улицу Герцена!

Войдя в аптеку, увидели за прилавком невысокую девчонку в белом халате и белом колпаке, с узкими глазами, немного скуластую. Остановившись у стены, начали наблюдать за ней. Лекарства она отпускала скоро, ловко.

— Что вы посоветуете мне от кашля? — пошел в наступление Шакир.

— Таблетки кодеина. Двадцать копеек.

— Хорошие таблетки?

— Были бы плохие, их бы не продавали.

— Значит, мой кашель испугается и удерет от меня, если я куплю эти таблетки?

— Товарищ, вы мешаете мне работать!

— Но я хочу знать, на что я истрачу деньги.

— Вы мешаете мне работать! — повысила она голос.

Тогда он решил сразить ее:

— Я Шакир Курмаев!

Однако она не сразилась.

— Отойдите от прилавка,— подняв наконец на него глаза, сердито сказала она.

— Вам ничего не говорит моя фамилия?

— Я сейчас попрошу уборщицу вывести вас из аптеки!

Шакир хохотнул уже неуверенно:

— До свиданья, Халида...

И только теперь она посмотрела на него внимательно.

На другой день, даже не спросив Никиту, хочет ли он опять пойти с ним в аптеку, Шакир направился туда в новом черном костюме,— Максим Орестович заказал парням костюмы в ателье тотчас после их возвращения из армии.

Домой Шакир вернулся около часу ночи. Девчонка, выйдя из аптеки, уже не была такой колючей, как накануне. Он ходил к ней целый месяц, а затем сказал матери и Горбушиным, что женится.

Раздумывая, кого из бывших одноклассников кликать на свадьбу, ребята вспомнили очкарика Иванову. Они поступили на завод, она же, к неподдельному их изумлению, стала учиться в консерватории по классу скрипки, куда была принята, выдержав большой, обычный для этого учебного заведения конкурс. Теперь она заканчивала четвертый курс, несколько раз выступала по радио, поговаривали, что ее ждет большое будущее.

Полгода назад, еще в армии, Никита и Шакир решили: да, чудеса на свете есть, если очкарик играет по радио.

— Мы бараны! —веско сказал Шакир.— Ну что бы хоть раз послушать, что она там пиликает! Может, и правда неплохо, а?

Он захотел увидеть ее на своей свадьбе, и, конечно, со скрипкой, чтобы сыграла гостям. Никита не одобрил его затею:

— Она же терпеть нас не могла после того... Ты вспомни. Мы здоровались, она не отвечала. И другое учти: как девчонки с дипломами смотрят на слесарей?

Но Шакир упорствовал, и что оставалось Никите, первому дружку, а по татарскому обычаю — и главному

распорядителю на свадьбе? Он отправился к очкарику, готовя себя к не очень-то приятному разговору. Навел справки, не замужем ли она. Оказалось — нет. Двадцать второй год — и одна. Талантлива. «Или земля хорошими парнями оскудела?»— думал Никита.

Перед дверью ее квартиры он не решился позвонить сразу, долго поправлял прическу, галстук, пиджак и еще постоял, вдруг заново почувствовав свою вину за то хоть и невольное, полусмешное, но все же оскорбление, которое нанес тогда Ларке. А если она покажет ему сейчас на дверь? И ничего удивительного, ведь целый год не отвечала на его слова, проходила мимо не поднимая глаз. Чудачка!

На звонок дверь отворила Лариса. И Никита в первые секунды не поверил, что это она, Ларка. Рослая девушка в светлом платье, золотистые волосы текут за плечи, синие испуганные глаза глядят на него не мигая. Очков нет.

— Здорово, Ларочка!.. — бухнул он.

Она молчала.

— Как ты выросла за четыре года!..

Она молчала.

— Встретишь на дороге и пройдешь мимо!

Она как будто делала усилие, чтобы узнать его, но узнать ей что-то мешало, и она смотрела на него в упор, остро... И молчала.

— Между прочим,— улыбнулся Никита, поборов волнение,— на приветствие солдата отвечает даже маршал!

Она чуть заметно облизнула губы.

— Ну, я не маршал, а ты не солдат... Ты ко мне?

— Да вроде...

— А если без вроде?

— К тебе.

— Тогда проходи.

В комнате она предложила ему сесть на диван и, проходя мимо зеркала, быстро окинула себя взглядом.

— Можешь курить, если хочешь... Пепельницу дать?

— Что ты! — испугался Никита. — Можно и подождать... Я к тебе, видишь ли, на минуту, и вообще, извини меня, пожалуйста, за это вторжение... Я по поручению Шакира.

— Ты до сих пор у него на побегушках?

— Я первый дружок жениха, всего и дела... И в качестве такового пришел пригласить тебя на свадьбу, как уже пригласил целую кучу наших.

— Забавно... — сказала Лариса, а ничего веселого в ее настороженных глазах не было.

Она еще не совсем его узнала, но смотреть на него, слушать его ей было интересно. Когда-то она заставляла себя не думать о Горбушине, гнала мысли о нем, но беда затягивала, заставляла проводить ночи с открытыми глазами. Любовь чувство высокое и гордое, но иногда Лариса говорила себе: если бы он когда-нибудь испытал к ней то же, что она испытывает к нему, вот бы посмеялась над ним! Узнал бы тогда!..

И вот он сидит рядом, но смеяться над ним не хочется. Или все-таки вспомнить о прошлом, проучить?

— Так Шакир женится... — сказала она безразлично. — А ты что же отстаешь?

— Верно, отстал.

— Есть у тебя девушка?

— Отстал же, говорю. Одна лучше другой, так что разбегаются глаза.

— Я слышала, ты работаешь на заводе. Даже, говорили, хорошо работаешь.

— От кого слышала?

— Не помню...

— Работаю и работаю,— пожал плечами Никита.

— С учением, выходит, навсегда покончил?

— Зачем покончил? Только начинаем. Но все перезабыто, хоть бы курсы какие проскочить. Слушай, я десять лет видел тебя в очках... Где же они?

— Находишь, что я изменилась?

— Ты выросла...

— И похорошела, да?

— Слушай, чего ты кидаешься на меня?! — засмеялся Никита.

— Ничего я не кидаюсь... И не с чего мне хорошеть... Продолжаю выть, как две кошки на крыше. Когда они сидят одна против другой!

— Чудачка!.. — не переставал смеяться Горбушин.— Обыкновенный же был треп на переменке, чего ты обозлилась? И до сих пор помнит...

Она сказала с удовольствием:

— Век буду помнить...

— Есть чего... Век... — заливался Горбушин. — Ну, теперь ясно... на свадьбу к Шакиру ты не пойдешь.

— Конечно, не пойду.

— Между прочим, я ему говорил, болвану, как девчонки с дипломами смотрят на слесарей.

— Ну и глупо говорил!

— По своим способностям... Привет-то хоть передашь ему? — Горбушин встал.

— Куда ты торопишься?

— Мне на работу во вторую смену.

— Хоть ты и слышал кошек однажды у открытого окна... Хочешь еще послушать?

— Давай!

Лариса вышла в другую комнату и сейчас же вернулась со скрипкой в руках, плотно притворила дверь. Профессиональным горделиво-спокойным движением опустила подбородок на деку, коснулась смычком струн, закрыла глаза, и лицо ее сделалось отрешенным. Теперь Горбушин мог рассмотреть ее всю, она стояла перед ним с закрытыми глазами.

Конечно, от школьного очкарика в ней осталось многое, но все равно ее не узнать. Тембр голоса, походка, взгляд — все говорит о том, что цену себе она знает. Ну и правильно!..

Но что такое она играет, и почему так тихо? Вряд ли слышно и в соседней комнате. Это, конечно, мастерство,. ничего не скажешь... И это такая музыка, которой он после смерти матери очень боялся, убегал, где бы ее ни заслышал. Скрипка то возвышала голос, то резко понижала его, как будто плакала. И все тихо, вот как тихо.

Когда Лариса опустила смычок и открыла глаза, они были какие-то опустошенные и отсутствующие. Она отнесла скрипку в соседнюю комнату, медленно, словно нехотя, вернулась и села.

Горбушин, удивление которого все росло, сказал:

— Знаешь... ты играла что-то необычное!

— Ты умеешь отличить необычную игру?

— Для себя умею... Ведь я в детстве играл... Пока была жива мама.

После паузы, сидя вполоборота к нему, она посмотрела на него каким-то новым взглядом, казалось — усталым.

— А теперь, наверное, музицируешь на винных бутылках?

— Случается и на винных. А почему бы и нет?
И вдруг он прочел:

Умеет так сладко рыдать
В молитве тоскующей скрипки,
И страшно ее угадать
В еще незнакомой улыбке...

Лариса подумала минутку.
— Чьи это стихи? Очень хорошие.
— Узнай.
— Не помню.
— Ахматовой.
— А я-то думала, что твой идеал и предел — дизель!
— Неплохо думала. В машине тринадцать тысяч костей и вен, и знать, что к чему в ней, не так уж плохо, скажи?
— Это конечно,— скучно сказала Лариса.
Горбушин опять поднялся и увидел, что она колеблется. Теперь она задумчиво смотрела в пол. И он еще раз спросил:
— Может, все-таки осчастливишь меня и Шакира?
— Одной прийти?
— Зачем одной... Давай со своим парнем. Могу я заскочить, если хочешь.
— Позвони мне завтра в это время. Сейчас я запишу тебе номер телефона.
Передавая ему записочку, она опять, как в первые мгновения встречи, сделалась отчужденной, холодной.
— Слушай... А что ты такое играла?
— Не твое дело!

В день свадьбы он привез ее к Шакиру на такси, держа футляр со скрипкой на коленях, сдал на руки однокашникам и завертелся в разного рода делах — первому дружку-распорядителю их хватало. По татарскому обычаю,— а натаскивали Никиту Шакир и Гаянэ Валиевна,— он даже гостей должен был рассадить сам, гостей же собралось человек сорок. Было душно, шумно.
Рабочий класс, известно, свадьбы справляет под баян. В квартире Шакира баян ревел всю короткую белую ночь. Застольные крики не умолкали, хохот, топот пляшущих, рев баяна — все мешалось. Иной человек, пройдя ворота дома, заглядывал с панели в окна на

залитое красноватым светом свадебное буйство, с удовлетворением говорил себе:

— Дворничиха сына женит!

О Ларисе и ее скрипке забыли все, кроме Никиты, Шакира и Максима Орестовича, сидевшего в центре стола между Шакиром и Гаянэ Валиевной. Они-то помалкивали, понимая, что в таком реве-гомоне игра на деликатном инструменте никому не нужна.

В третьем часу ночи Никита провожал Ларису домой. Хотел вызвать такси, путь от Исаакия до Тверской улицы у Смольного далекий, но она сказала, что нужно отдохнуть от шума, такси поймают где-нибудь в пути, и они пошли не по панели, а по мостовой — удовольствие, доступное лишь на праздничных демонстрациях да в такой вот час ночного безлюдья. Дымка белой ночи заставляла смотреть и смотреть на дома, словно в них было что-то призрачное.

Долго брели молча, хорошо чувствуя присутствие друг друга. Невский проспект охватили взглядом, казалось, до площади Восстания сразу... Его невысокие, удивительно разные дома словно куда-то шагали, а кони Клодта в центре шествия то стерегли порядок, то выражали стихийную силищу, поднявшую их на дыбы... Лариса и Никита видели, как дворники кое-где мели панель, парочки еле двигались, плечом прижимаясь друг к другу, такси, пользуясь поздним часом, неслись с недозволенной скоростью.

Лариса предложила отдохнуть в Екатерининском сквере. Вошли, сели на скамью напротив памятника, Никита стал доставать скрипку, испугав Ларису.

— Ты с ума сошел! Я никогда не играла на улице и даже не представляю себе, что из этого получится...

— Вот и проверь, что из этого получится... А я знаю, как тихо ты умеешь... Давай что-нибудь из того, что собиралась играть у Шакира.

И Лариса согласилась. И правда, мелодия на восходе солнца зазвучала до того тихо, что ее, кажется, слышали только они, да отлитые из бронзы сановники Екатерины, да сама она на круглом лабрадоровом пьедестале, застывшая с умной полуулыбкой, да три живых голубя на ее венценосной голове, давно побелевшей от чрезмерного голубиного внимания.

Девушка играла теперь не закрывая глаз, лишь опустив веки, и Никиту вдруг очень тронула исполняемая

мелодия: что-то совершенно непохожее на то, что он ожидал услышать. Когда пошли дальше, он спросил:

— Что это было? Что ты играла? Я ждал услышать звон бокалов, ведь свадьба же сегодня.

— А что услышал?

— Кажется, сплошную нежность... Или ошибаюсь? Ведь я плохой знаток.

— Не ошибаешься.

Она шла и смущенно улыбалась.

Они так и не разговорились. Побеждала усталость, красота белой ночи. Брели и брели... Невский проспект, площадь Восстания, Суворовский проспект, Смольный под высоким красным флагом...

— Какую музыку ты больше любишь, классическую или современную?

— Хорошую...

Широкая Тверская улица без единого человека на ней... Утро, навсегда оставшееся в памяти Горбушина. Болван, он и тогда ничего не понял... Вернуться бы в то утро, послушать еще раз скрипку в Екатерининском садике... Но ничто не повторяется!

В старину татарская свадьба длилась две-три недели: все родичи молодого и молодой приглашали ее к себе. Теперь, с грустью говорили старики, празднество длится два дня, а через два месяца молодые расходятся.

Максим Орестович и Лилия Дементьевна охотно согласились на просьбу Никиты принять у себя свадьбу Шакира.

Лариса к родным Халиды на второй день свадьбы не пошла, сдавала экзамен, но у Горбушиных обещала быть. Никита приехал за нею на такси и оробел: на ней атласное белое платье до пят, волосы изящно уложены. Заметив его смущение, она улыбнулась ему приветливо и обрадованно.

Интерес Ларисы возбудила уже входная дверь в квартиру Никиты, на которой светилась начищенная медная дощечка:

ГОРБУШИНЫ
М. О., Е. А. и Н. М.

— Эту плаху заказал отец в день моего рождения,— усмехнулся Никита,— и сам ее ввинтил сюда. Принес меня из роддома, остановился вот здесь, придал мне вертикальное положение и скомандовал: «Смотри на дверь, в которую Горбушины ходят сто лет!»

— И ты, разумеется, посмотрел?

— А ты как думаешь? Отец и мама говорили: я спал, но лишь последовал приказ, открыл глаза и стал глядеть на эту блестящую штуковину.

Никита познакомил Ларису с отцом и Лилией Дементьевной.

Было людно, шумно, но Лариса не переставала удивляться, обходя вместе с Никитой большую квартиру. Просторная гостиная обставлена тяжелой мебелью с зеленой обивкой. Но прежде всего внимание Ларисы привлек рояль и портрет молодой брюнетки в глухой белой кофточке. Высокий потолок украшен крупным резным плафоном; камин отделан бледно-зелеными изразцами, на нем овальное зеркало и фарфоровые часы с китайским рисунком; на стене небольшое полотно кисти Айвазовского, изображающее темно-зеленое море после бури. Печать солидной старины лежала на всем убранстве гостиной. Это и удивило Ларису.

Она слыхала, что в Ленинграде сохранились старинные квартиры, люди дорожат ими и всячески их берегут, но не предполагала, конечно, что мальчишка, с которым десять лет сидела в одном классе, живет в такой квартире.

— Это правда, что Горбушины живут здесь сто лет?

— Почти сто. Но прежде взгляни на кабинет отца, потом объясню. Шагай за мной!

Строгая черная кожаная мебель. В дубовом шкафу книги. На письменном столе фотография Ленина в кепке, с красным бантом на груди.

— Кто твой отец?

— Главный инженер завода. Эту квартиру он унаследовал от отца, а тот от своего отца, моего прадеда, въехавшего сюда в год освобождения крестьян от крепостного права.

— А кто он был?

— Известный в Петербурге юрист, народоволец. Осужден в Сибирь в ссылку на двадцать пять годиков, но прожил в Тобольске тринадцать и умер на улице — сейчас она называется улицей Декабристов. Никита

Ананьевич Горбушин... Так что отец твоего знакомого в целях увековечения памяти знаменитого деда дал его имя сыну... И ты наблюдаешь, таким образом, живую связь поколений.

У Ларисы ярче засветились глаза:

— Интересно. И кто бы мог подумать... А чем примечателен сын народовольца, твой дед?

— Тоже был замечательный человек, не то что мы, грешные. Инженер-конструктор, кораблестроитель. Роста высоченного, с окладистой темно-русой бородой, в молодости носил косоворотку, подпоясывал ее шелковым пояском с кистями. Часто созывал гостей к себе в загородный дом, в Гатчину, был хлебосол и весельчак, песни пел хорошо. Я его в детстве очень любил. Перед войной, глубоким стариком, он безвыездно жил в Гатчине и там и умер. Отец мой, кстати, тоже поет и музыку любит, так что ты приготовься.

— Тогда мне страшно!

— Он как-то сказал о моей покойной матери: «Я полюбил ее, наверное, потому, что она прекрасно играла».

— И она любила музыку? — живо спросила Лариса.

— Она закончила консерваторию.

— А ведь я тебе не поверила, когда ты сказал, что в детстве тоже учился музыке.

— Было такое дело... С мамой играл в четыре руки.

Лариса у Горбушиных много играла по просьбе Максима Орестовича. Он подался вперед, слушая, поставив локоть на стол, худое лицо его порозовело; за шестнадцать лет, прошедших после смерти первой жены, музыка в его квартире исполнялась впервые. Лариса чувствовала его благодарное внимание и все, что он просил, играла с удовольствием.

Потом она танцевала с Никитой.

— Это портрет твоей мамы на рояле?

— Да.

— Очень красивая. Ты не в нее. Ну, а теперь покажи мне свою комнату...

Она все в ней рассмотрела. Тапки у порога, тетрадь с конспектами, брошенную на диване, чертежи в темных тубах, учебники, даже окурки в пепельнице. Потом заинтересовалась домом, стоящим напротив.

— А вон из тех окон,— показала она рукой,— на тебя никто не смотрит в бинокль, когда ты занимаешься за этим столом?

— Не понимаю...

Лариса, улыбаясь, пошла из комнаты. Потом он отвез ее домой. На прощание она подала ему руку и не делала попыток отнять ее.

— Звони!

— Обязательно!

Он закружился в делах: работа, подготовка к экзаменам, экзамены... Даже в цехе в любую свободную минуту Никита и Шакир говорили о предметах, которые предстояло сдавать.

Он позвонил Ларисе через три недели. Набрав номер и чувствуя себя малость виноватым, постарался сказать развязным тоном:

— Привет артистке!

Она сказала «да» и помедлила, выжидая. И вдруг вспылила:

— А я приветствую товарища слесаря!

— Как поживаешь?

— Нормально. Где ты пропадал?

— В каменных дебрях Ленинграда. Слушай, ты свободна сегодня вечером? У меня два билета в Театр комедии.

— На это я отвечу тебе...— У нее сорвался голос, а потом она продолжала уже с трудом:— Знаешь... подобные мероприятия люди обговаривают за неделю... Не все же только и делают, что пропадают в каменных дебрях Ленинграда!

— Честно говорю—у меня не было свободного часа.

— Позвонить? Для этого требовался час?..

— Ну, извини...

— Что ты будешь делать с билетами?

— Выброшу, не беспокойся.

— Вот уж нет!.. Акимов единственный художник, в красках которого я всегда чувствую музыку!

— Что же мне остается?

— Тебе остается подойти к моим воротам!— бушевала она.

По конкурсу прошли. Студенты! Горбушин предложил Ларисе отметить это событие путешествием по Карельскому перешейку. Она согласилась. И через не-

сколько дней с небольшой группой туристов они выехали за город на автобусе, затем шли пешком. Однако тянуться по обочине пыльной дороги им скоро надоело: без конца обгоняли машины, обдавая пылью, гарью бензина. Никита предложил оторваться от группы, идти куда-нибудь самим. Лариса быстро на него взглянула и не ответила... И он понял, что добро получено.

На следующее утро, выдержав бурный натиск ответственного за группу товарища, они свернули на желтую от хвойных игл дорожку и пошли куда-то наугад, помня только, что находятся в Ленинградской области и куда-нибудь да выйдут.

Обедали на поляне у старой золотоствольной сосны, до того разогревшейся под солнцем, что аромат хвои заглушал все другие запахи, которыми так богат старый лес. А для ночевки место выбрали на берегу маленького озерка. Натягивая палатку, Никита сказал Ларисе, что это для нее, сам он переночует под звездами. Лариса взглянула на него и промолчала. Она лежала на спине и смотрела в небо.

Уходящий день птицы провожали пением. Сколько их!.. Солнце еще светило, но тени уже плыли над верхушками деревьев, цеплялись за ветки, нехотя сползали к стволам. На воде рыбешки делали затейливые быстрые росписи, каждая своим почерком. Лениво двигались между ними жуки-плавунцы, еле ворочая лапами-веслами, танцевали водомерки-клопики на высоких тонких ножках, едва касаясь воды.

Лариса попросила Никиту дать ей скрипку, он не дал. Дома они поспорили из-за нее. Лариса не хотела ее брать. Никита настоял, уверяя, что всю дорогу понесет ее сам. Теперь он решил, что прежде надо поужинать. Они выпили по рюмке хереса за хорошую погоду, не придумав ничего лучшего,— настолько были не в своей тарелке от предстоящей ночевки вдвоем в лесу... Перекусили, и скрипка оказалась в руках Ларисы.

Она сидела, Никита лежал перед нею на траве, подперев голову ладонями, видел выражение отрешенности на ее лице, всегда возникавшее, как только она брала скрипку, спрашивал себя, неужели она любит его, за что,— и не находил ответа. А может, мешало сосредоточиться обилие красочного света? На том месте, куда скрылось солнце, встали высокие малиново-золотистые

столбы, вода в озерке сделалась красной, голубой, золотистой, и рыбешки будто потеряли голову — так метались по самому верхнему слою воды, и водомерки-клопики танцевали выше и изящнее, чем минуту назад.

Неожиданно Горбушин подумал: мелодия нежная и звучит для него одного... Песня любящего человека... И ощутил сильное, внезапное волнение, перехватившее горло. Когда Лариса перестала играть, он поднялся, медленными движениями, в которых словно бы не узнавал себя, убрал скрипку в футляр, сел рядом с девушкой и неуверенно привлек ее к себе. Она склонила голову ему на плечо.

— Скажи... Когда у тебя началось это?

Она не спешила ответить, серьезно и прямо посмотрела ему в глаза:

— Ты помнишь наш старый школьный двор?

— Конечно!

— Там, за котельной, ты схватил меня за плечи и стиснул, Шакир держал за руки. Я думала, вы хотите меня поколотить, но не испугалась. Ты сказал: «Не бегай за нами, играть с тобой мы все равно не станем». Дома вечером я плакала. Вот тогда и поняла, что не пустая забава заставляет гоняться за тобой.

— На старом школьном дворе... Это еще в Ленинграде, до эвакуации?

— Да.

— По скольку же нам тогда было?

— Мне двенадцать.

Продолжать Никита не мог, весь во власти сильного, внезапно охватившего его волнения, благодарности и любви к Ларисе.

— Ты мое солнце, Лариска,— сказал он тихо. — Я не стою тебя, это точно. А я-то — чем платил тебе за любовь?.. Никогда себе этого не прощу, и ты мне этого не прощай.

— Я не умею на тебя сердиться!

— Я был дурак и балбес...

— С балбесом я бы не оказалась здесь, где, видишь, только лес кругом, птицы и мы!

Сентябрь. Воскресенье. Кировские острова. Горбушин и Лариса бегали по аллеям, прячась друг от друга за деревья, повергая в недоумение и некоторое

неудовольствие любителей оздоровительных прогулок. Дурачиться продолжали и в холодной уже воде, купаясь на Стрелке. Горбушин нырял, нападал на девушку, пугал ее. Он окунул ее с головой. Вынырнув, она испуганно воскликнула:

— Волосы! Зачем ты намочил их?!

На берегу они вместе отжимали ее волосы, оба платка, его и ее, стали мокрыми, а волосы сухими не сделались. Домой отправились на речном трамвае. Стояли на палубе обнявшись, в густых сумерках навстречу бежали волны, дул упорный, свежий ветер... Лариса озябла. Никита предлагал ей войти в салон, она отказывалась, с тоской твердя, что завтра он уедет со своим мастером в командировку, она целый месяц будет одна, с ума сойти... И сойдет без него, это точно... И ничего не поможет...

Час назад Лариса уступила наконец-то просьбам Никиты не откладывать свадьбу. А до этого упрашивала его подождать зиму: вот закончит консерваторию, и они поженятся. Но сегодня на Стрелке договорились: как только он вернется из Молдавии — свадьба.

Домой Никита не пришел, он прилетел на крыльях; говорят, крылья один раз бывают в жизни каждого. Сказал: женится. Лилия Дементьевна обрадовалась новости, Максим Орестович отозвался не сразу.

— Я не против, ты не думай,— остановился он перед сыном. — Мне даже льстит, что Ларочка будет моей невесткой. Но ты имеешь представление о профессии артиста, Никита? О большом внимании к нему людей? И заметь, пожалуйста, что, чем проще кажется артист, тем он сложнее. Твоя девушка талантлива, в этом я убедился,— значит, не исключено, ее ждут длительные гастроли за границей, интересные люди будут окружать ее. Тебя это не сокрушит? Подумай.

— Если все артисты такие, как моя Ларка, тогда лучше артистов людей на свете нет!

— Боюсь, Никита, что сегодня с тобой говорить бесполезно.

Утром Никита уехал. В Ленинград вернулся через месяц поздно вечером, с порога швырнул шляпу на вешалку и, позабыв поздороваться с родными, спросил, почему Лариса не ответила ни на одно его письмо.

Лилия Дементьевна испуганно посмотрела на мужа, склонила голову и вся как-то сникла. Максим Оресто-

вич медленно поднялся из-за стола, медленно приблизился к сыну:

— Она умерла от менингита на десятый день после твоего отъезда.

19

Никита ушел к себе, закрыл дверь на ключ. Невероятно, чудовищно... Но ведь это он сам убил ее, он, своими собственными руками... Стучался отец, просил впустить его, просила о том же Лилия Дементьевна. Никита плакал, кусал подушку... И не отзывался.

Вечером старый Горбушин, уже в постели, долго думал о сыне. Он припомнил его малышом, потрясенным смертью матери, когда он несколько дней не переставая плакал, отказываясь есть, пить, не в состоянии был уснуть,— пришлось вызвать врача.

За этими воспоминаниями пришли другие, собственная молодость встала перед глазами, нетускнеющие минуты...

...Петроград. Семнадцатый год. Первомайская демонстрация, о которой все столичные газеты на другой день сообщили под крупными шапками, что такой по численности демонстрации ни в Европе, ни на других континентах никогда не было. Народ, сваливший ненавистную монархию, вышел на улицы с красными флагами, песнями и музыкой. Демонстрация вытягивалась по Невскому, а затем по набережной Невы, двигалась на Марсово поле к братским могилам, настолько еще свежим, что на них не успела просохнуть земля, и родственники погибших стояли там печальной стеной.

Перед Зимним дворцом двое мастеровых лихо наигрывали на балалайках «Камаринского», третий, в сапогах с лакированными голенищами, в желтой сатиновой рубахе с косым воротом, в картузе с бархатным околышем, плясал, отхлестывая себя ладонями по сапогам. Женщина с платочком в руке, подбоченясь, носилась вокруг него. Вот тут и произошло то, что и теперь, через тридцать с лишним лет, не потускнело в памяти Горбушина.

В толпе юноша в студенческой шинели вел за руль немецкий велосипед «Вандерер-Верке», весь никелированный, чудесно сияющий спицами под солнцем; на

этом велосипеде студент только что объехал несколько улиц, присматриваясь к тому, как люди строятся в колонны. Теперь же, засмотревшись на балалаечников, он колесом велосипеда толкнул ненароком солдата-инвалида, с палкой в руке шедшего впереди. На раззяву студента закричали, солдата стали поднимать.

Обращала на себя внимание одна пара. Господин в светлом весеннем пальто, с красной гвоздикой в петлице, и его полная дама, тоже в светлом пальто нараспашку, запах сильных духов, вероятно от Коти, распространялся вокруг. Дама с ужасом восклицала:

— Ах, господин солдатик, боже мой, какое несчастье!

Студент смутился:

— Простите, пожалуйста, я не нарочно!

И грозно спрашивал спутник полной дамы:

— Вы кого сбили, гражданин студент? Вы куда смотрели?..

Бормотал и с трудом поднявшийся на ноги солдат:

— Тут с палкой еле двигаешься, он — с машиной вперся!

Неожиданно для окружающих студент стал просить солдата:

— Возьмите велосипед себе! Серьезно, я очень вас прошу... Мне он не нужен, а вам пригодится.

— В подачках не нуждаюсь! — отрезал солдат.

Но студент не отступал, его просьба звучала все настойчивее, и тогда ему стали помогать люди:

— Эй, служба, слышь, бери велосипед!

— Коли дают — бери, а бьют — беги! — захохотал кто-то.

Солдат колючим взглядом обежал лица окружающих, словно хотел убедиться, не шутят ли над ним. Лица, однако, светились сочувствием и доброжелательностью, а смущенный студент все просил и просил его принять в подарок велосипед. И тогда солдат нерешительно положил беспалую руку на руль. Говорить он не мог от волнения. За что ему отдали такую шикарную машину?..

Студент стал проталкиваться в сторону, вслед ему звучал великолепный голос господина с красной гвоздикой в петлице:

— Браво, гражданин студент! Вы всем показали, какой у нас сегодня праздник!

А студенту пришлось вернуться, он забыл отдать прищепы. Он склонился, снял их, вернулся к инвалиду, протянул.

— Спасибо, браток хороший... — глубоким голосом сказал солдат.

Выйдя из колонны, студент остановился, прислонился к парапету и стал смотреть, как идет демонстрация; взглянув на солнце, он заметил, что оно играет красками, будто смеется...

Другая картина...

Вместе с атакующими Зимний дворец вбежал в роскошные залы и он, Максим Горбушин. Ослепительная роскошь отовсюду глядела на него, ошеломила размерами залов, обилием огромных хрустальных люстр, отделанных золотом, потолков, превращенных в изумительные картины; ошеломила обилием мраморных белых, серых, черных, зеленых колонн, у основания и сверху отделанных золотыми массивными обручами, лежащими на золотых массивных квадратах; ошеломила бессчетным количеством великолепных картин и мраморных скульптур, обилием затейливо вызолоченных красных и черных высоких дверей, обилием лепки и резьбы по дереву и золоту, обилием ковровых паркетных полов из редких древесных пород: чинары, пальмы, розового дерева... Произведениями высокого искусства были и все главные лестницы.

К одному из окон, выходящих на Неву, солдаты-окопники прижали юнкера. Горбушин растолкал толпу и предложил сдать юнкера в революционный комитет. Реакция собравшихся оказалась неожиданной.

— А ты, скубент, ково тута защищашь?.. Ково, говори?! — грозно спросил солдат.

— Скубенты тожа пили нашу кровь! Бей обох!..

— Обох! Свергай и скубентов!..

Солдат с черным котелком на поясе шинели схватил Максима за грудь, и тот увидел перед собой диковато-светлые, ошалелые от возбуждения глаза. Но тут запротестовал один из солдат-окопников, его поддержал человек в штатском. А скоро уже и десятком голосов люди стали призывать друг друга к порядку. Юнкера увели.

Так врезался в память Горбушина и этот день — сверканием ослепительной роскоши и сверканием ненависти в светлых, ошалелых глазах солдата.

И еще вспомнилось ему... Южный фронт, борьба с деникинцами, куда Горбушин прибыл с первым отрядом петроградских комсомольцев-добровольцев. Но борьба была не только с белогвардейцами... Лозунги призывали: «Бей вошь и контрреволюцию!..» Прежде — вошь, затем контрреволюцию... Эпидемия выводила из строя целые роты, полки Красной Армии. В Одиннадцатой армии сыпной тиф уничтожил две трети личного состава.

Максим Горбушин был политруком пехотного полка. Никогда до этого не видавший такой массы полуграмотных и вовсе неграмотных людей, он поначалу терялся, не совсем понимая свои обязанности. Но хорошо помнил: это народ, за который отдал свою жизнь его дед-народоволец, юрист, сосланный в Тобольск; народ, о котором в семье отца всегда говорили с почтительным уважением и болью за тяжкую его судьбу; народ, вместе с которым он, политрук полка, петроградский комсомолец Максим Горбушин, теперь добывал свободу с винтовкой в руках.

Даже во время боевых походов, не говоря уж о тех днях, когда полк находился на привале, Горбушин выступал перед бойцами трижды на день: утром в одном батальоне, в полдень в другом, вечером в третьем. Отвечал на сотни вопросов. И читал бойцам газеты и брошюры. И ходил в атаку с товарищами — бежал впереди, на виду у всех. Пули миновали Горбушина, а эпидемия не пощадила.

Максим брезговал касаться руками насекомых, он брал пучок травы и сметал их с отворотов куртки и белья, затем давил сапогом. Чтобы представить себе, сколько их было... под сапогом раздавался треск!

Сыпной тиф свалил Максима в Курске. Красноармейцы сняли с него шинель и шлем, принесли больного на вокзал, попросили мешочниц присмотреть за ним. Положив рядом с беспамятным краюху хлеба и поставив кружку с водой, бойцы ушли. Ночью Красная Армия отступила.

Максим остался лежать на перроне. Хлеб не долго служил пищей мухам, его кто-то взял. Сняли и сапоги,

швырнув к его боку пару разбитых лыковых лаптей. Двадцать дней из его сознания выпали начисто, словно и не жил человек. Потом стал замечать старуху с широким ртом, без переднего зуба — карнозубую. А еще через несколько дней со смущением обнаружил, что она не старуха, а молодка карнозубая, лет двадцати пяти... Она кормила его, поила, он привык к ней и ждал ее, но она внезапно уехала, оставив в нем на всю жизнь чувство глубокой благодарности. Кто она, бесстрашная, милая, жертвовавшая своей жизнью, чтобы спасти его?

Когда он впервые после беспамятства сел там, на перроне курского вокзала, он вдруг услышал далекий гул орудийных залпов. То шла в наступление Красная Армия, с ходу занявшая Курск. К Горбушину прибежали двое комсомольцев, с которыми он приехал на фронт из Петрограда, радости от встречи не было конца.

И вот прошли десятилетия, Максим Орестович ежегодно отправляется отдыхать на юг, и, лишь поезд останавливается в Курске, он выходит из вагона, направляется на перрон. Отмеривает восемь шагов от двери в зал первого класса и стоит, сняв шляпу, и снова чувствует острый запах пыльной стены, у которой лежал, запах, терзавший его даже тогда, когда валялся тут без сознания; и вновь он будто видит, как целый месяц добирался из Курска в Петроград, шатающийся от слабости, с вылезшими волосами, мутными глазами,— желтая кожа да кости, его можно было принять за восьмидесятилетнего. А приехав в Петроград, на Московский вокзал, долго сидел у Пугала, чугунного мастодонта работы Трубецкого, отдыхал, поглядывая на свои вконец разбившиеся лыковые лапти; потом побрел по Невскому домой, и со стен зданий на него смотрели яркие плакаты:

КРАСНЫЙ ПИТЕР!
ВСТАВАЙ И ВООРУЖАЙСЯ!
СНОВА ЮДЕНИЧ ИДЕТ НА ТЕБЯ!

Через месяц, отлежавшись у матери, он пришел в райком партии. Ему сказали:

— Инженеры нужны нам сегодня, но ты представляешь, Горбушин, как они будут нужны завтра?.. У тебя три курса университета. Валяй доучивайся и гляди на свою учебу как на партийное поручение.

20

Прилетев из Ташкента в Ульяновск, Никита шесть часов находился на аэродроме: сильный ветер, напоминающий ураган, не позволял самолету подняться. Никита взял такси, съездил в город, посмотрел ленинский дом-музей.

А Максим Орестович в этот день в Ленинграде заканчивал свои дела с дачей. Пораньше приехав с работы домой, переоделся и пошел в Ленсовет получить нужную информацию.

Ленсовет помещался недалеко от дома, в котором жили Горбушины, в мрачноватом, хорошо известном ленинградцам Мариинском дворце, построенном по указанию Николая Первого для его калеки-дочери Марии. У нее были парализованы ноги, поэтому несколько главных переходов осуществлены в нем системой пандусов, то есть покатыми спусками, чтобы слуги могли с этажа на этаж возить великую княжну в коляске. Именем этой же дочери, вероятно из желания хоть немного скрасить ее судьбу, царь назвал и оперный театр, воздвигнутый почти одновременно с дворцом и невдалеке от него.

В конце прошлого столетия наследники княжны Марии продали дворец в казну, в семнадцатом году он некоторое время являлся резиденцией Временного правительства, но после июльских кровавых событий оно перешло в более охраняемый Зимний дворец и там заседало до конца своего существования.

Теперь Мариинский под красным флагом, в нем — горисполком. В комнатах и залах—многочисленные отделы со своими штатами, каждый возглавляется депутатом. Дворец напоминал собою железнодорожный вокзал в полдень, когда его не штурмуют пассажиры, но их, озабоченных, можно увидеть всюду.

Горбушину на его вопросы о ленинградских детских домах отвечал заведующий гороно Орехов, плотный человек с седыми коротко подстриженными волосами. Он сказал, что в детских домах содержатся главным образом дети умерших в блокаду родителей. Таких школьных детских домов — двадцать семь, в каждом от ста до трехсот человек.

— Так много? — удивился Горбушин.

— Было больше. Уже не состоят на учете сироты, очень многочисленные, которых усыновили и удочерили

граждане; есть школьники, которые отданы другим организациям на воспитание; ушли мальчики и девочки, достигшие совершеннолетия...

— В каком возрасте самые маленькие?

— Семи лет.

— Почему же они сироты войны, если война закончилась девять лет назад?

— И все-таки войны... Обратитесь в поликлиники, госпитали, больницы, вам скажут, какие больные нынче умирают особенно часто,— война продолжает косить людей, хотя пулеметного треска мы уже не слышим.

— Значит,— уточнял Горбушин,— если взять не сто и не триста, а среднюю цифру — двести, круглых сирот в Ленинграде сейчас около шестидесяти тысяч?

— Вы правы. Имейте в виду, что о них заботится не только государство, но и люди самых разнообразных профессий, наши ленинградцы.

— Что это значит, объясните мне, пожалуйста.

— Сейчас мне трудно перечислить все виды этой помощи, она разнообразна и обширна. Детям приносят подарки — конфеты, книги, игрушки, приглашают в семьи на праздники и выходные дни, переводят деньги на счет детского дома.

— Я решил подарить детскому дому свою загородную дачу.

Орехов поднялся и пожал Горбушину руку. Они подробно стали говорить о размерах дома, о деталях предстоящей передачи. Депутат спросил Горбушина, не хочет ли он встретиться с детьми.

— Да, я и жена хотели бы посмотреть на них.

— Завтра воскресенье, дети не учатся. Приходите часам к одиннадцати, они в это время обычно играют во дворе, и мы можем постоять с вами на открытой веранде, понаблюдать за ними.

В детский дом Максим Орестович и Лилия Дементьевна отправились пешком на другое утро: он оказался на соседней улице, полускрытой зеленью аккуратно подрезанных деревьев. Трехэтажный особняк заинтересовал их еще на улице, а войдя в него, они узнали от Орехова, поджидавшего их, что дом до революции принадлежал купцу-гостинодворцу, эмигрировавшему в Турцию.

Орехов показал Горбушиным комнаты учеников. Комнаты просторные, окна большие, в каждой стояли

три-четыре кровати и столько же тумбочек. Два письменных стола развернуты торцевой стороной к окну, чтобы занимались двое. Широкий платяной шкаф. Ничего лишнего, однако чувствуется, что ребятам здесь тесно.

Походив по всем этажам из комнаты в комнату, Горбушины и Орехов спустились вниз и вышли на веранду. Они увидели широкий двор с редкими молодыми деревьями, в углу — небольшое новое здание спортзала. Во дворе играли, бегали, свистели, смеялись, кричали ребята — мальчики в серых костюмах, девочки в коричневых платьях и черных передниках.

Горбушин пристально смотрел на них. Он вдруг как бы вновь увидел блокаду и себя, поначалу распухшего, затем невероятно худого, желтоватого, еле волочившего тяжелые, налитые водою ноги, и сотни других людей, то отечных, от исхудавших до последней степени, длинные ряды братских могил на Пискаревском, Большеохтинском, Богословском кладбищах...

С особым чувством смотрела на детей жена Горбушина. Она тоже вспоминала. За полгода до начала войны у нее родилась дочь. Они жили в Пушкине. Муж, моряк, лейтенант на эсминце, лишь три раза и видел малютку. Он погиб вместе с кораблем, торпедированным немцами во время перехода нашей эскадры из Таллина в Кронштадт. Лилия Дементьевна, врач-хирург, вскоре была мобилизована. В сорок четвертом году, когда немцев прогнали из Ленинградской области, получила письмо от соседей. Они сообщили, что и дочь и мать умерли в первую военную зиму. Лилия Дементьевна верила этому и не верила. Вернувшись из армии, она пыталась узнать подробности гибели матери и ребенка. Но соседи куда-то уехали, кругом были чужие люди, никто ей не смог ничего рассказать.

Теперь, глядя на ребят, она думала о том, что, может быть, и ее девочка живет где-нибудь в детском доме, не знает ни своей фамилии, ни имени матери и отца. И горькие, обильные слезы вдруг хлынули из глаз Лилии Дементьевны.

Горбушин поспешил ее увести. На улице взял под руку, посмотрел в лицо:

— Давай побродим немного. Только вытри, пожалуйста, глаза, нельзя же так. Четыре тысячи операций

сделала на фронте, сама была ранена — и не плакала. А теперь?.. У тебя есть платок? На, возьми мой...

Но и он не был так спокоен, как хотел казаться. Он впервые не заметил Медного всадника, мимо которого прошел, словно мимо фонарного столба, не заметил и того, что смешались они с редкой толпой гуляющих, медленно движущихся по набережной к Зимнему дворцу. Не заметил и Неву, под осенним свежим ветром играющую крупной ясной рябью.

21

— Здорово, папа!..

— Никита... с неба ты, что ли, свалился?

— С помощью аэрофлота!

— Что тебя заставило вернуться?

— Обстоятельства, конечно...

На голоса вышла из кухни Лилия Дементьевна, на ходу вытирая обнаженные до локтей руки, легко вскрикнула от удивления... А Никита даже засмеялся, увидев ее,— давняя теперь, крепкая дружба связывала их. Здороваясь с мачехой, Никита сказал, что приехал на день-другой потолковать с начальством завода.

— Самолетом?

— То летел, то сидел в Ульяновске на аэродроме. В природе черт те что: над Средней Азией ясно, там от солнца горит все живое, над Волгой — бури, самолет кренился, пахал носом, проваливался в ямы. А прилетаю в Ленинград и себе не верю: ни один лист не шевелится на кустах и деревьях.

— Проголодался?

— Чаю жажду. Крепкого, горячего, сладкого... Меня всегда тянет на такой после полета. Или воздух наверху другой, даже в самолете?

— Ты и без полетов любишь чайком побаловаться. Сейчас заварю, а потом расскажешь, как в Средней Азии одеваются женщины.

Лилия Дементьевна вернулась в кухню. Максим Орестович встал, подошел к сыну, и теперь, когда они стояли рядом, пожалуй, каждый увидел бы в них отца и сына. Один рост, серые глаза, удлиненные лица.

— Шакир здоров?

— Что ему! Передает привет.

— А эта девушка, которая поехала с вами?

— И с ней все благополучно.

— Хорошо она навела порядок на даче. Все блестит...

Иногда Никита и Шакир обращались к Максиму Орестовичу за консультацией по техническим вопросам; решив прежде поговорить с отцом о ЧП на хлопкозаводе, а затем отправляться на «Русский дизель», Никита в ожидании чая рассказал ему о строительстве ДЭС в Голодной степи, о нехватке рабочих рук. Спросил, понесет ли ответственность администрация хлопкозавода, если не пустит его в плановый срок.

— Да, конечно.

— Почему — конечно?..

— Ну, видишь ли, практически таких трудностей, которых нельзя было бы преодолеть, не существует. А руководителя судят не только за содеянное им, он еще отвечает и за то, что может случиться в результате его недальновидности. Невыполнение же плана обычно и бывает результатом неподготовленности руководителя, то есть недальновидности... У меня сегодня, представь себе, был любопытный случай. Поступил к нам молодой инженер, гордый своими корочками. Так теперь острословы называют диплом... Корочки... Потеха... Ну, слышу, жалуются на него старые рабочие: обвиняет их в неумении работать по-новому. Вызвал я его сегодня, может, думаю, у парня изюминка какая, предложит что-нибудь интересное, идеи-то новые нужны. Оказалось, он и сам толком не знает, чего хочет... что скрывается за словами «работать по-новому».

Никита невольно насторожился. Знал по своему заводу, что многие старые рабочие косо поглядывают на молодых только за то, что именно молодые ищут возможность увеличить выработку, придумать новшество.

— А кроме этого болтуна с корочками ты разве не замечаешь у себя настоящих парней, что за все новое в цеху пойдут в бой на кого хочешь?

— Подожди, доскажу... Обясните, говорю, имели бы мы сегодня мощный трактор, если бы в двадцать пятом не смастерили слабенького «фордзона-путиловца»? Вы забыли, говорю, чему вас учили в институте... Что вся история нашей промышленности есть сплошное новаторство вот этих самых стариков.

— На старом капитале в наше время далеко не уедешь.

— Да подожди... — чуть поморщился Максим Орестович. — Старики вырастили вас, построили социализм, а вы нос перед ними дерете... «Прочь с дороги, не умеете работать по-новому...» А нынешний мощный трактор — это двадцатая или сороковая модель «фордзона-путиловца», памятник нужно поставить ему, пионеру и уже патриарху современного великого тракторостроения, а значит, и этим старикам, первопроходчикам сложных строительств.

Никита улыбнулся:

— Ну и правильно... Поставим памятник вам и «фордзону-путиловцу», но дорогу молодым вы все-таки уступайте.

— Ты дослушаешь меня до конца или нет?..

— Пожалуйста...

— Так вот, иной старый рабочий, может, и отстал от жизни,— жизнь есть бег, а возраст есть возраст, когда-то надо и отстать, вы тоже в свое время отстанете, уверяю вас.

— И также не захотим уступить пальму первенства молодым? И это — неизбежность при смене поколений?..

— Не повторяй ходячие глупости о противоречиях между отцами и детьми, Никита. — Кажется, Максим Орестович начинал уже сердиться.

А Никита посмеивался:

— Желание болтать — болезнь возраста... Она со временем проходит... Но если серьезно — я не за твои старые истины, против которых никто не спорит, их принимают как само собою разумеющееся. Я за новые, которые несут в жизнь как раз настоящие парни,— они не покривят совестью ни перед начальством, ни перед женой, ни перед собой. Ими держится сегодняшний день, ими будет держаться завтрашний.

— Согласен. Я тоже за таких. И спорить нам, выходит, не о чем.

Никита поинтересовался, оформлена ли передача дома, а узнав, что заявление уже подано и принято, спросил, не скрыв некоторой горечи в голосе, не болит ли у отца душа.

— Это значит,— Максим Орестович заглянул ему в лицо с пристальным вниманием,— она болит у тебя?

Никита уклонился от прямого ответа:

— Дом моего деда это дом моего деда.

— Вон что, деда вспомнил!

— Тут вспомнишь, если махнул такой дом. Кто хочешь вспомнит... Теперь я до конца тебя понимаю.

— Ого, какую ты крепость взял. Расскажи о своем открытии.

— Пожалуйста... — несколько уже смущенно сказал Никита.

Вошла Лилия Дементьевна с чайной посудой в руках, стала расставлять ее.

— Послушай-ка, Лиля, что думает об отце парень, не умеющий кривить совестью ни перед начальством, ни перед собой... Ведь так, Никита?

— Дай человеку напиться чаю, он с неба только что.

Это дружеское замечание Лилии Дементьевны помогло Никите сказать спокойно, твердо:

— Романтик ты, папа. Мечтательная душа... Неординарная даже среди мечтателей.

— Отлично,— повеселел Максим Орестович и хотел продолжать, но жена прервала его:

— Он прав, отец, не удивляйся.

— Здравствуйте! — еще больше повеселел Максим Орестович и опять хотел говорить, но теперь был прерван сыном:

— Иногда я даже спрашиваю себя, как тебя не подсидели практичные люди, не перевели, скажем, главного инженера на должность начальника цеха?

— Стоп, реалисты... Теперь уточним. Романтик, как я понимаю, человек доверчивый и добрый, а иногда встречается и вовсе душка. Так объясни мне, как мог подобный человек в течение тридцати лет руководить технической жизнью большого разнопрофильного завода? И даже в годы Отечественной войны?

Никита, склонив голову к стакану, пил чай. Лилия Дементьевна возразила:

— Все равно ты меня не убедил. Знаешь, хирург из нашей поликлиники недавно рассказывала: дочке семнадцать исполнилось, собрались одноклассники — острили, шумели, танцевали, дурачились. А потом заспорили об институтах — какой лучше, какой хуже, куда следует подавать документы, куда нет. Характеристики институтам давали исчерпывающие, решительные. Один мальчик заявил: если после института ему предложат работу за тысячу рублей, он откажется. Откуда это в

них в семнадцать-восемнадцать лет? Не выдержала мать, вмешалась в разговор. Так дочка ей со смехом говорит: «Мамочка, у тебя хорошая голова и золотые пальчики, но когда ты начинаешь рассуждать о жизни — слушать невозможно». И вот эта врач до полночи заснуть не могла, все думала. Ей вдруг показалось, что это не наши дети — они мало мечтают, много анализируют. Но может быть, это в духе времени?

— При чем тут я-то?

— Наше поколение, Макс, больше мечтало в семнадцать-восемнадцать лет, чем анализировало. А эти отметают мечтательность и благодушие как ненужную ветошь. Вот и получается, что мы с тобой романтики, а Никита и его товарищи — реалисты.

Никита отодвинул от себя стакан:

— Не знаю, такие ли уж мы великие реалисты, но что папа романтик — это точно. Вот недавно он мне сказал: «Человек скорее почувствует себя счастливым от сознания, что все вокруг счастливы, а не при мысли о том, что у него больше материальных благ, чем у рядом стоящего».

— Ничего не вижу романтического в этой фразе,— улыбнулся Максим Орестович.

Лилия Дементьевна неожиданно поддержала Никиту:

— Счастье — в борьбе. А ты говоришь только о том, как определить счастье, а не о том, как за него бороться. И тут ты действительно романтик.

Максим Орестович перестал возражать. И тогда Лилия Дементьевна перевела разговор, спросила у Никиты, как в Средней Азии одеваются женщины.

Он задумался. Видел на улицах Мирзачуля, Ташкента, в поезде самую разнообразную одежду. Ткани легкие, нарядные. В памяти мелькнули темно-голубое платье Гулян, красная, словно мак, тюбетейка на Муасам, розовый с синими разводами халат на Марье Илларионовне.

— Узбечки, насколько могу судить, носят пестрые свободные платья с небольшим вырезом на груди. Украшают себя бусами из серебряных и медных монет, пробивая в них дырочки... Волосы заплетают в косички — много длинных черных косичек; жена директора говорила нам: на иной голове их до сорока, и обязательно четное число. Ну, и цыганок видел. Они были в кофтах, цветастых юбках с густыми сборками, на груди тоже бусы.

— Но ведь часто носят одежду, не отличающуюся от нашей ленинградской? — подхватила Лилия Дементьевна.

— Безусловно. Не знаю, как в кишлаках, а в Мирзачуле, Ташкенте одежда на всех городская, за редким исключением. Но что там, в Голодной степи, самое интересное — это пестрота народонаселения. Там живут люди свыше шестидесяти национальностей.

— А на каком языке общаются? — Максим Орестович пододвинул к себе стакан с чаем.

— Каждый кроме родного языка знает еще русский. Один говорит плохо, другой хорошо, третий сносно, а в общем объясниться можно с каждым. Вероятно, любой третий, идущий тебе навстречу, уже иной национальности, чем двое прошедших. И это очень интересно.

Разговор не получил дальнейшего продолжения: в прихожей раздались три коротких звонка. Никита поднялся:

— Это мамаша! — И открыл дверь.

Гаянэ Валиевна поцеловала его в щеку.

— Здравствуй! Халида увидала тебя на дворе. Что случилось? Почему вернулся? Где Шакира бросил? Ждала тебя, ждала, сама явилась.

— Я только что приехал, утром зашел бы к вам. Шакира бросил в Голодной степи, но он там сыт, здоров и передает вам привет. Угрожает на днях написать.

— Через месяц?

— Раньше. Я заставлю.

— Ага, ага... — кивала, слушая, тетушка Гаянэ.

Она отказалась от предложенного Лилией Дементьевной чая, ссылаясь на поздний час. Никита вышел ее проводить. Вернувшись, он выкурил папиросу и лег спать.

22

Утром, катя в автобусе от Исаакиевской площади на Выборгскую сторону, он снова, теперь уже перед встречей с Николаем Дмитриевичем, обдумывал главное в предстоящей беседе. И побаивался, и успокаивал себя: прилетел не с пустыми руками, сделает несколько предложений.

А поднимаясь на третий этаж в цех внешнего монтажа, прозванный рабочими «скворечником», поутратил

уже веру в благополучный исход разговора с начальником, который вполне мог взыскать с него за нарушение строгой цеховой инструкции, то есть за нарушение трудовой дисциплины. Он знал это и в Голодной степи и все-таки не колебался в своем решении. Реальную возможность помочь хлопкозаводу видел только в этом: сделает заводоуправлению «Русского дизеля» доклад, и оно примет важное решение.

Николай Дмитриевич сидел за столом, склонив к бумагам голову, посасывая незажженную, но все равно издающую вонь астматола трубку. Мало сказать, что Горбушин уважал и ценил его, он был почти влюблен в своего начальника. За остроумие, которым так нередко сверкала его речь, за справедливо-строгое и в то же время дружеское отношение к подчиненным, за знание всех существующих в мире марок дизелей, что ставило его в ряд с учеными, и, наконец, за то, что начальник писал историю «Русского дизеля», отдельные эпизоды ее иногда рассказывая молодым рабочим. Постепенно интерес людей к его рассказам возрастал, и кончилось тем, что председатель завкома Гавриловская попросила его сделать доклад в рабочем клубе и радовалась, что много собралось рабочих,— в просторном зале не хватило мест.

История «Русского дизеля» началась летним днем в последний год девятнадцатого столетия, когда талантливый немецкий инженер Рудольф Дизель приехал в Санкт-Петербург продать изобретенную им машину Людвигу Нобелю, хозяину завода, шведскому подданному, члену известного семейства шведских промышленников, один из которых, Альфред Нобель, инженер, изобретатель динамита, учредил на доходы от своего капитала международную Нобелевскую премию за открытия в области науки, за лучшее произведение изящной словесности и за выдающиеся усилия в деле борьбы за братство народов, упразднение или сокращение постоянных армий, а также за создние и упрочение конгрессов мира.

Далеко не совершенное изобретение приехал продать Нобелю Рудольф Дизель. Маленькую по габаритам, слабую по силе, судорожно чихающую керосином машину. Еще недавно о ней писали в газетах Европы и Америки,

а иные журналисты, не зная меры в восхвалениях, утверждали: мировое машиностроение обогатилось блестящим трудом немецкого инженера Рудольфа Дизеля, изобретшего машину, которую ждет великое будущее.

Такая реклама оказалась поспешной. Машину Дизеля приобрели многие фирмы в разных странах, и через некоторое время все ее выбросили на мусорную свалку, всячески понося ее изобретателя как обманщика. Машина оказалась слабосильной, часто выходила из строя, а дорогого топлива, керосина, пожирала много. Тут газеты и переменили тон. Критикуя машину Дизеля, они утверждали, что техническую историю человечества делает пар, Рудольф Дизель произвел лишь неудачный эксперимент в новой области техники, и доверчивые покупатели поплатились за это своим карманом.

Проницательный и предприимчивый Нобель после всесторонних обсуждений со своими ведущими инженерами пригласил нравственно разбитого Дизеля в Петербург, уведомив его, что намерен навечно купить патент на его изобретение. Дизель дал на это согласие, и в 1899 году рабочие и служащие завода Нобеля увидели в своих цехах высокого статного мужчину в изящного покроя тройке, с темными, закрученными кольцом усами, с тростью в руке. Это был Рудольф Дизель. В эти дни он и продал навечно Нобелю патент на изобретенную им машину.

Затем четыре года русские конструкторы, инженеры-производственники, мастера и рабочие бились над керосиновым детищем Дизеля, силясь сделать машину мощной и долговечной; они решили заставить ее работать не на керосине, а на тяжелом жидком топливе — нефти. Топливо дешевое, по калорийности могучее, следовательно... Еще в те времена, на пороге нашего столетия, наиболее дальновидные инженеры утверждали, что машина в будущем сможет набрать мощь почти неограниченную.

Четыре года неустанных поисков, заставлявших целый коллектив выбрасывать один за другим все потроха машины, придуманные для работы на керосиновом топливе, находить новые, нужные; четыре года экспериментов, споров, ошибок, находок, разочарований, и только затем, как было принято говорить, дело увенчалось полным и блестящим успехом. В 1903 году из ворот завода

вышел русский дизель, неприхотливая в эксплуатации, сильная и прочная машина, быстро завоевавшая себе благодарное признание человечества.

В настоящее время имеются десятки марок машин, почти каждое технически развитое государство имеет свой дизель: итальянский, японский, французский и так далее... Но все это русский дизель, и весь мир это знает, потому что машина хоть и набирает в разных странах новую мощность в новых габаритах, но работать продолжает на том основном техническом принципе,— нефтью! — который найден здесь, в стенах маленького в то время завода на набережной Большой Невки в Санкт-Петербурге.

Любопытно и следующее. Участие в рождении прекрасной машины принимали люди трех национальностей: немец, швед, русские. А верой и правдой она служит человечеству уже семьдесят пять лет и будет служить долго на земле, под землей, на воде и под водой; и есть основания предположить, что в будущем станет служить ему и в воздухе.

Трагически оборвалась жизнь изобретателя Рудольфа Дизеля. Его кончина напоминает нам кончину героя лондоновского романа «Мартин Иден»... В 1913 году Рудольф Дизель взошел на пассажирский пароход, отправляющийся из Гамбурга в Лондон, но в Англию не приехал. Пароход пришел, в каюте Дизеля висели его пальто и шляпа, а самого Дизеля не было. Исчез! Куда? Это остается тайной до наших дней. Самоубийство?.. Убийство? Скорее всего первое. Роман Джека Лондона «Мартин Иден» появился за четыре года до исчезновения Дизеля и быстро привлек к себе внимание читающей публики. Может быть, Дизель глубоко разочаровался в людях и жизни, покончил с собою по примеру героя этого нашумевшего романа, выбросился в море через иллюминатор.

Скуратов не замечал вошедшего Горбушина. В конторку заходили люди, он привык разговаривать, не поднимая от стола головы. Встряхнув засорившуюся авторучку, он продолжал что-то писать.

— Здравствуйте, Николай Дмитриевич!

Скуратов снял пенсне, не спеша, однако, повернуть голову к порогу, увидеть, кто там здоровается; потом снова водрузил пенсне на место, повернул голову, стал

смотреть на Горбушина поверх стекол этаким остановившимся, ничего не понимающим взглядом.

— Ну, что скажешь? Как это понимать? Проводил тебя в командировку к у-у-узбекам, и здрасте... Мы уже тут?

— На объекте большая коза, Николай Дмитриевич!

Скуратов выпрямился на стуле, недоброе выражение застыло на его лице.

— И ты, к-козел, приехал плакаться мне в жилетку?

— Я прилетел, не приехал.

— А прежде чем лететь, Горбушин, голубчик, тебе не пришла в голову блестящая идея меня п-п-поставить об этом в известность?

Горбушин начал объяснять:

— Николай Дмитриевич, я хотел позвонить директору, считая, что, если позвоню вам, вы все равно пойдете такой большой вопрос согласовывать с ним. Затем решил не звонить. Невозможно все обговорить по телефону из Средней Азии.

В словах Скуратова зазвучала издевка:

— А еще такая, Горбушин, идея не пришла в твою умную голову, что директор все равно не п-принял бы никакого решения, не посоветовавшись со мною, который в десять раз больше его знает, к-как выходить из трудных положений вдали от дома? Я з-з-зачем-нибудь просидел двадцать пар штанов на этих масленых стульях?

Теперь Горбушин начинал злиться. Начальник выходил из берегов, не выслушав его как следует, а в цехе знали: если вывести Людоеда из себя, тогда хоть уходи — не даст сказать, будет сам говорить, и разнос обеспечен.

— Вы же понятия не имеете, с какими вопросами я прилетел, а ругаетесь!

— Так ведь и слушать нечего, Горбушин, г-г-голубчик мой, выслушай прежде меня... На объекте ничего нет, голое место, так?.. Ну и что? Что ты, орел, можешь добавить к этому? А если все шеф-монтеры станут покидать свои объекты, как ты покинул, в том числе и на кораблях в океанах, разумеется из ближайших портов, тогда что? Видите ли, им захочется прокатиться в Ленинград, поплакаться м-м-мамочке в коленки на горькую судьбу свою... что тогда? — Скуратов шумно потянул из незажженной трубки, уже сорвав голос

и дыхание, и продолжал с тяжелым присвистом, характерным для астматиков, с каждой фразой вздрагивая бровями, а то и всей головой и даже плечами и многие слова не выговаривая четко. — Мне по телефону передают всю суть дела из далеких стран мира... Ты кто на объекте, Горбушин? Представитель государственного завода, имеющий право и обязанный решать вопросы по своему усмотрению. Лишь только выехал за ворота, ты сам с-себе и директор, и хитрец, и на дуде игрец... Все в одном лице!

— Николай Дмитриевич, выслушайте меня...

— Так ведь и слушать нечего, сказал же тебе... И не потому не слушаю, что я ч-ч-чертов бюрократ и л-людоед... Брат ты мой. Ну скажи на м-милость, чем мы тебе поможем отсюда? Советом? Так ты мог услышать его по телефону. Как бы обстоятельства тяжело ни складывались, п-плакаться надо там, на объекте, в кабинетах в-власть имущих.

— Я не плакальщиком нанимался на завод! — вспылил Горбушин, совсем уже убедившись, что начальник не даст ему высказаться в свое оправдание — не в том он состоянии, чтобы слушать.

— Там, там, Горбушин, надо бить в колокол, там...— продолжал Скуратов с усилием. — Ставить их в известность: дорогие, любезные товарищи наши, мы г-г-готовы на небо залезть, только бы выполнить ваш з-з-заказ, но вы-то хоть что-нибудь делаете для того, чтобы помочь нам, согласно договору, или только сидите и ждете, когда приедут б-б-братцы-ленинградцы и все за вас сделают?

— Заказчика подвело СМУ, в котором хроническая нехватка рабочей силы,— вставил Горбушин фразу.

Но Скуратов и ее не услышал. Продолжал есть бригадира:

— Дальше, Горбушин, г-г-голубчик, дальше... Как обстоят дела на втором объекте, на пскентском?

— Я там не был. По наряду и договору мы обязаны прежде сделать ДЭС в Голодной степи, затем переехать в Пскент.

— А-ах, прежде в Г-голодной степи... В Пскенте не были... А поскольку на п-п-первом объекте к-коза, почему было не заглянуть в Пскент? Расстояние там небольшое, я смотрел карту. Может быть, там все готово,

смонтировали бы п-прежде там, а за это время, г-г-гляди, и в Голодной степи подтянулись бы...

— А я убежден, что этих условий, удобных для нас, там еще нет. Кто будет опережать график на три месяца? Где видели такое?.. Мы обязаны по командировке и наряду с первого сентября по первое декабря работать в Голодной степи, только затем в Пскенте. Да и вы бы сняли с нас стружку за нарушение командировочных документов и дисциплины, если бы мы проездили напрасно. Знаю я вас!..

— Какой же начальник, Горбушин, станет сымать с тебя с-стружку, если ты удачно проявил инициативу? Ты каким местом д-думаешь, г-г-голубчик?

— Выбирайте, пожалуйста, выражения!

— Я их всю жизнь, б-будь они прокляты, выбираю, эти выражения...—Он уже совсем задохнулся, опустил голову.

Горбушин налил из графина воду в стакан, подал:

— Выпейте...

— Сам выпей, Горбушин... Я подыхать не с-собираюсь, я еще тебя переживу...—Его лицо странно побледнело, и острым сделался подбородок, под стать острым, за стеклами пенсне, глазам. Он стал смотреть в окно, успокаивая разбушевавшееся дыхание.

Горбушин молчал. Мог бы теперь говорить и хотел, да не смел. Весь цех знал: когда Скуратов доходит до такого состояния, надо молчать. Вот и молчал Горбушин, давно считая подвижническим отношение Скуратова, больного человека, к своим обязанностям.

Он уже смутно бранил себя за возвращение, но одновременно понимал, что без его приезда помочь хлопкозаводу не удалось бы.

Когда Скуратов отдышался, Никита сказал спокойно и обиженно: с формальной точки зрения его возвращение на завод можно посчитать недостаточно обоснованным, да ведь кроме формы есть суть дела, чувство ответственности.

Скуратов прервал его даже обрадованно:

— Ах вон что... И вы, Никита Максимович, чувствуете себя в ответе за все на свете? П-п-похвально... Признаться, не замечал в вас этих благородных побуждений, но на них мне, знаете, наплевать... Я требую от вас ж-железной дисциплины и только. Мне за что седьмого и двадцать второго дают зарплату, скажи, пожа-

луйста? Чтобы я отличнейшим о-о-образом монтировал дизели в семнадцати государствах и у себя дома или з-з-за то, чтобы я отвечал за все происходящее на б-б-белом свете? Кто говорит, что отвечает за все на свете, тот б-болтун... А я уж как-нибудь потребую от вас дела... Иди, Горбушин, я постараюсь, чтобы сегодня тебе был объявлен выговор в приказе за самовольную отлучку с объекта.

— Пожалуйста, хоть два!

Скуратов снял трубку, дрожащей рукой набрал номер. Горбушин кипел от злости, однако молчал.

— Ник-колай Алексеевич, говорит Ник-колай Дмитриевич... Повезло нам с ЧП, должен сказать... Вернулся из Узбекистана бригадир Горбушин... Без моего разрешения... Самолетом из Ташкента... П-почему? А хотя бы потому, что он в ответе за все на свете, а еще, говорит, к тому же там к-коза... Так что две причины. И коза, говорит, рогатая, и он в ответе за все на свете, ну вот и прилетел м-м-мамочке в коленки р-рыдать. Заготовить приказ о выговоре Г-горбушину? С-слушаюсь. Б-будет выполнено.

Положив трубку телефона, Скуратов заключил другим тоном, явно довольный, что выпросил выговор Горбушину:

— Какой в дни войны был лозунг? Ты не знаешь? Превосходный был лозунг... Каждому самоотверженно трудиться на своем посту. Вот что нужно нам сегодня, с-сейчас, с-сию минуту, чтобы выполнить пятилетку, а не твоя и моя болтовня о нашей ответственности за все на б-б-белом свете. Потому что мы не знаем, какие каленые орехи могут издалека посыпаться на наши у-умные головы завтра... Мне звонят из Праги, Варшавы, Сингапура, со всех концов, а ты не мог позвонить из Ташкента!

Теперь Горбушин игнорировал начальника. Он молчал. И Скуратов наконец закончил:

— У директора сейчас оперативка начнется, инженеры будут мыть головы друг другу. Так что ты иди, погуляй на дворе часок, потом подгребай к д-д-двери Николая Алексеевича и стой там, я тебя вызову. И предупреждаю: когда он станет сымать с тебя стружку, я тебе не з-з-защитник. Да еще добавлю!

Горбушин вышел из конторки с красной физиономией. Разнос получил что надо!.. Права оказалась Руде-

на. Обозвал болтуном и выставил за дверь человек, которого он привык уважать, любил... Хуже некуда! Но если настоит Скуратов, чтобы Горбушину дали выговор, Горбушин подаст на расчет. И поглядит, как Людоед побежит сзади, упрашивая его остаться. Шеф-монтеры дизелей на дороге не валяются!

23

Он спустился со «скворечника» в литейный цех и постоял, поглядывая на возившихся с песком формовщиков, как бы не замечая их: такая досада разобрала.

Но, вдыхая специфический запах литейки, этот запах гари, дымка, сырого песочка и окалины, который почему-то всегда нравился Горбушину, он скоро почувствовал, что начинает успокаиваться.

Потом засек время, чтобы через час быть у директора, и поспешил в комитет комсомола рассказать Курилову о печально сложившихся голодностепских делах. Курилов тоже шеф-монтер, ему профессионально интересно знать о сборке в каждой молодежной бригаде вдали от завода, да и помочь он всегда рад. И Шакир настаивал, когда Горбушин уезжал: если Скуратов встретит в штыки, шагать к Сашке и вместе с ним идти в партком к секретарю Бокову.

На заводском дворе Горбушин увидел шедшую навстречу председательницу завкома Гавриловскую и переменил решение. От нее все равно не уйти, да и лучшей слушательницы в этот момент, когда досада в нем кипела и требовала выхода, нельзя было себе представить. В партком и в комитет комсомола рабочие не шли так густо, как в завком к этой стареющей женщине.

Много лет отработала Елена Тимофеевна крановщицей на подъемном кране, в начале сорок второго похоронила умершего от голода мужа, потом одного за другим двоих детей, хотя отдавала им все, сама крохи во рту сутками не имела, а все же погибли они, мать осталась жить. Похоронив семью, пришла в партком: «Мужики, примите в партию... И дайте какую-нибудь работу, может, не так мне тоскливо будет, не то от горя помру раньше, чем от голода». Ее приняли в партию и тут же избрали председателем заводского комитета профсоюза — вместо умершего от голода прямо за своим рабочим столом прежнего председателя.

Двенадцать лет Гавриловская на этой работе. Сколько просьб, предложений, протестов, письменных и устных, поступает к ней... Одних комиссий в завкоме — конфликтная, по индивидуальному соревнованию, бытовая, детская, оздоровительная, по спорту... Рабочий, попавший в беду, всегда найдет у Гавриловской и сочувствие и заступничество... Она пойдет и к мастеру, и к начальнику, и к директору, и в партком, и в милицию, и в народный суд. Иного не надо бы выручать, а она выручает, доказывает: исправится, он неплохой, надо помочь. В цехах о ней говорят: «Мать божья и заводская, перед которой раскрываются все двери и души».

У Горбушина Елена Тимофеевна спросила, лишь остановились и поздоровались: «Как живется?» Это следовало понимать так: «Не надо ли помочь?» И только стал он говорить, что вот уехал в Узбекистан, но пришлось вернуться, как она прервала его:

— Проводи меня до главной конторы, по пути и расскажешь... Беда у нас с этими кольцами, не выдерживают лабораторных испытаний, так технологи сейчас у Николая Алексеевича будут рвать чубы металлургам, считая их металл некачественным, а металлурги станут обвинять технологов в неумении правильно пользоваться хорошим металлом.

— Вы идете на оперативку к директору?

— Да.

Горбушину не хотелось отделываться общими словами — оперативка вот-вот начнется, все равно ничего не успеешь рассказать. Да и председательница выглядела рассеянной; впрочем, в следующую минуту она оживилась: двор пересекала тяжелая грузовая машина, вывозившая небольшой трехцилиндровый дизель в ящике. Из-под кузова машины торчал конец трубы, на этой колбасе сидел ремесленник и болтал от удовольствия ногами.

— Соскочи, пострел! — пошла Гавриловская наперерез машине. — Если грузовик даст задний ход, куда свалишься?

Подросток убежал. И тут же к ней подошла девушка с озабоченным лицом и быстро заговорила:

— Ой, тетечка, ой, хорошо, что я вас встретила. Я к вам иду в завком, честное слово! Знаете, у нас в комнате опять то же самое. Ей наплевать на нас, ей

Санька нужен. Вчера, то есть уже сегодня, заявилась домой в половине пятого утра, так ладно бы разделась и легла, а ей надо умываться, накручивать бигуди. Свет горит? Мы проснулись?.. Так ей наплевать. Потом стала пить чай. Разве это культурное общежитие? С ума сойти!

— Хорошо, Оля, я зайду сегодня, поговорю с ней еще. Она в первой смене работает?

— Так если б во второй, тогда б все вместе спали!

— Хорошо, я поговорю с ней.

24

Увидел Курилов Горбушина, и на лице полное непонимание:

— Ты же в Узбекистане, старина!

— Вчера прилетел. ЧП на объекте. Стал Николаю Дмитриевичу рассказывать, так его чуть инфаркт не хватил.

— У него хозяйство сложное, иногда и пожалеть мужика надо!

— Это ему иногда не грех поддержать молодого,— бросил Горбушин и подумал, что напрасно сюда явился: секретарь начнет расспрашивать, вникать, уточнять и даже сочувствовать, а говорить о Голодной степи значит расслабиться перед беседой с директором. Дмитриевский не астматик, с ним можно говорить на равных, и Горбушин поговорит, своих позиций легко не уступит.— Поехал всего шестой раз в самостоятельную командировку и напоролся на такое! Там голые стены, понимаешь? С чего начинать? Нужна кардинальная помощь, иного выхода нет. Так же считает Шакир и велел тебе это сказать,— заключил Горбушин.

— Но почему ты, действительно, не позвонил сюда?

— Дмитриевский и Скуратов могли дать команду: домой! А мы с Шакиром думаем иначе. Можно там остаться и пустить завод в срок.

— Что же вы придумали? Выкладывай.

— Не буду, Курилов. Вернусь от директора, тогда расскажу, что говорил я, что отвечали они. Достовернее получится.

— Может, сходить пока к Луке Родионовичу, посоветоваться с ним?

— Он сейчас на оперативке у директора.

— Ты социалистическое соревнование организуй там. Вас трое и шестеро слесарей, разбей всех на три пары, каждой дай машину, и дело пошло...

Горбушин усмехнулся:

— Во-первых, дают нам только трех слесарей... Во-вторых, какое там соревнование, если раздробить маленькую бригаду на три части?

— Ты чего-то недопонимаешь в социалистическом соревновании, Горбушин. В чем его сила? В психологии, с начала и до конца в психологии. Настоящее соревнование — это то же состязание на олимпийском поле: кто кого обгонит, обыграет. Борьба чувств, ума, опыта...

Вошел друг и тезка Горбушина Никита Степанов, тоже шеф-монтер. Они вместе работали на сборке, два Никиты и Шакир, и одновременно были переведены в цех внешнего монтажа для работы шеф-монтерами.

Степанов забросал друга вопросами:

— Так скоро? А где Шакир? Или коза?..

— Еще какая!

— Значит, плотно сели?

— Не говори.

Степанов опустился на стул напротив Горбушина, прямо глядя ему в лицо,— ждал подробного рассказа о ЧП. Они очень дорожили опытом друг друга и каждый серьезный недостаток на сборке разбирали по косточкам, обычно в комитете комсомола, где Курилов принимал живейшее участие в разговоре.

Степанов недавно вернулся из Афганистана. Желая Горбушина успокоить, он рассказал о своем ЧП вдали от завода, вдали от Советского Союза... Те трудности с голодностепскими действительно в сравнение не шли...

Правительство Афганистана попросило Советское государство помочь афганцам проложить шоссейную дорогу из одной долины в другую через горный перевал: такая дорога была бы намного короче существующей уже тысячелетия и самым радикальным образом улучшила бы экономику большого края.

«Русскому дизелю» было предписано отправить в Афганистан машины и мастеров для их сборки. Конечно, ничего такого, что предусматривается у нас техническими условиями, облегчающими труд, предохраняющими машины от скорого износа, в Афганистане ленин-

градцы не увидели. Более того, самим шеф-монтерам пришлось взять в руки отбойные молотки и лопаты, в горах, под знойным солнцем делать фундаменты, а потом разбирать и собирать машины под открытым небом, со страхом ожидая, что налетят пылевые бури, выведут механизмы из строя; сами, без местных машинистов, давали работающим на дороге афганцам свет и электроэнергию для тяжелейших скальных работ. Даже у опытных шеф-монтеров — а были посланы именно лучшие мастера сборки и их помощники — возникало опасение: смогут ли дизели и генераторы работать длительное время в таких трудных для них условиях да еще в предельно напряженном ритме? Машины смогли. Выхлопные клапаны круглосуточно стучали,— бах-бах-бах-бах! — далеко раскатывалось в горах веселым эхом.

Отличная трасса среди высоких гор была пробита наилучшим образом. Фотоснимки новой афганской дороги, построенной с помощью Советского Союза, появились во многих журналах и газетах. Афганцы с теплыми чувствами провожали советских рабочих, потрудившихся в их стране без малого два договорных срока.

Горбушин слушал, поглядывая на часы. Этот случай не мог ему служить примером или утешением. Он работает не за границей, самолюбие и заводоуправление не позволят ему ковыряться в Голодной степи два срока. Впрочем, сейчас все решится.

25

Он не стал ждать в приемной, когда его вызовет Николай Дмитриевич, попросил секретаршу доложить директору о приходе бригадира Горбушина и, едва дверь, обитая черной клеенкой, закрылась за женщиной, вспомнил задыхающийся голос Скуратова и приказал себе быть начеку.

— Войдите! — появилась секретарша с пачкой бумаг в руке.

В кабинете увидел четверых. В глубоком кресле коричневой кожи почти утонул Скуратов, поблескивали его острые глаза за стеклами пенсне; напротив него, тоже в кресле, но на самом краю его, кажется из опасения утонуть, сидел ссутулившийся секретарь партко-

ма с висячими, как у запорожца, усами — инженер Лука Родионович Боков; а за дивно сохранившимся длинным и широким письменным столом орехового дерева, какие теперь не делают даже для министерских кабинетов,— еще Нобель сиживал за ним и здесь же подписал с Дизелем купчую, согласно которой керосиновая машина и патент на ее изобретение навечно передавались заводу,— сидел директор «Русского дизеля» Николай Алексеевич Дмитриевский, человек с округлым, болезненного вида лицом. У стены стояла Гавриловская.

Директор жестом пригласил Горбушина сесть, затем негромко, спокойно заговорил:

— Николай Дмитриевич объяснил нам причину вашего возвращения на завод. Хлопкозавод не выполнил своих обязательств... Вы можете объяснить, почему?

Горбушин пружинисто, по армейской привычке, вскочил:

— Могу!

— Вы сидите...

— Николай Алексеевич,— вмешался секретарь парткома, накручивая на палец ус,— может быть, Горбушин прежде введет нас в курс дела?

— Это одно и то же. Пожалуйста, товарищ Горбушин.

— На голодностепской ДЭС пока существуют лишь голые стены с двенадцатью незастекленными окнами, незастекленной крышей и черным полом. Нет подъемного крана, и еще не проложены для него рельсы на стенах. Нет электрического света. Ничего там нет, кроме голых стен. И на одном из трех фундаментов отверстия для анкерных болтов осуществлены с серьезным отклонением от нормы, поэтому я предложил фундамент сломать и построить новый.

— Хо!.. — громко изумился Скуратов и сделал попытку выпрямиться в кресле, но это ему не удалось.

Директор не отводил взгляда от Горбушина.

— Чем же объясняют отставание руководители завода?

— В Голодной степи из года в год не хватает людей для работы в сельском хозяйстве, на предприятиях, в учреждениях.

— Большая текучесть рабочей силы?

— О текучести не слыхал, Елена Тимофеевна. Там быстро осваивают новые земельные площади для посева хлопчатника, раньше, чем успевает подъехать необходимое количество новых поселенцев. Рабочим к основным ставкам начисляют еще доплату за освоение целины, и все-таки людей туда пока что переселяется недостаточно.

Боков, перестав накручивать свой запорожский ус, поднялся:

— Из местных крестьян разве не пополняются ряды рабочего класса?

— Этот вопрос я задал директору хлопкозавода... В республике есть колхозы-миллионеры, а на хлопкозаводах люди зарабатывают значительно меньше, поэтому желающих переменить труд хлопковода на труд рабочего немного. Колхозник буквально заваливает свой дом продуктами. На орошенных землях все родится крупно, обильно... Для примера приведу один факт. Позавчера наш шеф-монтер Курмаев принес с базара арбуз весом на двадцать четыре килограмма, и притом необыкновенно сладкий.

— Нам бы, ленинградцам, такой климат! — мечтательно сказала Гавриловская.

— Хо... — опять удивился Скуратов. — А как же Шакир принес его, круглый и на двадцать четыре килограмма?

— По земле катил.

Директор поморщился:

— Николай Дмитриевич, давайте о деле...

Гавриловская спросила:

— Ты не интересовался, Никита, в прорыве весь завод или только ДЭС?

— Главный инженер специально просил меня передать заводоуправлению «Русского дизеля», что весь завод строится в соответствии с плановыми сроками, отстало лишь строительство ДЭС, но и это отставание они обещают ликвидировать.

— Когда предполагают поставить кран?

— Сами не знают. Ждут, когда его пришлют с севера.

Боков прошелся по зеленой ковровой дорожке к двери, вернулся, обратился к директору:

— Может, попросим Министерство хлопкопромышленности изменить сроки пуска завода?

Директор повернул голову к Гавриловской:

— Ваше мнение?

— Если они отстали лишь со станцией, то не преждевременно ли просить министерство?

— Это бессмысленно,— заметил Горбушин. — Министерство не поддержит нас, мне кажется, по двум соображениям. Во-первых, придется выплачивать зарплату рабочим и служащим за простой не по их вине; другая причина более важная: текстильные предприятия не получат уже запланированный для них из этого завода хлопок, что опять-таки аврал, и куда более значительный, чем выплата людям за простой не по их вине.

Директор, видимо, согласился с Гавриловской и Горбушиным.

— Администрация хлопкозавода не просит свое министерство о новом сроке пуска, а нам чего соваться в чужой огород? Мы можем просить свое Министерство среднего и тяжелого машиностроения...

Секретарь парткома бродил по зеленой дорожке, думал вслух:

— Тут беда, как ни поверни... Я не вижу возможности пустить наши машины первого декабря. А если не пустим, поставим под удар оба предприятия: свое и хлопкозавод.

Горбушин почувствовал: пора делать свои предложения. Сказал, что не следует отказываться от объекта, завод первого декабря пустить можно. Для этого необходимо рассмотреть несколько вопросов. И замолчал.

— Пожалуйста,— тихо произнес директор.

— Первое... Работу начать с талями и домкратами...

Гавриловская засмеялась.

— Это же морока одна! И прав окажется Лука Родионович: возьмемся и не сделаем, подведем себя и хлопкозавод... Я около двух десятилетий отстояла на большом подъемнике, мне ли не знать? А ты с талями и домкратами готов монтировать. Плохой твой первый пункт!

— Н-нет, почему плохой? — Скуратов выпрямился наконец в кресле, вынул изо рта «мартеновскую печь», как иногда называл свою трубку. — Тали дело замечательное, смею вас уверить. С талями и домкратами в прошлом веке Александровскую колонну вместе с анге-

лом подняли. Привезли триста двадцать лебедок, пригнали солдат, раз-з-збили их по взводам и заставили крутить ручки л-л-лебедкам, как быкам хвосты. Царь Николай Первый сидел на балконе, лю-ю-юбовался, как работает техника в опытных р-р-руках. И что вы думаете? Поставили колонну во с-с-славу лебедкам и векам... Стоит вторую сотню лет.

— Николай Дмитриевич,— вновь поморщился директор,— давайте работать, шутить будем после.

Но Скуратов, видимо, решил, что Горбушину больше нечего сказать, и продолжал, по обыкновению неровно дыша, с маленькими паузами:

— Перехожу к сути дела, Ник-колай Алексеевич... Я за предложение Бокова. Давайте просить свое министерство с тем, чтобы оно обратилось к к-к-кому следует: мы, товарищи, не можем рисковать объектом в братской республике и авторитетом своего завода; мы должны станцию либо пустить в срок, либо добиться нового срока ее пуска. А своему министерству отправим бумагу: бригаду с объекта не снимаем, однако же и гарантии хлопкозаводу, что станцию пустим в срок, естественно, уже не даем.

Директор ответил резковато и погромче, чем говорил до этого:

— Не умею работать с перестраховкой и вам не советую, Николай Дмитриевич... Мол, работу не оставляем, но ставим вас в известность... За дело надо браться либо со всей ответственностью, а не с половинной, либо отказаться, тем более что оснований у нас для этого достаточно. Но мы же не сошлемся на техническую слабость Голодной степи, чтобы бросить дело. Продолжайте, товарищ Горбушин, вас прервали. Неужели вы там на месте лишь то и придумали, чтобы работать с талями и домкратами?

— Второе... — внешне спокойно и теперь твердо продолжал Горбушин. — Нам, шеф-монтерам, и бригаде слесарей работать не по восемь часов, а по двенадцать до тех пор, пока не станет ясно, что завод первого декабря в эксплуатацию пустим. Иными словами, я готов работать по двенадцати часов и после того, как подъемный кран будет установлен. Третье... Необходимо срочно поставить пятнадцать — двадцать человек для временной работы в помощь тем, кто будет трудиться

над окончанием всех многочисленных работ на ДЭС. А чтобы получить их из местных колхозов, следует написать от имени нашего заводоуправления письмо первому секретарю райкома партии Бекбулатову. В письме просить райком помочь нам выполнить свое обязательство перед хлопкозаводом. Там следует сказать резкую правду: если не поставить на достройку ДЭС временных рабочих, завод в плановый срок пущен не будет.

Секретарь парткома нетерпеливо стоял перед Горбушиным, ожидая, когда он кончит. Ирония зазвучала в его словах:

— Да неужели вы серьезно считаете, Горбушин, будто райком не знает, что у него делается на строительстве? И не нам подсказывать местной парторганизации, как она должна работать. Бестактно это будет с нашей стороны.

Скуратов с заинтересованным видом поднял руку. Директор кивнул ему.

— Тут я с Горбушиным согласен. Не подсказывать райкому партии, а просить его помочь нам. Тут Никита Максимович п-прав.

— И я согласен... — уже с надеждой смотрел директор на Горбушина. — Продолжайте, пожалуйста... Вы, кажется, еще хотели что-то сказать? Нет?.. Если вы и ваши товарищи готовы работать сверхурочно, пока не ликвидируете прорыв... Это важно... А за нашим письмом дело не станет. Но вот вопрос: выдержите ли вы, вручную, то есть без крана, разбирая машины в знойном климате по двенадцать часов ежедневно?

— Выдержим, я думаю.

— Если не изменяет память, Горбушин, г-г-голубчик, вы ничего мне не говорили об этом час назад.

— Вы мне рта не дали раскрыть.

— Ах, я рта вам не дал раскрыть... Но ведь с разумным предложением не молчат. И надо было активнее действовать там, на месте. Идти в райком... Вы все время недоучитываете своей власти на периферии. Вы п-представитель г-государственного завода!

— Не надо преувеличивать моих возможностей на объекте. В райкоме я был. Второй секретарь дважды отказывал дирекции хлопкозавода помочь достать рабочих в колхозе, отказал и мне, дав понять, что я сую нос не в свое дело.

— Час от часу не легче,— сказала Гавриловская.

— Но отказал второй... Если письмо подпишете вы, большая тройка, адресуя его первому секретарю, результат может быть иной. Там в чем сложность? Приближается горячая страда, уборка хлопка. На учете каждая машина и каждый человек, способный собирать урожай. Директор Джабаров говорил: если завод не пойдет в этом году, дадут по шапке его руководителям, а если снимать людей с хлопка, это ставит под угрозу выполнение плана уборки, на что никто не пойдет. Кроме того, Голодная степь собирается в этом году второй раз получить переходящее знамя республики и, конечно, награды. Вот второй секретарь и ведет дело к тому, чтобы район выиграл соревнование у соседей и был награжден, а завод пусть как-нибудь...

Это заинтересовало и удивило Луку Родионовича.

— Почему его не поправит первый секретарь? — громче обычного спросил он.

— Первый молод, на райкомовскую работу назначен недавно, по образованию инженер-ирригатор. Для Голодной степи сейчас главная задача — выполнить план освоения новых площадей для посевов хлопчатника. Сложным этим делом, мелиорацией и ирригацией, занимается непосредственно первый секретарь, оставив дело уборки урожая, привычное, налаженное десятилетиями, второму секретарю, старому, многоопытному. Вот первый секретарь все дни и пропадает на поле с ирригаторами и мелиораторами, ведь план освоения большой и выполняется с трудом опять-таки из-за острой нехватки людей. И последнее! Нам вместо шести слесарей по договору дают только трех. Хорошо бы получить еще троих. Есть такая возможность у нашего завода?

— Ни малейшей! — твердо заявил Скуратов.

— У нас действительно нет такой возможности, — поддержал его директор. — Вы это хорошо знаете, Горбушин. Попытайтесь обратиться в райком комсомола. У них связи со всеми заводами района. Может быть, где-то найдут.

— Попытаюсь,— задумчиво ответил Горбушин.

Поговорили еще некоторое время, уже не споря друг с другом, лишь уточняя частности, и директор стал подводить итоги. Предложение Горбушина принять, но не указывать в письме количество рабочих, требующихся

хлопкозаводу, с этим вопросом на месте разберутся лучше. Письмо составить Горбушину, ему знакомы частности, и сегодня же дать на подписи; в Узбекистан вылететь завтра, время не терпит, а оттуда сообщить по телефону Николаю Дмитриевичу, что́ там и ка́к будет после письма.

— Давайте попросим руководителей хлопкозавода и рабочих, которые станут доделывать ДЭС, написать нам, когда прорыв будет ликвидирован,— предложила Елена Тимофеевна в заключение.

Директор не возразил, промолчали, выражая согласие, Боков и Скуратов. Затем Дмитриевский еще раз попросил Горбушина, а в его лице и остальных шеф-монтеров, не подвести «Русский дизель» и хлопкозавод, работать по-комсомольски.

— А я тебе такое п-п-поручение даю: заранее съездить в Пскент и тотчас доложить мне, как там обстоят дела. Не повторится голодностепская история?

Горбушин остановился перед Николаем Дмитриевичем.

— Итак, товарищ начальник, мы, пятеро,— он взглянул на часы,— развязывали этот узел час двадцать минут... А вы хотели развязать его телефонным разговором и еще угрожали вмазать мне выговор!

— Ты его получишь, г-голубчик, когда еще прилетишь сюда без моего позволения. Ну, а теперь простим тебя, т-так и быть!

— Пойдем скорее в завком,— приблизилась к Никите Гавриловская,— сейчас дам тебе комнату, запрись в ней и пиши.

У входа в завком их встретила женщина лет сорока в грязной рабочей одежде. Плача, она шла им навстречу.

— Ой, матушка, заступница наша, тетя Лена, спасибо тебе... Засудили бы его, паразита, пьяницу... Что бы я с ребятами и больной свекровью делала!

— Перестань, перестань плакать! Невидаль какая, в суд сходила. Авось и не засудили бы... Успокойся!

Женщина все плакала, все благодарила ее.

С письмом в кармане, уже подписанным и запечатанным, Горбушин поспешил в Выборгский райком комсомола. Секретарь поднял руку, увидев его:

— Никита! Здорово! За тобой должок... Когда выполнишь поручение бюро, обследуешь комсомольскую работу на «Красной заре»?

— Вот вернусь из Узбекистана... Знаешь ведь, что я все время на колесах.

Они закурили. Горбушин сказал о своей просьбе.

— А ты с местными комсомольцами говорил?

— Когда было? Дел по горло, а находился там двое суток всего.

— Обязательно следовало увидеть секретаря райкома. Вечером, ночью! Их объект. Что думают? Что делают?..

— Рядом с комнатой, где мы поселились, живут две девушки, одна из них комсорг на заводе, так даже с ней не успел потолковать, а ты говоришь о секретаре. Там в такой клубок сплелись производственные вопросы...

— Неужели «Русский дизель» не смог наскрести у себя трех слесарей?

— Туго у нас с людьми. Удовлетворить все заявки на установку дизелей завод не может, понимаешь?.. Никакой возможности! Жена одного шеф-монтера, хорошего, опытного, ушла от него с двумя детьми. Хватит, сказала, теперь не война, чтобы я жила без мужа, а дети без отца. Так весь цех разбирал этот конфликт, и смеху же было!

— Так и ушла?

— Ушла бы, да помирила председатель завкома.

— Как ей удалось?

— Уговорила руководителей завода помочь женщине, не посылать мужа в командировки полгода.

— Не знаю, не знаю, Никита... Конечно, помочь Голодной степи хочется. Ленинград своих комсомольцев часто посылает на стройки. Это так... — Он скреб в затылке.

— Прикинь, что можно сделать!

— Ладно, попробую. Постараюсь выпросить одного парня на «Красном выборжце», на «Металлическом» второго, а третьего, скажем, на «Работнице». Они когда тебе нужны?

— Да хоть завтра, вместе бы и полетели.

— Не выйдет! Оформить же надо. И следует утрясти вопрос, кто будет оплачивать их работу.

— Давай договоримся так. Разговаривай с ребятами и их начальством, а с оформлением не торопись. Жди моей телеграммы.

— А кто им оплатит летные или проездные билеты в оба конца?

— Вероятно, предприятие, вызывающее на работу. Но и это надо уточнить. В общем, жди, Сергей. Ребятам скажи: работать будем по двенадцать часов.

— Договорились. Бывай здоров. Ко мне сейчас придут комсомольцы из подшефного совхоза, уборка картофеля вот-вот начинается.

Горбушин написал адрес хлопкозавода, и они расстались.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЗОЛОТАЯ СТЕПЬ

26



Из Ленинграда Горбушин вылетел ранним утром, в полдень был в Ташкенте, а к вечеру приехал на станцию Голодная Степь и только теперь, залитую солнцем, рассмотрел ее как следует: в прошлый раз приехал сюда поздно вечером, уезжал в полночь. В облике станции ожидал увидеть что-то соответственное ее мрачному названию, однако ничего такого не обнаружил.

Вокзальчик был стандартный, каких не счесть на дорогах большого государства: широкий, одноэтажный, с цветными газончиками слева и справа. На фронтоне, на полосе красного сатина, две строки не то лозунга, не то стиха:

Мы путь большой воде открыли
На славу Родине своей!

Горбушин слышал у вагонов русскую, украинскую, белорусскую речь, глуховатый кавказский говорок, а чаще всего «Салам алейкум!» — приветствие на устах всех многочисленных народов советского Востока.

Голодная степь уже на станции многообразием диалектов показывала человеку, едва он выходил из вагона, свое отличие от других районов Узбекистана.

Отстояв положенное время, поезд покатил на Самарканд, колеса в знойном воздухе стучали громче, чем стучат в краях умеренного климата. Поглядывая на

уходящие вагоны и на людей, Горбушин вдруг увидел Рипсиме Гулян и вздрогнул от неожиданности. Она легко и изящно бежала от железнодорожного пути к вокзалу и, наверное, не заметила бы Горбушина, если бы он не шагнул ей наперерез. Лицо девушки исказилось испугом, затем неуверенная улыбка осветила его, когда Горбушин подошел, поклонился и поздоровался:

— И вы, значит, с поезда, товарищ Гулян?

— Нет! Приезжало начальство из треста, вот я и провожала... — говорила Рип с каким-то неспокойным мерцанием в глазах, как будто в эти же секунды еще и решала, надо ли вести этот разговор.

Горбушину хотелось молча слушать ее. Она после маленькой паузы продолжала:

— Вы из Ленинграда? Так скоро?

— Утром был на берегах Невы, сейчас — на берегах Яксарт-Сейхун-Сыр-Дарьи... Ничего себе отхватить такой кусочек за несколько часов, а? Посмотреть на карту — и то голова закружится.

У девушки был такой вид, словно она к чему-то прислушивалась.

Потом они стали выяснять, кому в какую сторону идти, выяснили, что идти вместе, и Рип вдруг спросила, не ждет ли он здесь кого-нибудь. Она имела в виду Рудену и осталась довольна, услышав отрицательный ответ.

— Никого не жду, стою и рассматриваю станцию. Когда ее назовут иначе, не знаете? Я наслышался о щедротах поливных земель, а станция все по-прежнему Голодная Степь.

— Скоро и городок и станцию назовут Гулистан.

— Что это означает?

— Цветущий край.

— Название поэтическое и верное по существу.

Около них остановились два возбужденных разговором парня, у одного в курчавых волосах торчали из-под тюбетейки пышные белые цветы.

— Тентак! Тентак! — крикнул он приятелю и пошел прочь, резко повернувшись.

— Джуда якши... — бормотал второй.

Горбушин проводил взглядом ушедшего, улыбнулся девушке:

— А драчливый вон тот, с цветами!

— Это не цветы. Это веточка хлопка. Здесь такой обычай: когда хлопок созревает, молодежь украшает им свои волосы.

— Они, кажется, обменялись какими-то любезностями?

Рип засмеялась:

— Первый сказал: «Дурак! Дурак!» А тот ответил: «Очень хорошо...»

Теперь Горбушин и Рип посмеялись вместе, после чего скованности почти уже не ощущали. Они вышли на дорогу и направились к хлопкозаводу. Веселое настроение овладевало Горбушиным — радостно было идти с этой девушкой, интересовавшей его все больше.

Рип же настороженно ожидала дальнейшего,— разговор с молодым человеком она обычно сама не начинала. Да почти и незнаком ей был бригадир Горбушин. Конечно, она отметила его и даже спросила себя в день приезда шеф-монтеров — вечером, уже в постели,— понравился бы ей такой? Однако ответа не нашла, может быть оттого, что мысль забегала вперед: он приехал и уедет. И было чего-то немного жаль.

На другое утро она в случайном разговоре с Марьей Илларионовной узнала кое-что о Горбушине. И в последующие дни что-то узнавала о нем,— Рудена после его отъезда все время проводила у хозяйки, не находя себе места от скуки и неприятных предчувствий, а та и рада была поболтать с нею. Так Рип, проявляя свойственную ей осторожность, выяснила, что бригадир холост, отслужил в армии, заканчивает заочно институт и что Рудена, кажется, неравнодушна к нему, но отказывается говорить на эту тему.

Идти было жарко, пахло пылью. Горбушин достал папиросы, взял одну, постучал о коробку. Сигарет не курил, предпочитая им папиросы в красивых коробках.

— Могу предложить, Рипсиме...

— Меня обычно зовут Рип...

— Красивое имя.

— Я же говорила вам — не курю.

— Тогда, может быть, и мне...

— Что вы? — жестом показала она на небо. — В такой гостиной воздуха достаточно.

— Что нового на хлопкозаводе? — Горбушин с удовольствием закурил.

— Новости везете вы. Хочу о них спросить и боюсь.

— Меня зовут Никитой.

— Так с чем же вы возвращаетесь? — быстро продолжала она.

Горбушин опять готов был пошутить, теперь немножко похвалив и себя, мол, дела складываются именно так, как я намечал... Но подавил это желание и сказал просто:

— Завтра приступаем к работе.

— Неужели?! Спасибо вам...

— Не думайте обо мне лучше, чем я есть.

— Настроения ваших товарищей я знаю!

— Я сделал только то, что должен был как старший в группе.

— Не скромничайте!

— Я действительно выполнял лишь свои прямые служебные обязанности.

— Тогда скажите, пожалуйста, в чем они заключались.

— Подробно доложить дирекции «Русского дизеля» о неполадках на объекте.

— А товарищи ваши, в частности Рудена, согласились, что вам следует туда лететь?

Горбушин замялся и почувствовал досаду на себя. Да и как не смешаться? Услышал в словах Рип тонкую, злую, веселую иронию, на какую способна только женщина.

Рип, поняв его затруднение, непринужденно переменила тему разговора:

— Хорошо было лететь?

— Нормально... Вам тоже приходилось?

— Один раз. Летала в гости из Ташкента в Москву к двоюродной сестре, и больше не хочется.

— Почему же?

— Когда подходила к самолету, ноги будто помимо моей воли стали замедлять шаги, словно не хотели расставаться с землей. Смешно, правда?

— Это ощущение перед первым полетом. Понравилась Москва?

— Коротко не ответишь. Вот один случай там был...

— Расскажите, пожалуйста!

— Отправилась я в театр Вахтангова. В антракте подходит ко мне молоденький лейтенант в новой форме. «Девушка, говорит, ты откуда?» — «Что вам, отвечаю, нужно, я вас не знаю». — «А какая, говорит он, разница,

знаешь ты меня или нет? Я Игорь. А ты?» Тогда я сказала ему фразу на моем родном языке... Он смеется: «Как это надо понять, может, переведешь?» — «Пожалуйста, говорю, вы грубы и глупы». — «Да ну, смеется он, это по-какому же, по-армянски?»—«Нет, отвечаю, теперь это уже и по-русски».

— Напрасно вы так. Военным иногда можно простить их невольную поспешность, увольнительная от и до. Я знаю девушку, которая познакомилась с парнем в театре, а какая у них была любовь, знаете, позавидуешь.

Вечер был тяжкий от зноя и безветрия. К этой небесной напасти для Горбушина прибавилась еще земная: новые щегольские сандалеты-оплетки, купленные вчера в Ленинграде, очень жали ноги. Рип же неслась с легкостью птицы. Горбушин, стараясь не отстать, шел размеренным шагом спортсмена, терпел жару и эти дурацкие оплетки, впившиеся в тело всеми ремешками, пытался понять причину изменившегося к нему отношения девушки и ничего не понимал. Или, спрашивал он себя, все объясняется просто: надо же и ей как-то поддерживать разговор, если случаю угодно было сделать их попутчиками?

Он вытер пот со лба.

— Нравится вам заведовать ОТК?

— Еще не заведовала, но знаю, что моя работа способна вымотать из человека все нервы.

— Вы станете большой фигурой на заводе.

— С которой никто не будет считаться.

— У вас минорное настроение?

— Нет. Но должность у меня действительно сложная. Мой отдел определяет сортность поступающего хлопка и, следовательно, цену ему.

И стала рассказывать, что в дни массовой уборки хлопка руководители района собьются с ног, дня им будет мало. Члены бюро райкома и райисполкома даже ночью станут наезжать в колхозы и совхозы, просить как можно быстрее собирать урожай и ежедневно максимально сдавать его на хлопкозаводы и заготпункты. Бог — это количество. Денежные премии, ордена, почетные грамоты и высокие звания дают прежде всего за количество. О качестве разговор потом. Отстающий же район критикуют в газетах, по радио, на собраниях, в вышестоящих организациях.

— Так если все требуют друг от друга количества и лишь количества, а заведующий ОТК так же активно — качества, скажите, на кого он будет похож? На Дон-Кихота, бросившегося на ветряную мельницу, чтобы остановить ее.

Эти факты напомнили Горбушину то, что рассказал ему и Шакиру Джабаров за кувшином молодого вина.

— Ваш директор говорил, Рип: хлопок белый, а душа у его заготовителей черная, как сапог, от тревог и противоречий. Из этого я делаю вывод, но не знаю, насколько верный: а если урожай убирать медленнее? Это не позволит людям лучше сушить хлопок? Чтобы его меньше согревалось?

Рип снисходительно взглянула на него:

— Все обстоит сложнее. Тут о науке надо вспомнить. Почему она до сих пор не сказала решающего слова о том, что надо делать, чтобы хлопка согревалось меньше? Во всем мире хлопкоробы стараются сохранить качество каждого килограмма, но пока это не удается.

И хлопка, узнал Горбушин, согревалось бы меньше, если бы выполнялись указания ОТК. Начальник из треста, которого она только что проводила, требует хлопок принимать строго по государственным стандартам и только сухой. Значит, товароведы и лаборанты, ее подчиненные, какие-то тележки с хлопком будут вынуждены вернуть хозяйствам на досушку. А разве это понравится колхозам и руководителям района? Ведь и хозяйства между собой, и район с районом соревнуются. Встань-ка им поперек дороги!

— Подождите немного,— с горячей заинтересованностью говорила Рип, и Горбушину это приятно было слышать,— начнется массовая уборка — выборочная началась, — и вы увидите, как у нас пойдут дела.

— Вы, Рип, очень любите свою работу, хоть ею еще не занимались. Возьмите меня к себе нештатным сотрудником, а?

— Портить людям нервы и отнимать у них время?

— Самому хочется все увидеть...

— Тогда я расскажу вам еще об одном противоречии. Хлопок при солнечном свете имеет один цвет, в сумерках другой. Поэтому принимать его рекомендуется в светлое время дня, потому что к вечеру утомленное

зрение приемщика не всегда позволяет правильно определить сорт. Нельзя валить в бунт или складывать в амбар несколько сортов друг на друга, как валят крупную и мелкую картошку в одну яму. Но ведь валят... И возможность согревания от этого увеличивается. Смотрите дальше. Правительство нашей республики, заботясь о качественной приемке урожая, издало распоряжение принимать хлопок до десяти часов вечера, не позже. Во время же массовой уборки это указание забывается, будто никогда его не существовало. Товароведы и лаборанты стоят у столов по двенадцать — восемнадцать часов, глаза у них красные от напряжения и болят, но уйти домой после десяти вечера нет никакой возможности.

— Как же вы-то будете работать? Как станете обходить острые углы?

— Обходить противно. Линию ОТК разделяет директор, просил нас не идти ни на какие компромиссы, так что работать можно будет.

— А не боитесь мельницы, способной помять вам ребра?

— Дон-Кихот не боялся.

— Убедительно! — засмеялся Горбушин.

Он расхрабрился и спросил, позволит ли она задать ей вопрос на личную тему.

Брови девушки поднялись и замерли:

— Попробуйте...

— Вам не восемнадцать лет, вы красивы и не замужем. Почему?

— Не знаю, что вам ответить, поскольку задали не один вопрос, а сразу три. Почему я красива, почему мне не восемнадцать лет, почему я не замужем...

— Раз не отвечаете по существу, очко за вами.

Рип, теперь не возражая, полуотвернулась.

— У меня есть подруга в Ташкенте, тоже незамужняя, ей тоже двадцать два года, так она знаете как отвечает на вопрос о том, почему она не замужем? Один груб от собственного величия, другой глуп, третий пьяница, четвертый лодырь, пятый бабник...

— Вот это выбраковка! — захохотал Горбушин. — Прелесть ваша умная подруга... Нельзя с ней познакомиться?

— Нельзя. Она в Ташкенте.

— Жаль...

— Теперь моя очередь на такой же вопрос.

Горбушин помедлил с ответом, поняв, что не он ведет разговор, а она, он в подчинении у нее, и ему это приятно.

— Давайте! — сказал Горбушин.

— Вы никак не моложе меня, а тоже один. Почему не женитесь?

В его расчеты не входило говорить о себе, и он весело пошутил:

— Очевидно, я попадаю под классификацию вашей подруги... Бываю ленив, это раз... Иногда выпиваю, два... Иногда горжусь собой, три...

Теперь она засмеялась:

— Арарат недостатков!

— Арарат не Арарат, но, как говорится...

Рип сказала, что выиграла она, поэтому наказывает его еще одним вопросом, на который он должен ответить ясно, не в пример только что прозвучавшим ответам. Горбушин покорно согласился.

— Вы любите Рудену?

— Ну что вы... — Горбушин растерялся.

— Это не ответ...

— Я не люблю ее...

— А она вас?

— Нельзя быть кровожадной, Рип... Одним вопросом вы уже наказали меня... Лучше скажите, нравится вам это создание?

Навстречу медленно приближался верблюд, высоко держа узкую голову с гордо полузакрытыми глазами. Он тащил порожнюю телегу на деревянном ходу, на ней сидела женщина в черной одежде, и по большому черному платку, концы которого опускались ей на колени, был еще повязан белый платочек, плотно закрывавший лоб. Она низко наклонила голову, поравнявшись с Горбушиным и Рип,— вероятно, чтобы они не рассмотрели ее лица или чтобы она сама случайно не остановила на них взгляда.

И в эту же самую минуту телегу обогнал всадник верхом на иноходце. Надо было видеть, как он промчался!

— Ахалтекинский скакун,— засвидетельствовала, остановившись, Рип. — Лучшая лошадь Средней Азии.

— Да нет, Рип, это какая-то уродина...

— Вы говорите неправду!

И Горбушин стал читать стихи:

— Лошадь
сказала,
взглянув на верблюда:
Какая
гигантская лошадь-ублюдок!
Верблюд же вскричал:
— Да разве лошадь ты?!

Заканчивайте, Рип.

— Стихотворение Маяковского!

— Этого мало. Заканчивайте.

— Я не знаю.

— Тогда признайте себя побежденной со всеми вытекающими последствиями!

— Что с вами поделать... Попалась.

— Налагаю очередное взыскание. Вы должны считать меня своим помощником и при всех нелегких обстоятельствах совстоваться со мной. Или хотя бы говорить о них.

— Да, попалась... — еще раз сказала Рип.

27

Уезжая, Горбушин посоветовал Рудене непременно до конца дочитать «Анну Каренину», но роман никак не читался. Вяло листая страницы, Рудена вяло же и думала: какая тут Анна с ее тревожными сомнениями пойдет на ум, если одолели собственные мысли, хоть плачь? Да и читать было досадно: слишком уж много благородства у героини, это раздражало, вызывало зависть, и своя жизнь казалась серой и жалкой. Вот Анна — жила, да!

Ни на минуту Рудена не забывала о красивой армянке, да и как забыть, если жили они теперь в одной комнате, перед глазами одна у другой каждый день. Опять красивая стала на ее пути. Светка номер два?..

А ведь ей, Рудене, уже надоело делать вид, будто не очень-то и спешит замуж; полюбила Горбушина, не сравнить это чувство с прошлыми ее увлечениями, а чем все кончится? Он равнодушен к ней. А ведь как преданно могли бы любить друг друга...

Скоро он прилетит из Ленинграда. Почему не догадалась попросить его дать телеграмму о вылете? Она

бы встретила его в Ташкенте, обо всем переговорили бы в пути, что не удалось сделать, когда провожала его... Скорее бы Горбушин привез разрешение уехать отсюда!

Она устала от безделья, рехнуться можно. Сегодня и в виноградной беседке посидела, подремала за столиком, и в «Анну Каренину» раз пять заглядывала, и чулок заштопала, и о даче оранжевой сколько передумала — как о наваждении каком-то, от которого не отбиться,— и все на солнце поглядывала: скоро покатится вниз? Будто болванка, раскаленная добела, оно обжигало даже сквозь платье.

Прибежала Муасам отдохнуть в обеденный час, сбросив с себя запачканный известкой комбинезон, упала на кровать, блаженно-громко дыша полуоткрытым ртом, потянулась. Молодец девушка! Бригадир у таких же молоденьких, как сама, девчонок-строительниц и комсорг на заводе. Не расстается с «Записками охотника» даже на работе — изучает русский язык, используя всякую свободную минуточку. Все работают, одна Рудена бьет баклуши!

Правда, первый и второй день после отъезда Горбушина она тоже работала и была довольна, что занята: не так донимали мысли о Никите, об их отношениях. Джабаров предложил своей администрации взломать негодный фундамент и вынести бетон из здания. Спорили недолго. Начальник СМУ Нурзалиев и главный инженер Ким сразу согласились, а главный механик Ташкулов прежде поворчал немного, потом дал согласие; к ним присоединились десятник Файзулин и старый Рахимбаев; не отстал и Шакир, за ним увязалась Рудена, хотя их никто об этом не просил.

Фундамент крушили четырьмя отбойными молотками, передавая их из рук в руки, на простое не были ни люди, ни молотки. Работали споро, может потому, что подшучивали друг над другом. Ей же, Рудене, оказывали всяческое внимание и советовали отдохнуть, уйти домой, уверяя, что это не женская работа, пусть лучше посидит в саду, почитает книжку. Рудене льстило это внимание, она была довольна.

Первый день вот так в охотку трудились десять часов, не выходя из ДЭС, на другой день дела осталось лишь на пять часов, и с фундаментом, о котором, по общему мнению, больше было разговора, чем потребова-

лось труда, благополучно покончили. Осталось залить его по каркасу бетоном, но это отложили до того дня, когда прибудет метлахская плитка и строительницы Муасам начнут ее укладывать на бетон; бетономешалку поставят у ворот, близко, удобно будет залить и фундамент.

Плов, что ли, думала Рудена, научиться варить? Или изюм делать? Все бы время прошло скорее.

— Муся! — сказала она девушке, едва та вытянулась на кровати. — Скажи, пожалуйста, изюм делается или растет?

— Узум из виноград выделывать... Четыре кило винограда, один кило уз-зум... Кишмиш — когда без косточек. Поняла?

— Не очень. А как сделать из четырех килограммов винограда один килограмм изюма?

— Сушить нада на солнце! Потом на базар.

— Зачем на базар?

— Чтобы продать. Нада щелочный раствор бросать виноград, туда, так... — показала рукой девушка. — Поняла, Рудена?

— Понимаю, кажется. Сначала виноград опускают в щелочной раствор, затем сушат его на солнце, и только после этого его можно нести на базар и продавать?

— Да-да-да! — обрадованно закивала Муасам.

Отдохнув немного, она поднялась, взглянула на свои крошечные часики, в комбинезон вскочила за несколько секунд, а перед зеркалом стояла, подводя сурьмой брови, поправляя волосы, усаживая тюбетейку набекрень, минут пять. Затем ловким движением переметнула на грудь восемь черных длинных кос и, заправив их за поясок, побежала, от порога кивнув на прощание Рудене.

Вечером на красное крыльцо вышла посидеть Марья Илларионовна. Рудена, увидев ее, направилась туда же, уселась рядом на ступеньке; накануне вечером они долго сидели вот так, говоря о всякой всячине, поглядывая на дорогу. Горбушина рано было ждать, Рудена понимала это и все-таки с тревогой в сердце ждала, мучая себя горькими предположениями.

— Теть Маш, бинокля у вас нет?

— Зачем тебе?

— Дорогу бы подальше просмотреть.

— Приедет — мимо не пройдет, нечего себе душу рвать. А говорила — только товарищи по работе... — с некоторой укоризной, чтобы вызвать девушку на откровенность, сказала Марья Илларионовна. — Если ждешь сегодня, так хоть оделась бы да причесалась, сидишь лохматая, как черт.

— Не велик командир, тянуться перед ним в струнку! — вспыхнула Рудена и тем снова показала женщине, что ждет Горбушина, ждет с нетерпением.

— Ой ли!... — смеялась Джабарова, колыша на груди халат: было очень жарко.

Неправда вырвалась у Рудены не случайно. Желание показать себя с наилучшей стороны было прямотаки бичом ее жизни. В струнку бы вытянулась перед Горбушиным, лишь бы он не оставил ее. Ведь не может она жить без него...

Когда впервые увидела его — это было в заводской столовке, он обедал и читал книгу,— так первое, что она сделала, чтобы обратить на себя его внимание, купила две газеты и, шумно переворачивая страницы, поглядывала на него, а другая газета, ожидая своей очереди, торчала из кармана спецовки. Знай наших, товарищ Горбушин! Тоже не лыком шиты.

А разве не желание показать себя заставляло ее плясать на улицах?

— Теть Маш, вы снам верите?

— Которые плохие, тем верю, а которые хорошие — тем нет. Хорошие не оборачиваются.

— Только плохие оборачиваются?

— Это уж точно. Особенно если увидишь лошадь.

— Какую лошадь, старую или молодую?

— Нет между ними разницы — что старую увидишь, что молодую.

— Ой, ой, теть Маш... Кажется, бригадир идет с какой-то... Нет, быть не может!

— Отчего же не может? А вот и может... Я сама давно на них гляжу. Похоже, Рипа с твоим Горбушиным. Да нет...

— Она его встречать ходила!.. — трагически произнесла Рудена.

— Ну да, если шагают вместе... Хотя, постой, запамятовала я... Она с Романом начальника поехала проводить на станцию.

— А где машина?

— Григорий Иванович велел Роману со станции катить в совхоз, а ей вернуться домой пешком. Вот так, выходит, и встретились.

Рудену била мелкая дрожь, глаза застлало слезами. Какая-то другая идет рядом с Никитой Горбушиным. И не просто другая — опять эта красавица... А в следующую минуту ей непреоборимо захотелось показать этой Гулян, да и Джабаровой, что бригадир занят... Навсегда занят!

И едва Горбушин и Рип подошли к дувалу, она вскочила, побежала им навстречу, босая, с растрепанными волосами, в распахнувшемся халате, под которым была лишь рубашка, с разбегу кинулась на шею Горбушину и жадно стала целовать его.

Он остолбенел... Виновато глянул на Рип... И она растерялась от неожиданности, а затем насмешка и презрение мелькнули на ее лице, и она быстро направилась к голубому крыльцу. А Рудена, обнимая, целуя Горбушина, поглядывая вслед удаляющейся Рип, восклицала:

— Как ты долго!.. Я чуть не умерла без тебя!.. Почему не дал мне телеграмму о своем вылете? Ведь ты обещал?!

Замолчала она, лишь когда дверь на голубом крыльце хлопнула. Горбушин тяжело снял со своих плеч руки Рудены, понимая, что она уничтожила его перед Рип... Оправдается ли он перед ней хоть когда-нибудь? Вряд ли... Не отмыться! И что это толкнуло Рудену афишировать их отношения перед людьми?

И какие-то другие мысли теснили сознание и казались ему важными, но до конца понять их мешало все разраставшееся чувство вины перед Рип, да и перед Джабаровой, которая, впрочем, дружеским, всепонимающим взглядом смотрела на него и широко улыбалась. Горбушин подумал: это Рудена мстит ему за его безразличие к ней... Одновременно понимал он и другое: открылась возможность положить конец их отношениям, вряд ли будет другой более удобный повод. Он объяснится с ней сейчас же, как только переступит порог комнаты.

С Марьей Илларионовной Горбушин поздоровался, не подняв опущенной головы, затем спросил, дома ли Усман Джабарович.

— С приездом вас, Никита, по батюшке не знаю, уж извините... Усман Джабарович в рабочее время дома не бывает! Правда, сейчас уже вечер...

— Тогда передайте ему, пожалуйста, когда вернется, что я приехал и хорошо бы нам встретиться еще сегодня.

— Сейчас вызову по телефону! — с готовностью ответила Джабарова и поспешила в дом.

28

Шакира в комнате не оказалось, Горбушин это воспринял как удачу. Шакир, проработав с заводоуправленцами два дня на взломе фундамента, сегодня с утра отправился на базар «изучать голодностепское столпотворение» и еще не возвращался, приглядываясь к разноликому, разноязыкому люду, чтобы впоследствии походку или жесты какого-то человека изобразить перед своими друзьями.

— Ты меня удивила, Рудена,— вешая шляпу, сказал медленно Горбушин.

Рудена в таком начале услышала приговор себе и поняла, что надо оттянуть объяснение, иначе ей придется плохо. Пусть Горбушин успокоится, а там видно будет. И заговорила быстро, волнуясь:

— Подожди, ничего не говори! Ты прежде умойся с дороги, ведь смотри, весь почернел от жары... Снимай рубашку, сейчас я приготовлю тебе воду. — И она стала метаться по комнате, невпопад хватая то полотенце, то кувшин, то кружку, то табуретку, чтобы поставить на нее таз. Этой суматохой она как бы признавала свою вину и просила у него прощения.

И Горбушину сделалось жаль Рудену. Что ее толкнуло на такое безрассудство? Любовь... А за любовь нельзя мстить, нельзя быть грубым. Сказать же ей сейчас всю правду — это и будет грубость.

Наконец, его прямо-таки измучили идиотские сандалеты-оплетки, и хотелось скорее их сбросить; теперь, когда он уже не шел, а стоял, они причиняли ему боль куда сильнее, чем на ходу. Он присел, сбросил их, почувствовав огромное облегчение. Затем снял рубашку и молча склонился над тазом.

Рудена стала сливать воду. Мысль ее напряженно работала. Рудене вдруг начало казаться, что не так уж

она и виновата, что готова она защищать себя и даже нападать на него, ведь счет к нему у нее тоже есть.

— Мой за ушами получше, там полно пыли,— тоном приказа посоветовала она.

Горбушин это засек. Понял, что приготовилась к защите. И почему-то его агрессивное настроение еще поутихло.

Он подставлял под струю голову, спину, руки, однако вода не освежала.

— Лей.

— Что сказал Николай Дмитриевич? Побранил тебя за самоволку или обошлось?

— Еще!..

Горбушин шлепал себя ладонями, однако вода была отвратительно теплой и освежения не приносила. Потом он разогнулся, принял от Рудены полотенце.

— Ведь уезжаем, да? — спросила Рудена.

— Ты была права. Скуратов едва не съел меня от злости.

— Серьезно?.. — обрадовалась она. — А чем же кончилось? Уезжаем?

— Кончилось хорошо. Завтра приступаем к монтажу.

У нее начало меняться выражение лица — от мысли, что придется три месяца, если не больше, жить в одной комнате с соперницей, вести с ней молчаливую напряженную борьбу.

Она поставила кувшин на стол и медленно прошлась по комнате, заставляя себя успокоиться, чтобы не ошибиться сейчас, когда ее ошибка может оказаться непоправимой. Нет, не отдаст она Горбушина никакой девчонке, на любую хитрость, подлость, муку пойдет... Счастье к женщине приходит только раз, и надо хорошо его увидеть, чтобы удержать!

Опять остановившись перед Горбушиным, Рудена спросила внешне спокойно:

— Или сроки монтажа удлинили?

Горбушин ответил не сразу. Он крепко растирался полотенцем, ощущая освежение, которого не принесла вода.

— Об этом разговора не было.

— Как не было?.. Для чего же ты летал в Ленинград? С начальством поздороваться?

— Летал выяснить точку зрения дирекции на здешний объект. В общем, решили работать с домкратами и талями по двенадцать часов в день до тех пор, пока прорыв не будет ликвидирован.

И опять было Рудена пошла по комнате, но, сделав три-четыре шага, снова остановилась:

— Дирекция не имеет права заставить нас гнуть спину по двенадцать часов в день. Охрана труда, слава богу, существует. Но ты-то что ответил на такое предложение?

— Да я, собственно, сам это и предложил.

До крайности изумленная, Рудена помолчала.

— А наше согласие, мое и Шакира, ты имел?

— Шакир, я думаю, согласится, а ты как хочешь. Можешь работать по восемь часов.

— Конечно, буду по восемь... — Рудена перевела дыхание. — В таком пекле тянуть талевой цепью трехсоткилограммовые детали... Я женщина, а не подъемный кран... Мне и восемь в таком климате тяжело работать!

— Понимаю.

— Не вижу этого!..

— Подъемом деталей займемся мы, мужики, ты будешь обрабатывать снятые части, как обычно.

— Никита, будь сейчас здесь Шакир, он обязательно воскликнул бы: «Тысяча и одна ночь...»

— А я ничего не вижу удивительного. Пойми, пожалуйста, другого выхода из здешнего тяжелого положения быть не может. Мы же в братской республике. Грош нам цена, если откажемся монтировать дизели.

— Да неправда, удивительное есть. Начинается эпоха атомного прогресса, а мы талевой цепью потянем тяжести, как их тянули при царе Горохе! Конечно, ты скажешь — контрасты были и есть. Но я хочу жить сегодняшним днем, понял?

— Ты плохо живешь сегодняшним днем, Рудена. Вчерашним живешь.

И третий раз она пошла по комнате, внезапно спохватившись, что ошибку все-таки допустила: забыла о предстоящем объяснении, сейчас Никита начнет его... Могла бы на досуге разобраться, работать по двенадцать часов или нет! Наконец, дело же и не в этом. И поспешила переменить тему. Она спросила о первом, что пришло на ум: как поживают его родители?

Теперь, удивленный таким праздным вопросом, Горбушин понял, что она намерена увести его от объяснения, и решил принять игру. Сказал, пожав плечами, что родители живут любопытно. Вот, например, подарили дачу детскому дому.

У Рудены даже рот приоткрылся. У нее сделался такой ошеломленный вид, будто ее неожиданно и больно толкнули в спину. С трудом дыша, она сказала:

— Ты шутишь... Оранжевую, в которой я прибирала?

— Другой у нас не было. — Горбушин смотрел на нее, не в состоянии понять, что ее так сразило, что все это означает.

— Да они, видно, спятили там... Или решили, что живут при коммунизме?

— Я тебя не понимаю.

На это она не обратила внимания.

— Четырнадцать венецианских окон, дубовая лестница, балконы, фонари...

— А тебе-то что? — повысил голос Горбушин.

— Как что?!

— Очень просто! Дом отца, захотел и подарил.

Теперь она глядела на него зло. Действительно не понимает или притворяется?.. Неужели надо объяснять, что эта дача для него, для нее, для их будущих детей? Ведь станет он со временем начальником цеха, не два же века жить задыхающемуся Николаю Дмитриевичу, да и на пенсию ему пора, а он, Горбушин, самый перспективный в цехе на эту должность! И она, мать, хозяйка, уже не работая на заводе, будет в Гатчине вместе с детьми встречать его, возвращающегося с работы. Как он не может этого понять?!

Она заговорила громко, бурно — слишком велик был напор чувств:

— Но ты-то хоть возразил отцу или нет?.. Попытался доказать, что дом он получил в наследство от своего отца и должен своему сыну передать его в наследство, как эстафету, что ли? Он же ограбил тебя, Никита!.. Или не понимаешь?

— Нет, не понимаю.

— Я говорила тебе когда-то, что время добрых чувств прошло, деловой у нас мир, а теперь убеждаюсь, как ты отстал от времени. И поэтому ничего не понимаешь. — Она взяла его за руку. — А хочешь, я верну

тебе дом? Подожди, не перебивай меня... Дай сейчас записку, что протестуешь против решения отца... Я через час выеду, утром буду в Ташкенте, в полдень — в Ленинграде и сразу же, не заезжая домой, отправлюсь в лучшую юридическую контору, и ты увидишь, что мы победим. Ты увидишь это завтра уже из моей телеграммы... Ну? Отец не имел права без твоего согласия так распорядиться домом. Наконец, в самом худшем случае, если придется обратиться в суд, тебе присудят полдома. Тяжба с отцом не очень-то красива, я понимаю, но предоставь все мне, я сама пройду через эту грязь, ты в стороне, и у тебя будет дача, какой сам ты ни в жизнь себе построить не сможешь.

Горбушин заговорил холодно, медленно. Хотел, чтобы каждое слово было ею понято.

— Рудена, давай говорить о главном. Мы не те с тобой люди, которые могут создать хорошую семью. А зачем увеличивать армию неудачников?

Она смотрела на него, остывая от волнения, с которым только что говорила.

— Почему не сможем?.. Откуда ты это взял? Я люблю тебя. Я стану заботливой, верной женой, и все у нас пойдет хорошо!

— Позволь договорить, Рудена... Да, у нас с тобой до смешного мало общего... Это я предложил заводоуправлению план работать по двенадцать часов и достаточно попортил себе крови, прежде чем оно согласилось. А ты как отнеслась к этому? Дальше. Отец советовался со мной, когда решил отдать дом детям. Как бы я к этому ни отнесся, но оспаривать право отца через суд дико для меня. Нелепо! Как дико мне и твое поведение сейчас... Почему, на каком основании ты всю эту историю с дачей восприняла как личное оскорбление, за чужой для тебя и уже не существующий дом рвешься в драку с моим отцом, которого никогда не видала, не имеешь о нем представления? Не надо нам строить дом на песке. Не надо, Рудена!

Рудена заплакала.

— Я уехать отсюда хочу! И не потому, что пугает двенадцатичасовая работа,— цех знает, как я работаю. Ты не догадываешься, почему я рвусь отсюда?

— Вечер, проведенный нами в Гатчине, мы должны признать ошибкой. С сегодняшнего дня нас будет свя-

зывать только работа,— заключил Горбушин и стал закуривать.

У Рудены сильнее полились слезы.

— Тебе легко так рассуждать... А я люблю... Ты обо мне подумай — как стану жить? — Она подошла к нему, прижалась головой к его груди. — Давай уедем отсюда, Никита... Во всяком другом месте я готова тянуть с тобой любые тяжести любой цепью, любое количество часов... Никита!

Он отстранил ее от себя и продолжал говорить со всей решительностью:

— Не стану больше обманывать тебя и себя. Я ничего не испытываю к тебе, кроме желания забыть то, что было. Ничего у нас никогда не будет.

Она вытерла слезы с побледневшего лица и молча направилась к двери. Полуоткрыла ее, остановилась.

— Ну, если так... Набиваться тебе я не стану. Но ты еще одумаешься... Имей в виду: ты скоро будешь отцом!

И вышла.

29

Лариса — и Рудена?.. Как это могло случиться?

И захотелось Горбушину вспомнить чудесное, незабываемое: ведь утопающий хватается за соломинку... Последние минуты их радости были тогда, оказывается, у Финского залива, на Стрелке, когда оба вышли из воды и Лариса носовым платком, смеясь, вытирала волосы, розовое, счастливое лицо, а он, Горбушин, другим платком вытирал ей плечи.

Он старался удержать в памяти эту картину, но внезапно появилась другая: Лилия Дементьевна со страдающим видом рассказывает ему, как Ларису старались спасти, делали все для этого, но воспаление мозга было как пожар, не помогали самые сильные средства...

До чего же невероятное случается иногда... Сам убил незаменимо единственного для себя человека, свою радость, четыре года тянется его одиночество, и сколько его еще впереди?

Тогда, по возвращении из Молдавии в Ленинград, он всю ночь простоял у могилы Ларисы, не в состоянии отойти от нее, забыв, что окружает его лес крестов и памятников. Позже узнал он — был на кладбище не один. В нескольких шагах от него сидел на скамье у

какой-то могилы Шакир, курил в кулак и не сводил с друга взгляда.

А теперь он станет отцом ребенка от женщины, совершенно ему чужой. Эта беда тяжко давит душу, готова, кажется, раздавить ее... Кому нужен этот ребенок? Ему? Ей, Рудене? Вряд ли, ведь он может помешать ей устроить свою жизнь с другим человеком.

Мало сказать, что он не любит Рудену. Она неприятна ему своей вульгарностью, которая так часто прорывается в ней. И это началось еще там, в Гатчине, когда шли к вокзалу и она, повиснув на его руке, что-то нежно ему бормотала, а он в эти секунды, донельзя удрученный, думал: «Неужели надо было сойтись с другой женщиной лишь для того, чтобы острее почувствовать твое отсутствие, милая Ларка? Ведь я даже память о тебе люблю бесконечно больше, чем это живое существо, шагающее рядом».

Горбушин долго ходил по комнате. Он слышал в себе мелодию, которую играла ему Лариса светлой ночью в Екатерининском сквере, и боль овладевала им при мысли, что он будет отцом.

30

Если бы Джабарова и решила ждать возвращения мужа с завода, то все равно у нее не хватило бы на это терпения,— его дело стало ее делом, ее радостями, ее неприятностями.

Она по телефону сообщила мужу: вернулся из Ленинграда бригадир сборщиков, просит его прийти. И вскоре Джабаров, сменив дома рабочий комбинезон на домашний халат, туфли на дерезянные сандалии, что звучно хлопали его при ходьбе по пяткам, и вместе с ним Григорий Иванович Ким и Дженбек Нурзалиев появились в комнате Горбушина. Живейший интерес читался на их лицах. Джабаров остановился, лишь переступил порог, взгляд его задержался на бригадире: «С чем вернулся?» — спрашивал он. Улыбались Ким и Нурзалиев.

— Салам алейкум, бригадир! — поднял Джабаров руку. — Голодная Степь — Ленинград — Голодная Степь за три дня? Ты не бригадир, ты сокол!

— Сокол целый месяц летал бы два таких конца,— засмеялся Ким. — Шаровая молния, товарищ Горбушин!

Поздоровавшись с каждым за руку и попросив всех садиться, Горбушин усилием воли заставил себя сосредоточиться. Он сообщил о решении дирекции «Русского дизеля».

Нурзалиев вскочил, взмахнув руками, расцеловал Горбушина.

— Хоп-хоп! Джигит! Я сразу в тебя поверил. Им что, Киму и Джабарову? Не построился завод — бей подрядчика, вешай дохлая кошка на него! — гремел замечательным баритоном Нурзалиев.

Посветлел лицом и директор. А Ким, удовлетворенно пошевелив губами, сказал:

— Иного решения я не ждал.

Но им, конечно, мало было узнать о выводах ленинградского начальства, все трое хотели услышать подробности о том, как же происходил разговор. Горбушин удовлетворил их любопытство, затем передал Джабарову письмо, адресованное первому секретарю райкома Бекбулатову, и попросил отправить с посыльным, если не поздно, сегодня же.

Джабаров рассмотрел конверт, покачал на ладони, определяя его вес.

— Сегодня, пожалуй, поздно... Что в нем?

— Дирекция завода, партийный и заводской комитеты просят райком помочь нам, шеф-монтерам, выполнить свои обязательства перед хлопкозаводом.

Ким прострочил легкой скороговоркой:

— Легко сказать — просят! Как это сделать? Ваши товарищи предлагают что-нибудь конкретное?

— У них сложилось одно мнение: на постройку ДЭС поставить временных рабочих. Без этого станцию в срок не пустить.

— Это нетрудно сказать, дорогой товарищ Горбушин! — смеялся Ким. — А где взять рабочих? Снять с хлопкоуборки? Этого нам никто не позволит. Так где?

Горбушин вспомнил наказ своего заводоуправления не навязывать людям ленинградского решения и промолчал, пожав плечами, ожидая дальнейших вопросов.

Ким и Нурзалиев, однако, вопросительно смотрели на Джабарова, ожидая ответа от него, так как уже знали, что Горбушин накануне отъезда в Ташкент весь вечер просидел у директора и что-то они обсуждали...

Джабаров понял их. Он уклонился от ответа, обратившись к Горбушину:

— «Русский дизель» не предлагает райкому снять с уборки какое-то количество колхозников, чтобы поставить их на ДЭС?

— Нет.

— Слава аллаху... Теперь Айтматов не будет во всем обвинять меня.

Слова директора подхватил Нурзалиев: его земляк из Таласа, второй секретарь райкома Айтматов, конечно же, ни одного колхозника снять с поля никому не позволит, потому что во время массовой уборки и сам готов собирать хлопок. Секретаря можно понять: уборочная страда!

Джабаров не согласился, напомнив Нурзалиеву, что письмо адресовано Бекбулатову, ему и решать. Вопрос не малый: начнет мощный хлопкозавод работать в плановый срок или не начнет? Никто не спорит, победить соседний район в соревновании и получить знамя республики, награды колхозникам хочет каждый. Однако же и сдать новостройку в эксплуатацию по плану — тоже честь и радость людям.

А Нурзалиев продолжал весело упорствовать, поправляя волосы расческой: схватки с товарищем Айтматовым не миновать, и он уверен — земляка не победить. Горбушин это запомнил.

Вошел Шакир. Принес, прижимая к себе, как носят грудного ребенка, завернутую в мохнатое полотенце длинную чарджуйскую дыню, распространившую аромат по комнате.

— Салам алейкум, Никита-ака! Что поступает в мой почтовый ящик?

— Письма от матери и Халиды, но ты ими займешься после. Принимай участие в обсуждении.

— Завтра на работу?

— Да.

— Порядок! — хохотнул Шакир. — Поиграемся с талями и домкратами?

— И по двенадцать часов в день. Возможно, приедут к нам еще трое, но об этом после... Садись, говорю!

Но Шакиру захотелось прежде угостить всех дыней, он нарезал на подоконнике аппетитно тающие ломти, затем подал их на двух тарелках на стол, говоря, что раскромсал дыню на столько полос, сколько насчитал

их на халате директора. Доволен Усман Джабарович?

— Не надо дыни... — поморщился Джабаров.

— При такой собачьей жаре? — не поверил Шакир.

— Он что-то понимает в жаре! Я просил сегодня жену приготовить мне ватник!

Шакир стал есть дыню, подавая пример другим. Ловко, звучно подхватывая нижней губой обильно льющийся сок, он скоро стал помогать Горбушину в его разговоре с заводскими, тем более что заметил: друг чем-то расстроен.

— Дженбек, ты когда дашь нам обещанных слесарей? — Проработав с администраторами два дня на взломе фундамента, Шакир ко всем теперь обращался на «ты», кроме стариков Рахимбаева и Ташкулова.

— Завтра дам. Пожалуйста. Нурзалиев слово держит.

Джабаров посмотрел на него недоверчиво, потом сказал Шакиру, чтобы не верил Дженбеку — обманет. Впрочем, он, директор, лично проверит, каких мастеров Дженбек поставит на ДЭС.

— Проверяй! — закричал ему Нурзалиев, опять выхватив из карманчика расческу. — Акрама Бабаева дам. Рахимбаева спроси, хвалит слесаря.

— Кто Бабаев, почему не знаю?

— Таджик, у нас недавно. Работал в паровозном депо в Ташкенте, потом пошел помощником машиниста на локомотив. Катар живота у Бабаева, нужны три таблетки в день. Врач сказал: бросай паровоз, живи дома, пей кок-чай, здоровым будешь.

— Проверю. Кого еще?

— Мурата Алимжанова... — И повернулся к Горбушину: — Парень год назад демобилизовался с флота, мотористом служил в Североморске. Моторист, слесарь, немножко тракторист.

— Мурата согласен. Кто третий?

Горбушин заметил Джабарову: слесари также должны будут работать по двенадцать часов ежедневно, их надо об этом предупредить.

— Мурат не согласится много работать. Парень! Ему к девушкам по вечерам надо бегать,— сказал Ким.

— Мурат комсомолец, ты забыл?

— Комсомольцы к девушкам не бегают?

— Бегают! Не мешай, пожалуйста... Кто следующий, Дженбек? — хмурился Джабаров.

— Гаяс Абдулин, новенький у нас, башкир, слесарь большого класса. Я его сманил из совхоза, так директор обещает мне голову оторвать. У Гаяса тринадцать детей, этот станет много работать: не семья, инкубатор. Мы с Ташкуловым временно поселили его в двухкомнатной резервной квартире.

— Когда поселили?

— Вчера. Ты в Ташкент, в трест, ездил.

— Завтра после работы пойдем к нему смотреть, как устроился. Хорошими слесарями разбрасываться нельзя,— заключил Джабаров.

Шакир предложил прислать на ДЭС всех троих — начнут работать, и станет ясно, кто на что способен. А начнется работа с шабровки параллелей, дело тонкое и точное, квалификацию каждого сразу покажет.

Джабаров попросил Шакира сходить к Марье Илларионовне, пусть позвонит в райком партии — там ли еще Бекбулатов? Случалось, он работал допоздна. Шакир вытер мокрые от дыни губы и исчез за дверью.

Заговорили снова о письме, и Джабаров назвал Кима пессимистом: не верит, что завод будет пущен в срок. Ким улыбался с чувством превосходства и молчал, но вдруг кинулся в наступление: не пессимизм, не иждивенческое настроение владеют им, он знает историю освоения Голодной степи и верит, что ленинградцы помогут им вырваться из прорыва.

— Не ты один знаешь историю освоения,— не уступал Джабаров.

— Докажи, если знаешь ее не хуже меня! — смеялся Григорий Иванович.

Ленинградцы услышали много интересного для себя. Восемьдесят лет назад Петербург прислал в Голодную степь великолепные мощные гидронасосы, затем приехали механики с Балтийского завода, установили их,— это были первые машины, разбудившие многотысячелетнюю тишину великой соленой пустыни. Насосы десятилетия отменно трудились, прежде чем вышли из строя,— качали воду на плантации первых русских поселенцев, отставных солдат, их детей и внуков. И механики Нобеля в десятые годы нашего века привезли в Голодную степь небольшие дизелечки, сильные для своего времени, смешные в наших глазах: с высоким шкивом и свистящим, хлопающим ременным приводом.

А в двадцать пятом году советское правительство прислало сюда партию новейших дизелей уже без ременного привода, следом за ними явились механики-сборщики монтировать их. В пятьдесят четвертом шеф-монтеры Горбушин, Курмаев и Яснопольская начнут собирать машины с генераторами — более тяжелые, более мощные дизели. И уже многие знают, что вскоре со знаменитой ленинградской «Электросилы» прибудут агрегаты и необходимое оборудование для единой энергосистемы, на которую переведут все хозяйство республики. Не излишне вспомнить и Путиловский, ныне Кировский, завод, он тоже приложил руку к освоению этой местности, прислав партию тракторов «фордзон-путиловец» еще в те дни, когда трактора только-только начали выходить из ворот завода. Голодная степь была и навсегда останется родной сестрой Ленинграду.

Теперь Джабаров, слушая Кима, отличного инженера, не возражал.

Вернувшийся Шакир вскинул руку к виску:

— Разрешите доложить! Первый секретарь товарищ Бекбулатов находится в райкоме!

Директор поспешно встал.

31

Как только заводские ушли, Горбушин рассказал Шакиру о состоявшемся разрыве с Руденой. Он ожидал сочувствия, понимания, советов. Он ошибся. Шакир мрачно выслушал его

— Я вообще не понимаю, зачем мы взяли ее с собой. Разве не привыкли работать вдвоем? Справились бы без нее, надо было только убедить в этом Скуратова. А что теперь?.. Какую можно ожидать от нее работу? Ребенок... Кошмар!.. И мне жаль ее, если хочешь. Что будет, если ты не женишься на ней?

— Никогда не женюсь,— сказал Горбушин.

— Ничего ты сейчас не знаешь, оглушен новостью и поэтому не способен думать. А вот успокоишься и, может быть, решение переменишь.

Слова Шакира, проникнутые удивлением, огорчением, укором, усилили тяжелое состояние Горбушина, и он в крайнем беспокойстве провел наступившую ночь. Вот уж когда было не до сна! Он взвешивал настоящее и заглядывал в завтрашний день, честно стараясь

определить свое отношение к Рудене. Пытался представить ее женой, матерью их ребенка, думал о том хорошем, что безусловно было в ней,— ведь умеет же она прекрасно работать! Он говорил себе, что она любит его, а он после Ларисы, наверное, никогда не сможет полюбить, так не все ли равно, на ком жениться?

Да, он очень хотел найти в себе добрые чувства к Рудене — хоть жалость, что ли... И не мог. Перед ним возникали как бы три женщины разом. Одна умела по-детски нежно лепетать, когда ласкалась к нему, в эти редкие минуты была искренней и простой. Другая оказывалась вдруг мелочной, расчетливой, раздраженной, а это пугало его. Что значит разговор о даче, о наследстве? Неужели, уверяя его в любви, на самом-то деле она норовит заглянуть в его карман?.. В третьей он чувствовал что-то от плохой актрисы. Не надо ему такой жены...

Или этот разговор с Руденой, врезавшийся в память, об «Анне Карениной»...

— Да ну тебя, Никита! — смеялась она. — Есть время рабочему человеку читать такие толстые книги! Нашелся свободный час, так отдыхай или какой-нибудь халтурой стремись заколотить лишнюю десятку, она всегда пригодится.

Горбушин выслушал это улыбаясь.

— Человек, который ничего не читает, похож на скота, жующего лишь то, что у него перед носом... — сказал он.

Рудена, видимо, задумалась над этой его фразой. Вскоре она взяла в библиотеке «Анну Каренину», неделю мучилась с романом дома, затем, как наказание себе, привезла его в Среднюю Азию.

32

Утром шеф-монтеры отправились на завод в рабочих комбинезонах. Горбушин и Рудена ни говорить, ни смотреть друг на друга не могли, им даже рядом идти было трудно, поэтому Шакир, оценив ситуацию, шагал между ними, пытался шутками сломить лед, но это ему не удалось. Постепенно замолчал и он.

У ворот ДЭС их встретил десятник Файзулин в испачканной строительным раствором робе и предложил свою помощь. По-русски он говорил плохо, Горбушин так и

впился в него взглядом, силясь понять хоть что-нибудь, и тут увидел: щеку десятника пересекал шрам от сабельного или ножевого удара; шрам уже сгладился от времени, и заметить его можно было лишь вот так, вблизи.

По распоряжению Файзулина рабочие принесли ящик с инструментом и два тяжелых брезента в скатках. Брезенты раскатали перед фундаментами, на ящиках отколотили верхние доски. Среди множества разнообразных ключей и всякого другого инструмента, тщательно отобранного в Ленинграде и проверенного Николаем Дмитриевичем, Горбушин выбрал завернутые в бумагу и мешковину плоские и трехгранные шаберы: обычные напильники, с нижнего конца хорошо заточенные; один протянул Рудене, другой Шакиру, третий взял себе.

Шеф-монтеры приступили к работе. Металлическую плиту с идеально отшлифованной до зеркального блеска поверхностью Горбушин покрыл черной краской, затем накрашенной плоскостью стал водить по чугунной лапе фундамента. Фундамент напоминал перевернутые вверх полозьями сани, только был шире и длиннее их. Краска на контрольной плите показывала все бугорочки на параллели фундамента. Эти многочисленные бугорочки Горбушин, передав плиту Шакиру, стал снимать своим острым, как бритва, шабером.

Это и есть шабровка, работа тонкая и точная, о которой накануне говорил Шакир. Пришабренной считается та лапа-параллель, когда между ней и параллелью дизеля уже еле втискивается тоненькая металлическая пластиночка диаметром в пять десятых миллиметра — щуп. Горбушин шабрил с высокой точностью: в пространство между фундаментом и машиной с трудом втискивался щуп уже только в три десятых миллиметра... Подобная работа на заводе считалась искусством.

Шабрили часа два не разгибая спины, все вспотели. Шакир заявил:

— Клянусь остатками моей совести: при здешней температурке не вытянешь двенадцати часов, от восьми загнешься. Поэтому с завтрашнего дня Шакира Курмаева будут украшать одни трусы. Комбинезон — в архив, майку — в ломбард!

Горбушин объявил перекур. Рудена, затягиваясь дымом папиросы, с параллели не встала. Горбушин и Шакир отправились к воротам, так как разговор втроем явно не получался.

Небо затянули шапки-облачка. Солнце еле пробивало их, опуская к земле косые золотистые лучи, которые казались то столбами, то гигантскими зажженными свечами. Пахло хлопком, степью, яблоками, чем-то еще.

Джабаров говорил Горбушину и Шакиру, когда они пили у него молодое вино: «Из любой страны привези сюда узбека с завязанными глазами — и он по запаху узнает, что попал на родину».

Вдыхая горячий воздух и поглядывая на необычное небо, Горбушин почему-то вспомнил «Волшебную флейту» Моцарта, которую недавно слушал с отцом и Лилией Дементьевной в Филармонии.

Друзья увидели направлявшегося к ним из-за главного корпуса довольно странного человека в широких брезентовых штанах, голого до пояса. Брезентовую куртку, закинутую за спину, он нес за ворот. Шагал с подчеркнутым достоинством, как король в классических пьесах.

— Салам алейкум, инженеры! — сказал он важно. — Я Гаяс, меня назначили к вам собирать дизели.

Шакир по-восточному поклонился ему, приложив руку к губам, затем ко лбу и сердцу.

— Алейкум ассалам, уртак Гаяс... Мы рады твоему приходу, но должны избавить тебя от одного заблуждения: мы только слесари-сборщики, а не инженеры.

— Студентов пятого курса сам аллах назовет инженерами!

— Кто тебе это сказал? — еще раз поклонился Шакир, польщенный такой осведомленностью пришедшего. Он смотрел на Гаяса с любопытством, вспоминая вчерашний разговор: тринадцать детей у этого Гаяса, не оттого ли так важно шагает человек?

— Мне Дженбек Нурзалиев сказал, а кто ему сказал, спрашивай у него,— ответил Гаяс.

Завязался разговор о машинах. Пришедшему хотелось узнать, какие дизели — четырех- или шестицилиндровые — придется собирать; Горбушин и Шакир отвечали. Беседа прервалась лишь с приходом Нурзалиева и еще двух слесарей.

— Принимай обещанных, Горбушин-ака! — еще издали весело закричал Дженбек. — Нурзалиев свое слово держит. Кровь моя из сердца льется, но я с удовольствием отдаю тебе мастеров!

Бригадиру, а затем Шакиру протянул руку румяный красивый парень с большими синими глазами, Мурат Алимжанов, недавно демобилизовавшийся в Североморске. А второй слесарь, пожилой, тщедушного телосложения, был Акрам Бабаев.

Никто из рабочих не сходится так быстро, как слесари, мастера «от скуки на все руки», и это прежде всего потому, что у них универсальная специальность. Хороший слесарь может работать на многих станках и эти же станки разбирать и собирать, производить любой ремонт, а также ремонтировать самые разные машины, моторы и делать многое другое. Поэтому и знакомство у них обычно начинается с расспросов о том, кто где работал, с какими машинами, моторами, станками имел дело. И как рыбаки хвастают непомерными уловами, так слесари, особенно малознакомые, врут друг другу не приведи бог как.

Занятые выяснением этих интересных сведений друг о друге, они все сообща закурили папиросы Горбушина, кроме Гаяса: тот обнародовал кисет с самосадом и заявил, что курит только свой. Начальник СМУ напомнил о приказе дымить лишь внутри здания, и непременно в одном месте, а не вот так у ворот, что особенно нетерпимо во время массовой приемки хлопка. Пожар на хлопкозаводе возникает легко и тушится с невероятными трудностями. Потом Дженбек Нурзалиев отправился за плотниками, чтобы те сегодня же занялись сооружением тяжелых передвижных деревянных козел.

Мурата и Акрама Горбушин посадил друг против друга шабрить одну параллель, Гаяса оставил у себя, усадив его на ту же параллель, на которой работал сам, но с другой стороны. Он хотел убедиться, так ли высоко его мастерство, как о том говорили накануне. И с беспокойством поглядывал на новых помощников: что собой представляют по характеру, по умению? Ведь какая ответственность лежит на нем, а с кем ее разделить? Кто будет помогать? В Ленинграде дал обещание справиться с трудностями, а твердой уверенности нет. Может подвести бригада! От нее зависит все. Рудена уже отказалась работать по двенадцать часов, он еще не решился сказать об этом остальным. Проверять сделанное каждым Горбушин стал в конце дня и сразу же взгрустнул. Акрам и Мурат показали себя работниками посредственной квалификации. Один до прихода на хлопкозавод работал

помощником машиниста на железной дороге, другой служил во флоте мотористом. Чего от них можно было ждать? На «Русском дизеле» их взяли бы только подручными. Им надо показывать, подсказывать, сделанное ими поправлять. Иное — Гаяс Абдулин, король в брезентовых штанах. Он шабрил «на канареечный глаз» и очень быстро. Горбушину чуточку полегчало, когда он рассматривал шабровку Гаяса.

33

Вечером в комнату шеф-монтеров заглянули Джабаров и Нурзалиев, направлявшиеся проверить жилище Гаяса. Они предложили Горбушину и Шакиру составить им компанию, те согласились.

На улице, когда вышли за дувал, директор сообщил новость. Завтра в десять утра совещание в райкоме партии по поводу присланного из Ленинграда письма. Вызываются он, директор, Ким, Рахимбаев, Нурзалиев, приглашается представитель «Русского дизеля» товарищ Горбушин.

Никита несколько встревожился после этих слов директора, а когда тот задумчиво прибавил, что борьбу с Айтматовым выдержать все-таки придется, спросил себя: ну, а если верх в споре возьмет второй секретарь и с ним согласится первый, что тогда? Вернуться в Ленинград? Нет... Тогда бороться!

Гаяс удивился, увидев на пороге своего жилища целую делегацию. Он и дома ходил без рубашки, босиком по крашеному полу, но не в парусиновых штанах, а в широких синих. Таджихон, его жена, с большими измученными глазами, беременная, растерялась, вопросительно посматривая на мужа, на вошедших. Смелее матери повели себя малыши, мал мала меньше. За исключением двух-трех старших они подступили к чужим людям в тесном коридорчике и оживленно что-то заговорили на башкирском языке; Шакир присел к ним, стараясь разобраться, кого больше, мальчиков или девочек, и ничего не понял. На всех цветастые рубашки-платьица, и лишь у двоих волосы заплетены в косички.

Нурзалиев с откровенной завистью смотрел на эту роту маленьких. Своих детей у него не было, он жалел об этом.

Джабаров не стал тратить время на пустые разговоры. Он дружески положил руку на плечо хозяина:

— Скажи, пожалуйста, Гаяс, ты беспартийный?

— Член партии.

— В какой парторганизации состоишь ты на учете?

— В совхозной, товарищ директор.

— Ай-яй-яй,— испугался Джабаров. — Тебя же возьмут обратно... Как можно сманить коммуниста?

— Меня никто не сманивал, я сам ушел по причине бездушного отношения. У меня сколько ртов? Можешь посчитать. Со мной и женой пятнадцать, будет шестнадцать. Я предупреждал парторганизацию: уйду, если не дадите большую квартиру. Двадцать семь метров, две комнаты, как жить? Уйду и от тебя, если не переменишь эту площадь.

— Гаяс... — посветлел лицом Джабаров,— мы дадим тебе самую большую квартиру. Твои дети подрастут, станут работать на нашем предприятии. Мы завод строящийся, у нас перспективы, сам понимаешь...

Таджихон застенчиво прибавила к словам мужа:

— Совхоз три года обещал создать условия. Ждали три года. Должны мы беспокоиться о детях?

— Хозяйка, я если обещаю, то помню. Мы таким семьям рады, вы кадры заводу растите.

Нурзалиев, не отводя взгляда от ребят, поманил к себе малыша лет четырех, совершенно голого, с грязным животом. Тот подошел к нему.

— Родители, отдайте мне этого. Как зовут?

— Абдулкой зовут,— сказал Гаяс. — Таджихон, отдадим?

— Нам самим, пожалуй, мало,— улыбнулась Таджихон.

— Слышал, начальник? Твоя просьба отменяется.

— Зачем вам столько, не прокормите. Еще будет,— настаивал Нурзалиев.

— Мы не прокормим? Мы прокормим. Еще будет шесть, чтобы стало двадцать. Мы так запланировали. Таджихон, чем станем угощать гостей?

Мать-героиня быстро, с веселым удивлением взглянула на мужа, словно хотела ему сказать: «Да ты что?» И вдруг нашлась:

— Угостим, Гаяс! Ты сыграй на дайре, я возьму дутар. Дети потанцуют, гости посмотрят.

Затем она обратилась с благодарной улыбкой к Нурзалиеву, довольная, что он просит у нее Абдулку, а значит, Абдулка очень хорош. Да, ей льстило это внимание мужчин к детям и хотелось, чтобы они еще говорили о них.

Потом достала из комода небольшой бубен с вделанными в него колокольчиками, понесла на кухню. Шакир проводил ее понимающим взглядом: кожу на дайре следовало подогреть над огнем, она туже тогда натянется и лучше зазвенит. Детей охватило веселое оживление. Абдулка уже приплясывал, прижав локти к бокам, воображая себя на коне.

— Детский сад,— заметил Джабаров.

— Дворец пионеров! — вздохнул Нурзалиев.

Таджихон вернулась с дайрой и дутаром, малыши встретили ее дружными возгласами. О дутаре в Средней Азии шутники говорят: «Палка, три струны». Однако из такой палки умелые руки извлекают отличную колоритную музыку, в этом Горбушин убедился в следующую минуту. Дутар Таджихон взяла себе, мужу дала дайру, и концерт начался после того, как дети построились в два ряда посреди комнаты.

Гаяс ударил по дайре пальцами обеих рук, потом часто стал вскидывать ее над головой и там потрясать, отчего колокольцы прямо-таки заливались дробным звоном. Дети побежали ряд на ряд, потом рассыпались, закричали, запрыгали, начали кружиться. И тут запела их мать по-русски:

Шел один верблюд домой,
А за ним верблюд другой.
А потом еще верблюд,
И четвертый тут как тут!

Дети вразнобой повторяли ее слова по-башкирски, кружились все быстрее.

— Абдулка, придерживай свою штучку, оторвется! — радостно хохотал Нурзалиев.

Мальчонка вошел в раж. Он колотил по полу пятками, высоко поднимая ноги, прижав локти к бокам. Он скакал на лошади. Другие мальчишки свою радость выражали точно так же, а девочки кружились на одном месте, положив ладони на голову, как делают танцовщицы Средней Азии, и теперь не трудно было разобраться,

сколько у Гаяса и Таджихон сыновей, сколько дочерей. Шакир насчитал шесть девочек, семь мальчишек.

Неожиданно в пляс пошел и он, отчего ребята поначалу смешались, потом окружили его, и танец набрал новый темп. Одобрительно улыбались Джабаров, Горбушин, Нурзалиев. Таджихон неутомимо все повторяла по-русски, но с заметным акцентом, одно и то же:

Шел один верблюд домой,
А за ним верблюд другой.
А потом еще верблюд,
И четвертый тут как тут!

Нурзалиев шепнул Джабарову:

— Знали, сколько тут ребят, и никто не принес конфеток. Яман!

Стемнело, когда хозяева и их старшие дети вышли на дворик проводить гостей. В сдержанности, с какой Гаяс прощался с мужчинами, те снова почувствовали его большое самообладание и даже некоторое самолюбование. Потом заводоуправленцы и Шакир с Горбушиным снова шагали по дороге, и директор говорил, что сегодняшний день он считает удачным. Пришел на завод и останется навсегда многосемейный человек, что очень важно и ценно. Подрастут кадры для завода. В хлопкопромышленности люди не задерживаются, к сожалению, а почему? Заработки ниже, чем у строителей и хлопкоробов. К легкой промышленности отнесены хлопкозаводы, говорил он с досадой и иронией, а какие они «легкие», если самые горячие и необычайно запыленные? Летом в цехах под железной крышей — а железо-то накаляется — температура часто бывает около пятидесяти градусов, работающих окружает грохот механизмов и горячая хлопковая пыль, от которой трудно дышать. Всю жизнь ему хочется узнать, заключил Джабаров, кто это квалифицировал работу на хлопкозаводах как легкую?

34

Утром все вызванные в райком партии собрались в кабинете первого секретаря Джуры Каюмовича Бекбулатова. Секретарю лет сорок, а может, и меньше. На нем хорошего тона легкий темно-серый костюм и синяя рубашка с черным галстуком. Темно-рыжие, несколько необычные для узбека волосы коротко подстрижены, за

стеклами очков поблескивают глаза с легким прищуром. Бекбулатов напоминал собой энергичного молодого ученого.

У открытого окна, положив руку на подоконник, сидел Айтматов все в том же просторном чесучовом костюме, в котором Горбушин увидел его неделю назад, соломенную шляпу он держал на коленях. Выражение крупного усталого лица спокойно-равнодушное. Он и сегодня, как обычно, собирался с утра выехать в колхозы, внезапное совещание вызвало у Айтматова недоумение. О чем совещаться? Почему он, второй секретарь, ничего не знает?

А Горбушин и подумать, конечно, не мог, что совещание начнется с вопросов к нему. Голос Бекбулатова, резковатый от акцента, зазвучал неожиданно:

— Это вы, товарищ Горбушин, привезли нам письмо из Ленинграда?

— Я.

— Вы знакомы с его содержанием?

Горбушин невольно помедлил.

— В общих чертах...

— Вы и ваш товарищ члены партии?

— Комсомольцы.

— Оба инженеры?

— Слесари шеф-монтеры и студенты пятого курса заочного Ленинградского политехнического института.

Потом Бекбулатов стал читать письмо, перечень настолько хорошо известных всем присутствующим фактов, что Ким и Нурзалиев не удержались от искушения быстро взглянуть на Джабарова. Тот сидел у стены, низко склонившись, смотрел в пол: я не я и хата не моя... У Айтматова оживилось, как бы вытянулось лицо, минуту назад такое равнодушное.

Все присутствующие внимательно слушали критику недостатков, указанных в письме. Прочтя под ним подписи, Бекбулатов обратился к Киму:

— Главный инженер, правильно сообщается о прорыве на строительстве электростанции?

— Совершенно правильно! — и Ким так заерзал на стуле, будто он сделался под ним горячим.

— Начальник СМУ?

— Факты приводятся правильно.

— Джабаров?

— Согласен с выводами «Русского дизеля».

— Дилдабай Орунбаевич,— помедлив, продолжал Бекбулатов,— что же у нас получается? Положение со строительством угрожающее, а я об этом узнаю не от вас, из Ленинграда?

— У заводских спрашивай, как дошли до жизни такой.

— И у них спрошу.

Айтматов с раздражением полуотвернулся от окна, положил на подоконник шляпу и заговорил громче:

— В Голодной степи стало модой всякую неумелую работу замазывать криками о нехватке людей. Их везде не хватает после войны: и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и на транспорте; и везде, где люди работают самоотверженно, они выполняют и перевыполняют планы. Хлопкозавод, Джура Қаюмович, что ты хорошо знаешь, строят специалисты, члены партии. Спрашивай у них, как дошли до жизни такой. Уборка пахты уже на носу... Я когда сегодня ушел из райкома? Всходило солнце, женщины выгоняли на улицы коров. Поспал четыре часа — и снова здесь. Велит дело — работаю. Я надеялся на коммунистов, однако они нас подвели. Джабаров и Нурзалиев дважды приходили ко мне просить людей для временной работы — сними их с поля, дай их на завод. Я отказал им. Оголять уборочные поля мы не имеем права.

Бекбулатов опять озабоченно развел руками, давая понять, что с кадрами дело плохо. Айтматов расценил это как поддержку своим доводам и заключил с еще большим нетерпением и раздражением:

— Я зачем прошлую ночь сидел в райкоме? Рассчитывал, какие классы закрыть в школах на время уборки пахты, какие закрыть лишь на массовую.

Джабаров заметил как бы между делом:

— С детским трудом пора кончать. В других районах давно с этим кончили.

Айтматов с гневом повернулся в его сторону:

— Пора с болтовней кончать, товарищ Джабаров. Сталин зачем пионерку Мамлакат поднял над всем Советским Союзом? Девочка хлопка собрала больше любого взрослого.

— Этого я не забыл, мы таких девочек, как Мамлакат, до революции замуж отдавали. Что на полях было прошлым летом? У некоторых учеников кровь носом шла, родители сюда, в райком, письма присылали. В других

районах, повторяю, школы не закрывают на время уборки, не надо и нам это делать.

Джабаров надеялся на поддержку Бекбулатова и ошибся. Секретарь сказал, что Голодную степь нельзя сравнивать с другими районами, веками обжитыми, что вопрос о частичном привлечении школьников старших классов на уборку урожая обсуждали на бюро райкома, и вынесено решение к помощи учащихся прибегать в крайних случаях.

— Ваше предложение? — заключая, обратился он к Айтматову.

Но тот выдержал большую паузу, снял очки, неторопливо протер их платком. Горбушин успел за это время спросить себя: почему Бекбулатов говорит Айтматову «вы», а тот первому — «ты»?

— Я пытаюсь уяснить, Джура Каюмович, происходящее на заводе. Какой главный инженер, скажи, пожалуйста, какой начальник строительства станет прежде воздвигать будку для собаки, чтобы стерегла дом, потом строить дом? У них так получилось. Так они работают. Построили около двадцати различных зданий, и все они в стадии окончания, а вот о мозге завода, его электрической станции, забыли. Ты спрашиваешь о моем предложении? Я сделаю его на бюро райкома: строгий выговор Джабарову, по выговору Киму и Нурзалиеву!

— Оргвыводами займемся в свое время, Дилдабай Орунбаевич. Меня не совсем удовлетворяет и ваша позиция. Завод строят специалисты, им и карты в руки, это правильно. А где партийный контроль над стройкой? Как могло получиться, что вместо вас и меня большой прорыв обнаружили приехавшие к нам молодые люди?

Потом заговорил Джабаров:

— В письме приводятся факты, которые мы, руководство завода, сообщили шеф-монтерам. Ответственности с себя мы не снимаем. Но ведь мы с Нурзалиевым приходили к вам, товарищ Айтматов, доказывали, что своими силами нам не справиться. Товарищ Горбушин тоже приходил сюда, и вы тоже не согласились с ним. А теперь обвиняете нас? Не очень серьезно звучит... Уборочная — дело ответственное, с этим никто не спорит. Но хлопкозавод необходимо пустить вовремя. Без привлечения новых рабочих рук этого не сделать. Пусть лучше мы не выйдем на первое место в соревновании, не полу-

чим наград, зато пустим в работу новый большой хлопкоочистительный завод.

Все неприятнее чувствовал себя первый секретарь. Оказывается, сигналы о тревожном положении на строительстве поступали в райком, Айтматов же не ставил его об этом в известность и ничего не делал сам, беспокоясь лишь о начинающейся уборке. Бекбулатов был встревожен и не скрывал этого от присутствующих, что очень не нравилось Айтматову.

Его голос, все более резкий, зазвучал вновь:

— Директор ставит нам ультиматум. Но я тоже повторяю ранее сказанное: получить переходящее знамя республики — честь хлопкоробам, пустить завод без опоздания — честь рабочим. Но с нынешней администрацией мы завод в положенное время не пустим. Джабаров двадцать лет работал водопроводчиком, он и теперь ходит по заводу с цепным ключом, как холодный сапожник с лапой, но душу рабочего не видит, не понимает. Какая душа у рабочего? Скажи ему, что это надо сделать, докажи ему, что это надо обязательно сделать, и он сделает. Директор так разговаривать с людьми не умеет!

Горбушин хотел выступить и ждал удобного случая. Поняв, что такой момент подошел, он попросил у Бекбулатова слова, получил его и поднялся.

— За качественный монтаж ваших машин и их пуск в эксплуатацию отвечаю я. Прошу выслушать меня со всем вниманием. Я приведу цифры. Три шеф-монтера и шесть приданных им в помощь слесарей уже должны были бы работать восемь дней; впрочем, вчерашний и сегодняшний день не потеряны, я их не считаю. Значит, шестью девять — пятьдесят четыре... Столько рабочих дней пропущено. Каким энтузиазмом можно их вернуть, товарищ Айтматов? Вместо шести слесарей по договору хлопкозавод смог нам дать только трех товарищей. Значит, в течение восьмидесяти шести рабочих дней мы ежедневно недополучим трех человек,— восемьдесят шесть множим на три и получаем... — Горбушин заглянул в записную книжку, держа ее перед собой,— еще двести пятьдесят восемь человеко-дней, которые также будут потеряны. Дальше. К работе мы приступаем с талями и домкратами, а не с подъемным краном, и неизвестно, когда он придет на завод и будет смонтирован. Я привел вам факты, а выводы сделайте сами. Доводы

директора хлопкозавода Джабарова и его товарищей я считаю единственно правильными.

Горбушину не возразили.

— Ваше предложение? — после тяжелой паузы обратился к нему Бекбулатов.

— Оно указано в письме. Мы, шесть сборщиков, будем работать по двенадцать часов ежедневно месяца полтора-два. Кроме того, десять, пятнадцать, двадцать человек — это на ваше усмотрение — временных рабочих необходимо ставить на ДЭС срочно, дорог каждый час. Я разговаривал с товарищем Нурзалиевым: если колхозники придут на завод, он поставит их на строительные работы, а на ДЭС — специалистов, и они застеклят крышу, окна, проложат подкрановые пути, словом, сделают все необходимое. Я уполномочен дирекцией своего завода сказать вам, что, если изложенное в нашем письме предложение не будет вами принято, «Русский дизель» не сможет в плановый срок пустить хлопкозавод в эксплуатацию.

Айтматов, кажется, сдался. Отвернувшись к открытому окну, молча смотрел в него. Бекбулатов сказал Джабарову:

— Дилдабай Орунбаевич прав, критикуя вас за непродуманность. На самом деле, как можно сердце завода строить в последнюю очередь? Я понимаю, что завод строите не вы, но вы его директор и могли бы прийти к нам со своими претензиями к строителям.

— Снимайте меня, Джура Каюмович, если не справляюсь с работой. —«Не» у Джабарова прозвучало оглушительно, как «нэ».— У меня нет высшего образования, оно есть у Кима, поэтому Нурзалиев чаще советовался с ним, не со мной. А Ким считал: амбары надо ставить в первую очередь, потом производственные корпуса, а значит, и станцию.

И зачастил Григорий Иванович Ким. Его быстрые, легкие слова словно катились:

— Ты верно сказал, Джабаров, но прав все-таки я. Сравнение станции с собачьей будкой звучит, конечно, оригинально, но логика у товарища Айтматова хромает. Мы в ближайшие недели примем громадные массы пахты. Где будем ее складывать. Дилдабай Орунбаевич?

— В бунтах, которые можно накрыть брезентами!

— Но бунты служат вспомогательными средствами, главными являются амбары, где хлопок меньше подвергается влиянию атмосферы и, следовательно, меньше согревается, о чем мы не должны забывать... Партия сколько просит хлопкоробов и нас, заводских, бороться за максимальную его сохранность? Так о чем спор?

— Есть о чем спорить,— поднялся и Джабаров. — Ну хорошо: хлопок будет лежать в амбарах, там ему лучше, чем в бунтах. Но завод будет стоять?.. А хлопок станут ждать на текстильных предприятиях? Что получается? У тебя, главный инженер, логики много!..

Старый Рахимбаев, член бюро райкома, сидел, вытянув ноги, полузакрыв глаза, и можно было подумать, что он дремлет, кипящие страсти вне его внимания. Но вдруг он убежденно сказал Бекбулатову:

— Нужны люди. Пятнадцать человек. Без них дела нет.

— Тогда, Нариман-ака,— так быстро повернулся к нему Бекбулатов, что остро сверкнули его очки в золотистой оправе,— вы будете инспектором райкома партии на этой стройке... И переходите туда работать, на монтаже станков управятся без вас. Вы сколько лет слесарите?

— Сорок пять.

— Вы, товарищ Горбушин?

— В общей сложности семь лет.

— Вот видите, с каким опытом придет к вам мастер!

— Спасибо... — сдержанно ответил Горбушин.

Секретарю возразили одновременно Нурзалиев и Айтматов, земляки, как говорил иногда Нурзалиев,— оба из древнего киргизского города Таласа. Нурзалиев стал просить Бекбулатова не отнимать у него бригадира монтажников: без Рахимбаева, гляди, люди под занавес напортачат. Айтматов же хотел теперь заняться заводом вплотную, и прежде всего станцией, поэтому и предложил Рахимбаева на ДЭС не переводить.

Бекбулатов не согласился с ними.

— Нет,— твердо подчеркнул он,— Нариман-ака пойдет на станцию. За него останется у Нурзалиева главный механик Ташкулов, отличный работник. Дилдабаю Орунбаевичу, поскольку выборочная уборка уже началась и скоро пойдет массовая, работы хватит в райкоме. Вы вот что, Нариман-ака: поезжайте-ка завтра в колхозы, попросите там людей временно потрудиться на заводе. Возьмите товарища Горбушина с собой, как представителя

Ленинграда, поставляющего нам машины, представьте его колхозникам, люди охотно поговорят с вами.

— Зачем же так? Не милостыню просим. Надо так надо... Я позвоню сегодня в три колхоза, завтра из каждого придут по пять человек,— еще раз попытался Айтматов решить дело по-своему. Бекбулатов, однако, и теперь не уступил ему:

— У нас не старые времена, Дилдабай Орунбаевич. Непременно просить. А вы, Нариман-ака, можете сказать колхозникам, что вопрос о посылке людей на завод обсуждался в райкоме партии и Бекбулатов не возражал.

Закрывая совещание, он обязал Рахимбаева раз в неделю докладывать ему о ходе строительства, во всех непредвиденных случаях звонить по телефону. Дирекцию хлопкозавода попросил ответить ленинградцам на их письмо, но не раньше, чем будет ликвидирован прорыв.

35

Письмо сработало!

Горбушин и Шакир радовались. Только теперь у них исчезли сомнения относительно пуска электростанции в срок, только теперь появилась уверенность, что с работой они справятся. Ответственность за пуск ДЭС взял на себя первый секретарь. Чего же лучше?

Теперь — работать всласть, до соленого пота, как, может быть, никогда не работали. На карту поставлено их мастерство, их слово, данное большой тройке своего завода и коммунистам Голодной степи.

В этот же день после обеда на ДЭС усталой походкой явился Рахимбаев. Слесари Гаяс, Акрам и Мурат, еще вчера трудившиеся под его командой, встретили его шумными приветствиями. Горбушин предложил старому мастеру руководить сборкой вместе с ним, Рахимбаев поблагодарил и отказался, заметив, что с дизелями встречался от случая к случаю, а они мастера по этим машинам, так чего им мешать?

Горбушин и Рахимбаев вместе объявили бригаде, что с сегодняшнего дня они начинают работать по двенадцать часов, перекур через каждые два часа. Гаяс тотчас заинтересовался оплатой за сверхурочные, вытирая при этом потную, волосатую грудь мокрой тряпицей: если оплата по закону, в полуторном размере за первые два

сверхурочных часа и в двойном за все последующие, он согласен, а если по договоренности с Нурзалиевым, тогда пусть начальник работает сам.

— Правильно ставишь вопрос, Гаяс,— одобрил слесаря Рахимбаев. — Нам будут платить по закону.

Мурат же засмеялся и увильнул от прямого ответа Горбушину и Рахимбаеву: поскольку не знает, выдержат ли его нервы эту ударную работу, то он еще подумает, о своем решении скажет позже.

— А когда станешь думать, не забудь, пожалуйста, вспомнить, что ты комсомолец,— посоветовал Рахимбаев.

— Я женщина, мне тяжело и восемь часов трудиться в таком пекле, не то что сверхурочно,— заявила Рудена.

Нельзя так нельзя, никто ей не возразил ни единым словом. Русскую женщину в Средней Азии уважают. Конечно, Шакир и Горбушин промолчали, а Рудена быстро при этом взглянула на бригадира.

Шакир обратился к Рахимбаеву:

— Нариман-ака, почему окна в поселке зарешечены железными прутьями?

— Во-первых, не все зарешечены. Во-вторых, сказки будем рассказывать или работать?.. — по обыкновению с безукоризненным русским произношением ответил старик.

Он пообещал Шакиру при удобном случае рассказать, почему окна на иных домах зарешечены железом, и пошел к крайней параллели шабрить ее, на ходу пробуя остроту шабера на ноготь.

Когда все увлеклись работой, явился Джабаров в хорошем настроении. Это показывало его словно помолодевшее лицо.

— Хорманг! — Этим словом в Средней Азии принято приветствовать работающих людей. — Семеро слесарей... Не хватает одного, чтобы по двое сидели на каждой параллели... Бригадир, давай шабер!

— Наверное, отвыкли работать, Усман Джабарович? Может не получиться.

— Мне нельзя отвыкать. Еще одно такое совещание в райкоме партии, и Джабаров — слесарь и водопроводчик. Шабер, Никита! — Он дружески хлопнул Горбушина по плечу.

— Но кончилось-то хорошо.

— Сегодня. Что завтра будет, ты знаешь? Директором меня рекомендовал Бекбулатов, Айтматов был

против. А через две недели я уже спорил с ним. Характер, видишь, гордый у меня... Невозможный характер. Но как мне терпеть, скажи, пожалуйста, если он старыми методами руководит? А жизнь на месте стоит, а, стоит?.. Она бежит... Не знаю, чего Айтматову не хватает, но ему чего-то не хватает, я так думаю.

Закатав рукава рубашки, Джабаров стал шабрить параллель быстро, уверенно, охотно, мастер в нем чувствовался даже по этой хватке. Шакир придирчиво приглядывался к его работе, ища возможность подшутить, но придраться было не к чему, слесарь в директоре сидел настоящий.

Рахимбаев предложил Джабарову составить телеграмму на завод, обязанный прислать сюда подъемный кран, копию телеграммы — райкому партии, в ведении которого этот завод находится. Необходимо волокиту с краном назвать позорной, требовать привлечения директора к партийной ответственности. Телеграмма, сказал старик, пойдет от Голодностепского райкома партии, на подпись Бекбулатову он, Рахимбаев, даст ее сегодня же.

— Джуда якши... — шумно вздохнул директор. — Это дело... Сейчас составлю, и Роман подбросит тебя к райкому.

Вытирая руки ниточными концами, Джабаров продолжал радоваться:

— Вот так навалимся вместе на эту ДЭС... Сколько я уже не сплю спокойно из-за нее? И вот что еще, Нариман-ака: завтра утром ты не поедешь в колхозы. В полдень поедешь. Звонил мне Айтматов, просил утром прислать к нему заведующую ОТК. Как она вернется из райкома, вместе и отправитесь. Согласен?.. Она прямо-таки рвется на поле инструктировать сборщиц, обязана это делать, а я не мог ее послать раньше, сам знаешь, сколько у нас работы.

— В самый раз ей наведаться сейчас к сборщицам. Выборочная началась, теперь машины пойдут на поля.

Джабаров ушел составлять телеграмму. Горбушин подсел работать рядом с Рахимбаевым, стал спрашивать о Бекбулатове. Давно он назначен первым секретарем райкома? Оказалось, Бекбулатов был одним из комсомольских вожаков в республике, затем его назначили вторым секретарем райкома в Карши, оттуда перевели первым секретарем сюда, в Голодную степь. Руководя районом, он, инженер-ирригатор, много времени отдает

сложной работе механизаторов, осваивающих новые площади для посева хлопчатника.

— Чтобы через пятнадцать — двадцать лет сделать Голодную степь хлопковым морем? — улыбнулся Горбушин, вспомнив свой разговор с Джабаровым у него на квартире.

Рахимбаев ласково поглядывал на Горбушина, и тому это было приятно. Он понял: старый мастер благодарен ему за выступление в райкоме,— приведенными цифрами бригадир убедительно доказал, что временные рабочие заводу необходимы и ставить их к делу нужно немедленно.

Занимала Горбушина и предстоящая поездка в колхозы с Рипсиме Гулян. Как девушка отнесется к нему теперь? Будет игнорировать, даже презирать? Основание для этого он дал. Не терпелось увидеть хлопковые поля: как же растет этот хлопок, как его собирают?.. Интересная должна быть поездка.

Работая и размышляя, он не переставал поглядывать на подчиненных — как у них идут дела? Вчера в конце дня проверял сделанное каждым. Подошел и к Рудене. Она весь день просидела не разгибаясь, а дела не было. Он ничего ей не сказал. Промолчал и в те минуты, когда, отработав восемь часов, она поднялась, вымыла руки и ушла домой.

Вечером, едва Горбушин и Шакир вернулись с завода, умылись и переоделись, в комнату к ним явилась Марья Илларионовна, увела их в свою квартиру, где их ожидал Джабаров. Он нежно обратился к жене:

— Маша, дружок мой, извини меня, пожалуйста... Не кипит он, черт, твой чайник. Может, я много воды налил?

Она угрожающе воскликнула, направляясь на кухню:

— Ну, у меня он сейчас закипит!

Убирая со стола газеты, чтобы освободить место для чайной посуды, Джабаров сообщил новость, опечалившую шеф-монтеров. Три дня назад на завод приезжал начальник инструктировать Гулян, завтра приедет управляющий трестом добавить разума директору завода. Это и не удивительно: раз начальство зашевелилось — значит, Узбекистан накануне массовой уборки хлопка. Так неудобно же управляющего трестом положить спать на раскладушке, а свободного помещения нет. Поэтому он, Джабаров, договорился с Нурзалиевым, что шеф-монтеры

день-другой поживут у него, пока гость на заводе, а лишь только он уедет, они вернутся в свою комнату.

Марья Илларионовна принесла бело-золотистые пиалы и чайник, директор опять заговорил нежным тоном:

— Маша, дружок, три мужика за столом. Ай-яй... Что подумают наши гости? По самой маленькой и по одной — это все равно что ни по одной.

— Он всегда вот так. Чужие люди на порог — он клянчить. Красного выпей хоть три, угости и товарищей, ведь наше вино им прошлый раз понравилось. А белого не проси, да у меня и нет его.

— Есть, Маша, ты забыла...

Горбушин и Шакир отказались от вина, выпили чаю и вернулись в свою комнату, собрали в чемоданы разбросанные вещи, не без сожаления простились с павлином-глухарем. Вышедшей на крыльцо Марье Илларионовне вручили ключ. И через пятнадцать минут были уже у Нурзалиевых, адрес которых им дал Джабаров.

36

Рядом с Дженбеком стояла его жена, загорелая, как и он, до синеватой черноты, худощавая, большерукая. На ней бирюзового цвета платье, ярко-синий газовый шарф спускается с плеч. Вероятно, она ждала гостей и принарядилась.

— Разрешите познакомиться! — весело воскликнул Шакир.

Она нерешительно протянула ему руку, другой прижимая к груди концы шарфа. Сказала, что ее зовут Жилар. Потом засуетилась, приглашая Шакира и Горбушина садиться, трогая стулья, показывая на них рукой,— оба видели, как мила она в этой своей стеснительности. Русские слова произносит неправильно, медленно.

Дженбек перенес их чемоданы в другую комнату, повелительно ткнул пальцем:

— Там будете жить!

Подумав, что им предлагают вторую, очевидно лучшую в квартире комнату, Горбушин незаметно для хозяев стал оглядываться. Обстановка скромнее, чем в квартире Джабаровых. Стены без ковров, полы не блестят, стулья старые, разной формы, у стены просиженная оттоманка блеклого синего цвета; двуспальная кровать полузакрыта ширмой, на ее красном сатине китайцы

в широких синих штанах и белых шляпах ловят удочками рыбу в неестественно голубом озере.

— Жилар, где бешбармак?

— Прежде шурпа, Дженбек...

Женщина ушла на веранду, служившую ей и кухней, где горели две керосинки и стояли на них черные казаны: в комнату доносился запах варившегося мяса со специями.

Через минуту Дженбек поставил на стол бутылку водки, а Жилар — две тарелки: на одной нарезанные помидоры, на другой круглые лепешки, всюду в Средней Азии заменяющие хлеб. Расставляя стопки, Дженбек весело говорил:

— Марья Джабарова гостей угощает красной водой! Поэтому, когда мы с Кимом приходим к директору, мы водку приносим в кармане. Марья на кухню — мы в красное вино выльем водку. Маша разводит руками: вино стало розовым! Отчего?.. «Усман, ты пил?»—«Я не пил, что ты, ты же не разрешаешь...»

Горбушин попросил Жилар:

— Не смущайте нас, пожалуйста, излишними приготовлениями.

Ответ своей жены предупредил Дженбек:

— У киргизов гости не командуют!

На стол, накрытый белой скатертью, Жилар положила ложки и вилки перед Горбушиным и Шакиром как-то очень уж осторожно, себе и мужу — уверенно. Перед каждым стояла большая пиала с душистой шурпой, в центре стола — широкое блюдо с бешбармаком. Это были куски вареной баранины, только что извлеченные из шурпы-супа, они горкой лежали в центре блюда, а по его краю разложены были сваренные оборвыши из теста, напоминающие украинские галушки.

— Жилар, выпьем за дорогих гостей!

— А мы за хозяев!

Дженбеку ложка к шурпе не понадобилась, он звучно прихлебывал ее, как чай, прямо из пиалы, которую держал у рта обеими руками. В бешбармак запускал пальцы, одним захватом поднимая мясо и галушку, все это добро, немного запрокидывая голову, заправлял в рот вместе с пальцами, которые затем вкусно облизывал, к большому смущению Жилар.

— Ему никакая культура не помогает,— огорченно бормотала женщина. — Выпьет и кушает по-старинному.

Дженбек дернул себя за правую ушную мочку.

— Я показал, как кушает мой народ. Ничего плохого в этом не вижу!

— Так он раньше кушал... — тихо, с опущенной головой возражала Жилар.

— Да, когда кочевал. Но продолжает кушать по-старому.

Жилар раскраснелась от выпитой рюмки водки и смущения, вконец одолевшего ее. Ярко-синий шарф сполз с плеч на колени, горячие черные глаза сделались влажными.

— Наши родители так кушают, они старые люди, пусть,— снова поправила она мужа. — В молодых семьях везде есть ложки, стаканы, вилки и блюдечки.

Дженбек говорил не умолкая:

— Я киргиз, уртаклар. Есть у нас каракиргизы, мало, но есть, у них совсем темная кожа. Кара — черный по-нашему... По преданию, по науке, каракиргизы самые древние, а киргизы, к которым принадлежу я, молодые киргизы. Жилар — каракиргизка.

— Не надо... — еще ниже опустила голову Жилар.

— Зачем вы смущаетесь, Жилар? — обратился к ней Шакир. — Он хорошо говорит о своем народе, нам интересно слушать. А вот вам, наверное, хочется получше узнать нас... Так позвольте представиться. Я — татарин, Никита — русский, мы с ним давние друзья.

Дженбеку, видимо, понравились эти слова: веселый, он с жаром стал объяснять, как киргизский народ излагает свои мысли и чувства стихами. На все случаи жизни у киргизов есть замечательные песни: свадебные, хвалебные, похоронные, колыбельные, любовные... Много стихотворных поучений, загадок, поговорок. Есть, конечно, и заклинания, и сказки, и легенды.

Затем Дженбек, горячась все более, стал на память читать некоторые места из поэмы «Манас», но снова был прерван женою:

— Ты как барабан, Дженбек, в котором дробятся камни... Нельзя так. Пусть говорят наши гости. Молодой человек сейчас сказал, что нам хочется лучше узнать друг друга, но что мы с тобой узнаем, если ты никому не даешь сказать?

— Давай-давай, Дженбек! — хохотал Шакир. — Делом доказывай красноречие своего народа!

Но замечание жены, кажется, лишь подзадорило Дженбека, и он предложил переменить тему:

— Если она не хочет слушать стихи, я расскажу вам, как мы с нею поженились.

— Не надо, не надо... — испугалась Жилар. Даже прикрыла ладонью лицо, но и это не остановило Дженбека.

— Я родился в кочевой юрте в предгорьях. В нашей семье было одиннадцать братьев и девять сестер, мы жили в двух белых юртах. Белая юрта — признак зажиточности... Семья двадцать два человека, у вас в России таких семейств, слышал я, не бывает. В ранней молодости я тяжело болел. Может, потому и детей у меня нет, врачи сказали. Поэтому я просил вчера Абдулку у Гаяса и Таджихон... Ну, четырех моих братьев убили на войне, двоих ранили, меня пуля била сюда, около локтя... Как я женился?

— Не надо, Дженбек... Прошу тебя..

А он лишь помедлил, чувствуя большое внимание, с которым его слушали Горбушин и Шакир, и продолжал рассказывать:

— Ей было восемь, мне одиннадцать. Тут наши родители договорились поженить нас, когда вырастем. Мы немного росли... У киргизов прежде какой был порядок? Хотя родители договорились поженить нас, но свою невесту жених должен воровать... Не сумеет воровать — не отдадут за него. Мне стало пятнадцать лет, Жилар двенадцать,— наши девушки к замужеству созревают раньше ваших...— прищелкнул языком и поднял руку Дженбек.

— Мне уже было тринадцать, ты забыл! — теперь с отчаянием закрыла лицо ладонями Жилар.

— Отец говорит: «Дженбек! Надо красть Жилар. Выпаси лошадей, за вами будут гнаться». Я дружков подговорил, хорошо выпасли лошадей. Я схватил Жилар на седло, когда она от подружки шла. Она испугалась, но кричать не стала,— я немного рот ей закрыл, так меня научили... Завернул ее в кошму, помчались мы. Стегаем лошадей, шесть парней мчимся по полю, у Жилар одна голова из кошмы торчит, я поддерживаю невесту, чтобы не сползла с седла,— поперек седла лежала... Но вот братья Жилар нас догоняют. Свистят, бранят меня, ай как бранят... Лошади ее братьев вот сейчас окружат нас, заставят отдать Жилар... А мои джигиты

только стегают коней и смеются... Они ругаются, свистят, мы — смеемся. Догоняй нас! А закон такой: если украденную девушку в юрту внесли, ее братьям туда ходу нет... Мчимся мы по полю, но вот и наша юрта. Мой старший брат соскочил с коня, схватил Жилар и скорей в юрту ее понес. Подскакали ее братья, кружатся вокруг юрты, свистят, меня бранят, а Жилар уже лежит в юрте, еле живая от страха. Ну, отец на другое утро говорит ей: поживи с моими дочерьми в юрте, рано тебе замуж выходить. Подрасти немного...

— История! — одобрительно сказал Шакир.

Дженбек поел мяса и помидоров и продолжал:

— Поженились мы через два года. Я уехал вскоре из юрты, комсомол направил меня в Талас учиться. Простите, меня он направил во Фрунзе... Это ее комсомол впоследствии направил в Талас учиться... Древний город, ему скоро будет тысяча лет. Талас... Там ее взяли работать секретарем райисполкома. Днем работала, вечером училась. Отец говорит: «Нехорошая у нее работа, Дженбек. Часто уезжает в командировки в горы, к чабанам, ночует там, женщине так нельзя, сам знаешь, злые люди есть». Я стал ее немножко ревновать, один раз немножко за косы по улице тащил...

Жилар поднялась и быстро вышла на веранду.

— Ну, я закончил учиться во Фрунзе, она кончила бухгалтерские курсы в Таласе. Я получил направление работать в Голодной степи, Жилар бросила райисполком. Вот и приехали сюда. Она бухгалтером в конторе работает. Все хорошо. Одно плохо — детей нет.

Все помолчали.

Шакир спросил: как отец Дженбека мог прокормить такую семью, сам двадцать второй?

Нурзалиев посмеялся над наивным вопросом. До революции семья кочевала от одной хорошей травы к другой, а в тридцать втором году отец вступил в колхоз, стал работать чабаном, но свой скот, двести пятьдесят овец, продолжал держать, да несколько коров, лошадей. Шакир еще спросил: а не считали ли его отца баем? И Дженбек опять посмеялся наивности Шакира.

— Зачем отец — бай?.. Разве это много на такую семью — двести пятьдесят овец? Мы бедные были люди! Мало овец. Чтобы кушать мясо каждый день, надо двух овец резать ежедневно,— только-только хватало. Посчитай, сколько надо было держать? Сколько было у нас?..

Но какой плов мать и сестры варили на праздники, скажу вам! О теперешний плов я пальцы мазать не стану! На хлопковом масле варят и называют плов!.. У нас как варили плов? Два кило курдючного сала, два кило баранины, два кило моркови, два кило риса... Джуда якши... На вторую закладку опять все по два кило...

Вернувшейся к столу Жилар удалось наконец повернуть мужа к новой теме:

— Расскажи, Дженбек, как тебя встретил и проводил твой землячок из Таласа Айтматов, секретарь райкома,— предложила она.

— Я боюсь этого человека! — засмеялся Дженбек.— Когда приехал сюда и узнал, что секретарем райкома наш, киргиз, я обрадовался. Оба из Таласа, пойду, думаю, к Дилдабаю: «Как поживаете тут, товарищ Дилдабай?..» Прихожу к нему и говорю улыбаясь: «Вы из Таласа, и я из Таласа, товарищ Айтматов...» Он надел очки, посмотрел на меня и говорит: «Что вам нужно? Я занят...» — «Ничего, говорю, мне не нужно, но как вы из Таласа и я из Таласа...» Он стал смотреть сердито в бумаги, я вышел из кабинета, сказал себе: «Дурак ты, Дженбек, а еще получил диплом инженера... Когда будешь умнее? Или еще один институт надо тебе кончать, чтобы стал умнее?»

Продолжая испытывать терпение жены, Дженбек рассказал о десятнике Файзулине, которому сегодня дали выговор:

— Расстелил Файзулин около шнеков молитвенный платок и начал молиться. Идут люди мимо него — он молится. Прибежал рабочий, спрашивает, куда цемент свалить, привезли целую машину,— он молится, ни слова ему не отвечает. Что делать?.. Дал ему выговор в приказе. Если бы это был первый случай, я бы его не обидел выговором. «Каюм, говорю, на работе нельзя аллаху молиться, дома надо молиться». Он отвечает: «Дженбек, как ты не понимаешь... Полдень получается на работе... А если надо вечером аллаху молиться, почему в полдень не молиться?»

— И у нас был Коран, я его выбросила,— несмело заметила Жилар.

— Не выбросила, знакомым отдала,— поправил Дженбек.

Скоро Горбушин и Шакир, отказавшись от винограда и арбуза, сказали, что весьма устали днем, от жары болела голова. И все поднялись из-за стола.

Шеф-монтеры поблагодарили Нурзалиевых за вкусный ужин и приятную беседу. Жилар светилась от удовольствия. Перебивая один другого, хозяева уверяли гостей: не отпустят их больше к Джабаровым, пусть живут здесь, квартира просторная, детей нет; а Горбушин, слушая, подумывал, что из всех его знакомых на хлопкозаводе Нурзалиевы, пожалуй, самые простые и открытые.

37

Как и предположил Горбушин, вторая комната оказалась наряднее первой. И была она больше. Две стены, задрапированные желтым плюшем, привели Шакира в восхищение:

— Тысяча и одна ночь!.. У моей бабки в Тобольске вот так же две стены сплошь закрыты плюшем. Случайно ли, что у старой татарки из Тобольска и молодой каракиргизки в Голодной степи одинаковый вкус?

— Не решай незаданной задачи, Шакир. Лучше давай-ка разберемся, кому где спать. Хозяева, судя по всему, этот вопрос оставили решать нам.

— Но это именно задача, которую мне хочется решить! В таком убранстве определенно есть общее, относящееся к далекому мусульманскому прошлому! Я где-то читал, что люди свои шатры украшали плюшем, бархатом, коврами, и это свидетельствовало о их зажиточности и знатности. — Не услышав ответа, Шакир переменил тему, понизив голос: — Может, остаться нам у Нурзалиевых? Я люблю веселых.

— Нет, не останемся. Жилар работает, ей тяжело будет заботиться о нас. А в комнате Джабаровых мы никого не стесняли.

— Жилар замечательная. Заметил? Какие, по-твоему, самые лучшие женщины? Деловые? Да ничуть! Лучшее украшение женщины — это ее застенчивость. Только в застенчивых много и женственности, и доброты, и нежности. Ну, разумеется, любое правило не без исключения...

— Значит, Жилар — джуда якши?

— А ты как думаешь? Женщины вообще лучше мужчин. Я готов говорить о них сколько угодно, особенно если немного выпью.

— А сейчас заткнись. Тоже барабан, в котором перемалываются камни...

Наконец они улеглись. Шакир занял кровать у одной стены, Горбушин у другой, хотя подмывало желание растянуться на толстой кошме, свернутой на полу вдвое, приятно издающей запах шерсти. На ней лежали простыня и подушка.

Свет выключили, а уснули не скоро после всего выпитого и съеденного, отягощавшего желудки. В тишине ночи, поджидая сон, Шакир лениво размышлял о заводских слесарях, с которыми отработал два дня. Как-то придется работать с ними дальше? Почему-то вдруг всплыли в памяти отношения с Максимом Орестовичем, и мысли разбежались, словно кони в поле, и стало невмоготу лежать в душной постели. Шакира нередко охватывало этакое вдохновение, и он забывал об окружающем, ему нужен был собеседник.

— Ты спишь, старина?

— Чего тебе? — сонно сказал Горбушин.

Шакир перешел комнату, с ногами сел на кровать друга. Они закурили.

— Иной человек всю жизнь тебя удивляет, а чем именно, не ясно... Понимаешь?

— Только то, что от работы ломит поясницу, от переговоренного за день башка трещит, а ты прилез с какой-то дурью.

— Извиняюсь... Я тебе такое сейчас выдам! Слушай... Еще с тех пор, как мы с тобой в школу бегали, твой отец казался мне загадкой. Я часто думал о нем. Конечно, ничего особенного в этом нет — каждому мальчишке взрослый кажется загадкой. Позже, когда мы выросли, он дружески стал относиться к моей матери и ко мне, а я так соображал: какая может быть у нас дружба?.. Я парень, он пожилой человек; я татарин, вы русские; он видный человек по образованию, службе, общественному положению, депутат горсовета, а моя мать дворничиха, всю жизнь среди русских, а по-русски не научилась хорошо говорить. Я многие годы, как зверь, водил носом, выискивая неискренность в его отношении к нам.

— Ну и загнул! Давай-ка все-таки спать.

— Нет! Мы будем сейчас философствовать! И начнем издали, подбираясь к главному. Я недавно прочел роман про фараона, сына Рамзеса Второго, так что меня поразило? Один из царедворцев говорил: «А внутренний голос все шепчет, все шепчет мне...» Когда это было? Тридцать веков назад или что-то около этого. Современнику фараона голос шептал всяческие сомнения и тайные намерения. Я спросил себя: а что внутренний голос шепчет человеку двадцатого столетия, который уже не признает и, следовательно, не боится богов, чертей, ада? Не говорит ли он ему иногда вот так: «Ты живешь один раз, и точка! Плюй на все понятия долга, совести, чести, благородства, на все слова, мешающие тебе жить. Ты сильный, ты можешь быть сильнее всех, прояви бесстрашие и инициативу и станешь королем в жизни!» — Голос Шакира накалялся страстью, кончик папиросы ярко тлел в темноте.

Горбушин неохотно заметил:

— Куда ты клонишь, не понимаю... Даже в биологию забрался. И потом, разве внутренний голос говорит человеку только одно отрицательное?

— Главное в том, Никита, что я искал доказательство неискренности твоего отца к нам, а понял гораздо больше: твой отец — человек. Я буду дорожить его дружбой!

— Все? — скучно спросил Горбушин, окончательно потеряв интерес к беседе. — Открой окно, и давай спать...

Но он долго еще не мог уснуть, лежал с закрытыми глазами и думал о Рудене и предстоящем отцовстве. Мысль об этом мучительно овладевала им, стоило ему остаться наедине с собой.

38

По московскому времени десять часов утра, по ташкентскому — час дня. Солнце над Голодной степью в зените. Белое солнце... Воздух раскален до сорока одного градуса.

Шеф-монтеры и слесари шабрят параллели. Работа началась с неприятности: опоздал на пятнадцать минут Мурат. Горбушин дружески улыбнулся ему:

— На «Русском дизеле» проходную закрывают ровно в восемь. Даже на минуту опоздавший человек дол-

жен звонить начальнику и просить помощи. Не завести ли нам такой порядок?

У Мурата было отличное настроение. Вероятно, он хорошо выспался — лицо розовое, довольное.

— О чем речь, Никита? За четверть часа мир вверх ногами не перевернется!

— Он перевернется для тебя, если это повторится,— понимающе взглянув на Горбушина, спокойно сказал Рахимбаев.

— Для чего вы порете горячку? Или первое декабря завтра?

— Хуже, Мурат, хуже... Завтра уже тринадцатое сентября, а мы еще сидим на параллелях,— все улыбался Горбушин.

Следом за Муратом и внезапно для всех пришел секретарь райкома Айтматов. За стеклами его тяжелых очков глаза смотрели очень устало. Он-таки решил проверить, что же именно напортили здесь строители.

— Салам, уртаклар! — негромко проговорил он.

Айтматов попросил Рахимбаева и Горбушина показать загубленный фундамент и постоял перед его начисто уже освобожденной от бетона ямой, услышал о добровольной работе администраторов, сделавших тут все необходимое, и молча пошел в глубь здания, так испортившего ему настроение накануне, приглядываясь к его незастекленной крыше, к стенам, черному полу. Потом вернулся к параллелям и опять обратился к Рахимбаеву:

— Прошу вызвать сюда начальницу ОТК.

Рахимбаев, взглянув на Горбушина, послал за девушкой Мурата.

Рип торопливо вошла в ДЭС. Звонко поздоровавшись со всеми, остановилась перед секретарем, доверчиво глядя на него. Она привыкла так смотреть на руководителей завода, потому что каждый из них пытался ей помочь организовать отдел, снабдить его всем необходимым. Если бы у нее сейчас спросили, чего она ждет от разговора с товарищем Айтматовым, она бы не задумываясь сказала: советов, как лучше вести работу.

Горбушин услышал их беседу:

— Товарищ Гулян, на заводе все готово для массовой приемки хлопка?

— О всем заводе я не могу вам сказать. Лучше меня это знают директор и главный инженер. В моем отделе все готово.

— Объясните, пожалуйста, конкретнее.

— На воротах для приемки хлопка установлены пробоотборочные банки для каждого сдающего урожай хозяйства, из них мы будем брать хлопок в лабораторию на контрольную проверку. Там же, в конторке у ворот, вывешен стенд с пятью образцами хлопка, все образцы, согласно инструкции, за стеклом и опечатаны сургучной печатью.

— Это хорошо. Что еще входит в ваши обязанности?

— Правильно определять состояние поступающего хлопка, его сортность.

— Я намерен вам, новому работнику, товарищ Гулян, посоветовать...

— Пожалуйста!

— И хочу, чтобы вы это запомнили. Вашей первейшей обязанностью является работа не с пробоотборочными банками, а с людьми, работа, если хотите, политическая, которая потребует от вас чуткости и гибкости.

Рип стала было отвечать:

— Будьте спокойны, товарищ секретарь... Ни я, ни мои подчиненные не нарушат государственных условий приемки хлопка! — и вдруг умолкла, остро почувствовав, что говорит не то, чего ждет от нее товарищ Айтматов.

Он согласился:

— Разумеется... Условия ГОСТа соблюдать надо... Но я вам говорил не об этом.

— Тогда не совсем понимаю... — уже волновалась Рип. — Самое главное в работе ОТК — именно это: не отступать от государственных стандартов, утвержденных правительством... Закупать хлопок по стандартам и ценам, предусмотренным только ГОСТом. В этом и заключается моя политическая ответственность перед людьми и государством.

— Вы все говорите правильно. Но в наших трестах немало еще ископаемых истин, которые давно пора забыть, а некоторые кабинетные работники давят на них, не видя насущных задач.

— Несколько дней назад сюда приезжал из Ташкента, из треста, товарищ инструктировать меня. Он только

и говорил о соблюдении стандартов при приемке хлопка и даже угрожал снять меня с работы, если я...

— Вы дадите мне договорить?

Рип умолкла, вдруг ужасно растерявшись. Горбушину очень понравилось ее смущение, он перестал работать и смотрел на девушку, на Айтматова. А Рудена на другой параллели, тоже перестав шабрить, смотрела то на него, то на Рип...

Айтматов медленно заключил:

— Помните и скажите это своим подчиненным: колхозник всегда должен быть доволен сдачей своей продукции государственному заводу. Вот в чем главная задача руководителя ОТК. Я к тому говорю это, что иногда на наших заводах возникает тенденция принимать урожай по заниженной сортности. А не всем людям это нравится. У нас все стоит на соревновании, вы, конечно, это знаете. Бригада соревнуется с бригадой, район с районом, область с областью. Вы должны быть патриоткой своего района. А чтобы выиграть соревнование у соседа, как мы выиграли в прошлом году, за что получили знамя республики, постарайтесь ежедневно принять хлопка как можно больше. И по возможности первым сортом. Будем считать, товарищ Гулян, вы проинструктированы лично мною.

Айтматов полуотвернулся к Рахимбаеву, давая Рип понять, что разговор окончен. Она, однако, стояла, думая об услышанном. Потом посмотрела на Горбушина, и он в ее растерянных глазах прочел: «Вот видите, что получается?..»

Затем она повернулась и быстро направилась к воротам ДЭС. Рудена проводила ее внимательным взглядом.

39

А когда ушел и Айтматов, Нариман Абдулахатович Рахимбаев по-стариковски неторопливо стал мыть руки. Пора было выезжать в колхозы. Горбушина он попросил прийти через полчаса, а сам отправился в контору к Джабарову и передал ему разговор Айтматова с Рип, который кое в чем не понравился ему, затем предупредил Романа, чтобы тот готовил машину к выезду.

А Горбушину не хотелось оставлять сборку: в его отсутствие слесари делают меньше, чем при нем, — это

показали несколько прошедших рабочих дней; и только мысль, что поедет он вместе с Рип, узнает, велика ли трещина между ними, заставила Горбушина не без сожаления отложить шабер, подняться с параллели.

Но прежде чем уйти, он явился свидетелем еще одного короткого и весьма любопытного разговора.

Пришли Григорий Иванович Ким и десятник Файзулин. Первый был в светлых брюках и белой рубашке с закатанными по локти рукавами, поздоровался бодро, подняв над головой руку, этакий весь праздничный, затем сказал Горбушину: забежал договориться, когда подтягивать дизеля и генераторы к ДЭС; если завтра утром — параллели будут готовы? Горбушин согласился заняться подвозкой завтра утром.

Поэтому Мурат, который должен был вести трактор, вместе с Кимом ушел к машине, брошенной где-то в углу двора, чтобы немедленно заняться ею. Она стояла холодная, с засохшими комьями грязи на траках.

Их ухода ждал, как оказалось, Гаяс, предложивший Файзулину сесть рядом с собой.

— Каюм, секретарь нашей партийной организации Нариман-ака дал мне партийное поручение поговорить с тобой. Сам он тоже будет говорить с тобой. Директор будет. Главный механик будет. Парторганизация маленькая, все будут говорить с тобой, Каюм. Начинаю я. Ты хочешь вступить в партию?

— Подал заявление.

— Заявление подал, аллаху молишься. Как это понимать? Вчера у шнеков молился, Нурзалиев дал тебе за это выговор. Как понимать?..

— Дал начальник выговор. Начальник всегда знает, что делает.

— Каюм, дружище, коммунист не должен молиться. Коммунисты на всем белом свете не молятся.

— Этого не знаю, Гаяс. Молиться аллаху — значит стремиться к добру. Желать себе и людям добра.

Они говорили по-узбекски, неторопливо подбирая слова, потому что Гаяс был башкир, Файзулин — узбек, и этот ответственный разговор, желая во всем правильно понять друг друга, они вели очень медленно. (Это уже после ухода Файзулина Гаяс рассказал Горбушину и Шакиру о беседе, и Горбушин пожалел, что не знает узбекского языка.)

Файзулин сидел напряженный, опустив голову, глядел себе под ноги.

— Либо партию выбирай, Каюм, либо аллаха, вместе им, я думаю, будет тесно.

— В тумане твои слова, Гаяс... И пусть их осветит аллах. Почему я подал заявление? В партии главный человек рабочий, но разве я не ребенком пошел к баю пасти баранов? Кто был мой отец? Рабочий. Кем будут мои дети? Рабочими. Какое твое мнение об этом, Гаяс?

— Мое мнение об этом хорошее.

— Значит, я правильно поступил?

— И об этом мое мнение очень хорошее. Но ты Устав партии не читал?

— Я читал... Нариман-ака сказал — читай!

— И устав аллаха читаешь, Коран... Партия отрицает аллаха и Коран. Какое твое мнение об этом?

— Понял, Гаяс... Тут я с партией не согласен. Аллаху молятся уже тысячелетия.

— Скажи мне, пожалуйста, Каюм, кто тебе помогает растить детей — партия или аллах?

— Партия. Поэтому подал заявление. Но кто нас всех наставляет, Гаяс? Аллах. Так отец говорил, дед говорил, я так всю жизнь говорил... Они учили меня понимать, кто у нас самый мудрый.

— У тебя десять детей, у меня тринадцать. Кто твою жену и мою жену назвал матерью-героиней? Кто нам деньги дает на воспитание ребят — мудрый всемилосердный или партия рабочих и крестьян?

— За помощь нашим детям — спасибо. Я хочу быть в партии вместе с Нариманом-ака, Усманом-ака, Гуламом-ака, Дженбеком-ака, Григорием-ака.

— От религии они отказались.

— Я от аллаха не откажусь.

— Тогда, Каюм, иди, соображай о жизни, спрашивай себя, почему в Туркестане люди никогда не жили так хорошо, как живут теперь,— кто дал такую жизнь? Я на партийном собрании предложу твое заявление рассмотреть через год. Теперь закурим, Каюм!

40

За воротами завода Горбушин увидел полуторку Романа и подошел к ней. Цыган сидел в кабине, могучая черная бородища касалась раскрытой книги, лежащей

на баранке руля, как на пюпитре, взгляд жадно метался по строчкам. Горбушин поздоровался, не услышал ответа и спросил, как называется книга.

— Про Монте-Кристу! Ах, боже мой... Какое счастье привалило человеку!.. Какое!.. — Роман это прокричал, но от книги взгляда не отвел.

— Графу привалило счастье?

— Ну какой он граф, будь я проклят!.. Если человек много лет отсидел в тюрьме, какой он граф? — Роман на минуту выпрямился. — Может, тебе нравится сидеть в тюрьме? Я сидел, так мне известно, что это такое. На заре светлой юности своей сидел в тюрьме... Знаешь, что бы я на тот сундук закупил? Около Воронежа есть завод коней чистых кровей, ах, какие там кони... Я бы на тот сундук закупил двадцать коней и своим гоном, верхи на лучшем скакуне, пошел в саратовские степи, там добрый корм произрастает, оттуда в Казахстан, там еще лучше корма, а потом на Голодную степь и по ней напрямик в Янгиер. И вот тебе Ура-Тюбе! Дома!

— Это городишко такой или кишлак, Ура-Тюбе?

— Городишко или кишлак!.. Что может сказать отсталый человек!.. Иди отсюда, слесарь, иди с аллахом, не мешай человеку поднимать культурный уровень!

— Ты не сердись, Роман... Я же не знаю, что это такое, Ура-Тюбе. Объясни, будь другом.

— В Ура-Тюбе жил великий хан Бабур, это во-первых. Но ты, конечно, не знаешь и этого. Еще я тебе скажу, что это бывший город Кирополь, основанный персидским царем Киром. А когда он жил, тебе известно? Двадцать пять веков назад. А ты говоришь: кишлак или городишко?.. Не интересно с тобой беседовать, прямо заявляю!

— Ну, извини меня, пожалуйста, я же не знал, что там жил хан Бабур.

— Может, ты не знаешь, что хан Бабур — это все равно что Наполеон французский? Даже что два французских Наполеона?.. Тогда я спрошу у тебя, а что ты вообще знаешь, слесарь? Александр Македонский брал Ура-Тюбе приступом. В том бою его ранили камнем в голову, это было почти смертельно, он как ляпнулся спиной на землю, так неделю глаз не открывал. А кто тот камень ему в голову пустил? Ты мне поручишься, что не цыган? Дашь клятву?.. Цыгане и в те времена и нынче проживают в Ура-Тюбе, они даже очень уважа-

ют этот город. Если тебе интересно знать, так я скажу, что я в Ура-Тюбе родился!

— Знаменитая у тебя родина, Роман!

— Зачем она мне родина? Разве я тебе это сказал? Это ты мне сказал!.. Родина цыган, чтобы ты знал, весь Туркестан. Я из племени цыган-люли. Слыхал? Что ты можешь слышать, что вообще можешь мне говорить, если ничего не слышал и ничего не знаешь? Нет, слесарь, иди, иди от меня, не мешай! — И Роман опять углубился в книгу.

— Сейчас сажусь в кузов. Скажи, чем в старое время занимались цыгане?

— Чем они занимались, он спрашивает! Кочевники кочевали от одной доброй травы до другой еще лучшей, цыгане кочевали следом. У одного десяток овец отобьют, у другого пару овец, или пару коней, или ишака, когда как получится, но они и работали, работали, — не имей о них неправильное представление. Выделывали и продавали сита, корыта, ложки, поварешки; еще дрессировали козлов, собак, медведей. Лучших дрессировщиков мир не видел. Ваш Дуров, идет слух, происходит из цыган рода люли. Ай-люли!.. Оттуда он, это факт. И цыганки трудились, а ты как думаешь? Ворожили на руку и на карты, торговали мылом, лекарственными травами, бусами, колечками, усмой, сурьмой. Говорю тебе: жили, теперь так не поживешь!

— Теперь хуже живется?

— Спрашиваешь! Раньше меня носили горячие ноги коня, а теперь носит вонючая резина. Вон они, скаты, в пыли!

— Зато эти ноги бегают по сто километров в час, а твои горячие, благородные...

Роман бешено закричал:

— Ты можешь равнять ноги коня с вонючей резиной?! Ты не человек! Не видал ахалтекинского скакуна!.. Боже, зачем живут такие отсталые люди?! Иди, слесарь, прошу тебя, иди шкрябать свое дохлое железо и не говори про коней!

— Ладно, Роман, еще один, самый последний вопрос. Я понимаю, что расстроил тебя, но последний... И я полезу в кузов.

— Ну и давай свои дурацкие вопросы, что я могу с тобой поделать, если ты пристал?

— Теперь цыгане в колхозах работают?

— Да ни в жизнь настоящие цыгане в колхозах работать не будут!.. Разве это цыгане, которые в колхозе?! Это не я тебе сказал, это ты мне сказал! Моя жена ушла от меня с двумя сынами. Один на руке сидит, другой впереди бежит и танцует. Человеком будет!.. Тьфу, дурак, сказала баба, я картами больше выбью, чем ты за баранкой. А куда я без баранки? Я родился, чтобы ездить! Я так родился! Если нет коня, за баранкой буду сидеть, пускай меня вонючая резина мучит! Пускай одним мучеником на свете будет больше!..

И вдруг Роман переменил тон: из конторы медленно выходили Рахимбаев, Джабаров, Рип и Муасам, беспокойная соседка Горбушина и Шакира, смех которой они часто слышали у себя за стеной. Ее узкие черные тетерочьи глаза с острым блеском светились откровенной жадностью ко всему, что ее окружало, комбинезон на высокой груди, забрызганный раствором, был расстегнут, красный поясок схватывал талию, и задорно, как всегда, торчала на голове ковроно-красная тюбетейка набекрень.

— О-о, какая баба, я не могу!.. — восхищенно забормотал Роман. — Держи меня, слесарь!.. — В возбуждении Роман захлопнул книгу и дал длинный сигнал. — Раньше ты бы весь Туркестан прошел и такой красавицы не увидел. У восемнадцатилетней было уже трое детей, было четверо... А этой девятнадцать, и она одна. Не могут мои глаза видеть такое!

Рип издали легким кивком поздоровалась с Горбушиным. Девушки раньше, чем занятые разговором мужчины, подошли к машине. Муасам, не переставая широко улыбаться — так ключом била в ней радость жизни, — сказала Горбушину, чтобы он и Шакир зашли к ней стать на комсомольский учет, она узнала от Рудены, что они комсомольцы.

— Очень хорошо, Муасам. Станем. Куда прийти?

— Наша комната.

— Почему в комнату, а не в комитет?

— Пока дядюшка места комитету не дал. Рип стала на учет, нада вам. У нас скоро будет большая собрания. Придут из райком комсомола работники... Скоро, через два дня!

Рип прибавила к ее словам:

— Придут Усман Джабарович и Нурзалиев... Райком партии посоветовал собрать заводских комсомольцев.

Это обрадовало Горбушина, и он живо спросил:

— Повестка дня?

— Как скорее достроить дизель-электрическую станцию.

— Чудесно! В какое время собираться?

Рип медлила с ответом, отчужденно глядя в сторону. Сказала Муасам:

— После работы, товарищ Никита...

— Но у нас удлиненный рабочий день, не хотелось бы прерывать его. Нельзя собрание перенести на воскресенье?

— В воскресный день трудно собрать ребят,— с легким раздражением и теперь глядя в лицо Горбушину, сказала Рип.

— Пожалуй, это верно...

Ему хотелось говорить с ней как можно дольше, но он заметил: Рип лишь помогает Муасам в наиболее трудные для нее моменты, этим и объясняется ее внимание к нему.

— Мурат, ты, Шакир, идите собрание... Другие слесари нада работать там, на ДЭС! — Теперь Муасам теребила одну из своих тонких длинных кос, переброшенных на грудь, заправленных за поясок.

Приблизились мужчины. Девушки отошли к другому борту. Муасам, вскочив в кузов, подала руку Рип, помогая подняться ей, не такой ловкой. Потом Муасам прошлась по кузову, трогая горячие борта, похлопала ладонью о ладонь, чтобы стряхнулась пыль, и так же легко, как поднялась в машину, соскочила с нее.

Горбушину не захотелось уступать девчонке в ловкости. С маху, по солдатской привычке, взлетел он в кузов, лишь коснувшись ногой колеса, а Рип и мимолетного внимания не обратила на него. Она сидела на порожнем перевернутом ящике, склонив голову, смотрела на Джабарова и Рахимбаева, обменивающихся с Романом последними замечаниями перед отъездом.

41

Грузовичок изрядное время петлял по широким и почти безлюдным в жаркий полдень улицам, давая Горбушину хорошую возможность приглядеться к поселку. Дома везде небольшие, крытые камышом, железом,

черепицей, рубероидом, даже стеблями джугары, — они прятались в садах за глиняными дувалами, иной раз настолько высокими, что выглядывали только эти разномастные крыши, полузакрытые кронами деревьев, чаще всего фруктовых. Ветви обвисали под тяжестью орехов, гранатов, яблок.

А когда машина выбежала на окраину поселка, Горбушину открылись уходящие к горизонту ровные, без единого холма просторы великой Голодной степи, уникального явления природы по бесплодию, засоленности и масштабам территории. Горбушин вспомнил услышанную от Джабарова легенду о том, что тысячелетия назад Голодная степь была цветущим садом и соловей мог с дерева на дерево перелететь ее всю. Это же утверждалось и в поэме Навои «Фархад и Ширин».

Грузовичок мчался по необозримо широким просторам, уходящим ко всем горизонтам. Желтовато-серая почва напомнила Горбушину казахскую целину, на которую он весь день смотрел из окна вагона, но там было много верблюжьей колючки, орлы иногда сидели на телеграфных столбах, бродил домашний скот; здесь же редкая, уже сгоревшая растительность чередовалась с тускло блестящими пятнами, образовавшимися от растопленной когда-то солнцем и дождями соли. Пятна пластмассовыми глазами смотрели на Горбушина отовсюду, и ему хотелось сойти с машины и потрогать их руками.

Затем он увидел группу землеройных машин: одни стояли неподвижно, другие работали, выхлопывая синие бензиновые дымки, чуть заметные в лучах солнца. И опять Горбушину вспомнились слова Джабарова: говорят, достаточно пустить воду в эту степь, и все в ней зацветет. Нет, мало воду пустить, надо еще избавить почву от многовековой соли, а это работа сложная, труднейшая. Отрываются две системы канав одновременно, в одну сбрасываются грязные после промывки почвы, полусоленые воды, которые затем выводятся из степи, по другой системе разливается чистая вода на промытую уже землю, питает ее, и лишь после этого почва начинает родить.

Горбушину хотелось обо всем этом говорить с Рип, но она продолжала неприступно смотреть в сторону, и он все ждал, когда она повернется. Впрочем, беседовать помешала бы пыль, мельчайшая голодностепская

пыль, поднимавшаяся за грузовичком до того густо, что через ее пелену ничего не было видно. В лучах солнца пыль казалась белоснежной и золотистой, она длиннейшим хвостом и каскадами поднималась в небо. Такое ее обилие объяснялось отсутствием дождей. Да, они очень редко выпадали в этом знойном климате, и главным образом весной и поздней осенью, а летом почти никогда — что и нужно хлопку для отличного произрастания.

В пыли, как в дыму, машина Романа проскочила по каменному мосту, пересекая выложенный булыжником канал, главный в Голодной степи, ставший легендарным. По каналу чуть заметно текла голубоватая сырдарьинская вода. Сразу за ним открылись слева и справа хлопковые поля, которые так хотелось увидеть шеф-монтерам в ту первую ночь, когда они, преследуемые нарастающей грозой, бежали к хлопкозаводу. Кустам хлопчатника, казалось, нет конца. До метра в рост, широкие, усеянные белыми, пышно раскрывшимися коробочками, они ровными рядами уходили вдаль.

Но вот Роман свернул на малоезженую дорогу, пыли на ней было меньше, прокатил еще немного и остановился перед единственным в поле домом, похожим на двухэтажный, который, однако, имел лишь два оконца у самой земли, а от них поднималась вверх глухая высокая стена: в необычной степи необычный дом. Перед дверью стоял «Москвич», поседевший от пыли,— с трудом можно было различить его синий цвет. Тут же протекал арык вдоль гряды высокоствольных деревьев, которые Рахимбаев назвал персидской желтой акацией, к удивлению Горбушина, привыкшего желтую акацию считать кустарником.

Все сошли с машины, в тени деревьев начали хлестать ладонями по одежде. У Рип посветлели от пыли волосы, и Горбушин сказал ей об этом, но она промолчала.

Из дома тяжеловатой походкой вышел председатель колхоза, горбоносый сын Северного Кавказа, только что приехавший на полевой стан на собственном «Москвиче». Он представился Гулян и Горбушину, потом поздоровался с Рахимбаевым и Романом.

— Знаю я, Нариман-ака, зачем приехал! — улыбался он в пышные усы.

— Откуда знаешь?

— Товарищ Айтматов, светлая его голова, позвонил вчера. Обо всем заботится человек. А вас, начальница-барышня, он рекомендовал не бояться! — Председатель, или, как всех председателей в Узбекистане называют, раис, теперь уже почти смеялся. — Мы только утром начали подвозить первые канары с хлопком, и вот нас уже проверяет ОТК... Замечательно, барышня, совсем замечательно. — По-русски он говорил хорошо, но медленно, подбирая слово к слову.

Рип решила не замечать его иронии.

— Посмотрим то, что вы подвезли. Затем я хотела бы пройти на поле к сборщицам.

Раис удивился:

— Зачем ходить? Они все сейчас соберутся сюда обедать, беседуйте сколько захотите.

— Нет... Я должна проверить созревание хлопчатника и посмотреть, как люди его собирают.

Рахимбаев поддержал ее:

— Это надо... И женщин поинструктирует. Тоже надо...

— Пожалуйста,— пожал плечами раис.

Затем все направились на другую сторону дома. Там на глинобитной площадке увидели большую кучу хлопка,— солнце так удивительно дробилось на ней зелеными и золотистыми искорками, что от хлопка трудно было отвести взгляд.

В эту минуту к площадке, но с другой ее стороны, приближался ишак, понуро тащивший по меже между кустами два канара с хлопком, низко свесившихся по его бокам. Ишака погоняла прутиком девочка лет десяти — двенадцати в тюбетейке, в сером длинном холщовом платье. Раис поспешил ей навстречу, остановил ишака, снял с него канары, вытряхнул белоснежную массу на кучу, канары же опять швырнул на ишака, после чего девочка, похлопав ишака по шее, повернула его к полю, стегнула прутиком и пошла за ним по меже, все оборачиваясь и оборачиваясь еще разок взглянуть на незнакомых, таких интересных для нее людей.

— Вот,— сказал раис,— видели?.. Ей в куклы играть, а она работает, помогает взрослым. Созревает море хлопка, а кому убирать? Теперь еще вам я должен отчислить пять человек на две недели... Голову с меня лучше бы сняли!

Рахимбаев, чуть повышенным от удивления тоном, спросил, кто же распорядился о посылке на завод пяти человек.

— Айтматов заботится, кто же еще может приказать нам? От меня поедете к соседу, там тоже готовят пятерых, потом еще к одному... Заплачут от вас раисы! — вежливо улыбался в усы председатель.

Горбушин спросил:

— А чего им плакать?

— А как мы выиграем соревнование, дорогой товарищ? В прошлом году Голодной степи досталось первое место в республике, много наград было колхозникам и руководителям. Нам сказали: если и в будущем году выйдете на первое место, будут вам большие награды из Москвы... Как нам не стараться?

Рахимбаев промолчал. Ведь Бекбулатов подчеркивал: просить в колхозах людей, а не приказывать, как предложил Айтматов... А что же получается? Дилдабай Орунбаевич сделал по-своему. Член бюро райкома Рахимбаев конечно же скажет об этом первому, хотя догадывается, что заставило Айтматова поступить по-своему... Никто из руководителей не знал района лучше, чем Айтматов; беспримерный труженик, он помнил десятки хлопкоробов по имени и фамилии, знал, кто из них как работает. Звеньевые и бригадиры особенно интересовали его, он бывал в их домах, даже помнил их детей. Знание своего дела рождает в человеке уверенность. Такой уверенностью обладал Айтматов.

Рип спросила у раиса, давно ли он занимается выращиванием хлопка.

— Десять лет, девушка.

— Когда отправите к нам этот хлопок?

— Сегодня вечером, если ишак натаскает на тележку. Пока еще, как видите, его мало.

— Учтите, пожалуйста, что после десяти часов вечера приема на заводе не будет.

— Каждый год это говорят и каждый год принимают до полуночи.

— Почему вы держите его в куче?

— Некому разбрасывать. Видали девочку?..

— А вы знаете, сколько хлопка ежегодно согревается и преет оттого, что он недостаточно сухой?

— Мы знаем, почему мы не знаем?.. Мы все знаем! — опять широко улыбнулся раис.

Рип подошла к куче, запустила в нее руку по самое плечо, достала горсть хлопка и внимательно рассмотрела его. Она сказала, что влажность выше допустимого, такой хлопок на заводе принят не будет.

Раис перестал улыбаться:

— Почему выше нормы, барышня?!

— Если сомневаетесь, мы проверим его на заводе влагомером в вашем присутствии.

— Зачем нам ссориться... Не примете первым сортом, сдадим вторым, мы люди богатые, не заплачем.

— Сырой хлопок я никаким сортом не буду принимать, ставлю вас в известность,— подчеркнула последние слова Рип.

Она наклонилась, взяла охапку белой массы, потащила ее на край площадки и там раскидала для просушки. Схватил охапку, глядя на Рип, и Горбушин, отнес и раскидал. За ним Роман, что-то забормотав, сгреб уже целую охапищу и, роняя по пути хлопок, направился на противоположный конец площадки. Когда же и старый Рахимбаев начал помогать молодым, раис с выражением доброй снисходительности на крупном лице тоже принялся работать.

42

Растаскали кучу, затем по меже, по которой девочка пригнала ишака, пошли в глубь поля. Впереди Рип. Она шла медленно и часто останавливалась осмотреть ближайший куст; за нею шагал Горбушин, за ним остальные. Впрочем, Роман остался на стане. Располосовав в тени персидской акации крупный арбуз, он кончиком ножа выковыривал из него черные семечки, чтобы ярко-красной мякотью насладиться без помехи.

Рахимбаеву понравился поединок начальницы ОТК с раисом, он шел и думал, как расскажет об этом Джабарову, обрадует его. Они оба еще не наблюдали девушку за работой, это были ее первые шаги, и они нравились старику. А сейчас он увидит ее умение беседовать со сборщицами.

Да, Рип не спешила. Она то и дело останавливалась изучить уже лопнувшие по всем четырем граням коробочки, сдергивала иную, разрывала на части, по очереди мяла дольки на ладони, еще зеленоватые, с сырым желтоватым хлопком, будто спрашивала у него, когда он

созреет. Она работала, задерживая спутников и не думая о них. Горбушин, внутренне прикованный к Рип, которая опять, как в их первую и вторую встречи, чем-то очень удивляла его, подсчитывал коробочки на кустах — на ином было свыше тридцати, на ином до десятка. В разговоре с раисом, например, он слышал в ее голосе твердую настойчивость и одновременно мягкую стеснительность.

Недалеко от них над кустами низко летел самолет У-2, оставляя за собой широкий шлейф темно-дымного вещества, медленно оседающего на хлопчатник. Рип, изучая пораженную вредителем коробочку, безразличным тоном сказала Горбушину, что самолет производит дефолиацию — специальное опыление, после которого листья с кустов опадают, на ветках остаются лишь коробочки и, уже ничем не затененные, быстрее дозревают, и людям и машинам удобнее снимать урожай.

Горбушин обрадовался. Ведь заговорила!

— Невероятно, какие жесткие стебли и листья... А родят вату!

— В другом месте не назовите хлопок ватой. Вас засмеют.

— Учту... Почему на одном кусте много коробочек, на другом мало?

— Один больше взял света и питания, другой меньше.

— Значит, у растений примерно тот же закон, что у людей? Каждому отпускается по его способностям?

Он еле заметно пошутил, все же она насторожилась и не отозвалась. Они приблизились к сборщицам. В бригаде их было десять. На большинстве светлые платья, белые платки или соломенные шляпы: к жаре люди привыкли, но послеполуденного зноя побаивались, светлыми одеждами защищаясь от него. Женщины худощавы, загорелы, черноволосы. У каждой фартук закрывает грудь, концы его пристегнуты к поясу, так что получается мешок, куда сборщица и сует обеими руками быстро сдергиваемый хлопок; потом, когда его набирается много и это уже мешает женщине работать, она относит его к стоящему канару, высыпает туда. Канаром в Средней Азии называется мешок, но он шире и длинней обычного, даже напоминает наматрацник: на Украине нечто подобное называют лантухом.

Раис что-то проговорил на кавказском наречии, две колхозницы после этого остановили взгляды на Рип.

К одной из них и подошла она, попросила показать, какой собран хлопок. Молодая женщина в пестром платке отстегнула концы фартука, белоснежная горка бесшумно сдвинулась вперед; Рип поворошила ее, затем набрала хлопка в обе руки, всмотрелась. Раис, Рахимбаев, колхозницы окружили начальницу ОТК, ожидая, что она скажет.

Раис мнимо угрожающе предупредил женщин:

— Ну, берегитесь, сейчас вам достанется!

А Рип будто не услышала его. Спросила: знают ли товарищи, какую пахту следует брать, какую — нет? Вопрос был не только знаком колхозницам, он навяз в зубах, поэтому, перебивая одна другую характерными для кавказцев глуховатыми голосами, они заговорили все разом. Знают. Не первый год берут. Да и раис, и бригадир, и начальство из района объясняли, и на собрании об этом толковали.

— Тогда зачем сорвали эту коробочку? Или вот эту, смотрите, в которой пахта кучерявая, напоминает каракуль. Учтите: если такой пахты окажется в тележке много, товар будет принят вторым или даже третьим сортом.

Хор глуховатых голосов звучал все возбужденнее. Горбушин понимал отдельные слова, общий смысл терялся в шуме, но все же главное он схватывал. Женщины утверждали, что иногда срывают не те коробочки и хорошо видят это, но как быть, если норма сбора высокая, выполнить ее можно лишь хватая и хватая? Нет возможности приглядываться, тем более что многие коробочки склоняются вниз, многие — в противоположную от сборщицы сторону.

Особенно горячилась молодая женщина в пестром, сбившемся на затылок платке, продолжавшая держать перед Рип откинутый фартук. Высоким голосом красивого тембра она выкрикивала:

— Что получается? Если медленно работать — раис нас будет есть, если быстро работать — вы урожай станете принимать вторым сортом. Как быть, кого слушать? Объясните!

— Съем вместе с вашими платками,— подтвердил раис добродушно. — У вас, женщины, есть ежедневная норма сбора, у меня есть ежедневная норма сдачи на завод, установленная райкомом партии. Берите пахту быстро, но качественно, дело в этом. Не забывайте, что го-

ворилось на большом собрании перед началом полевых работ. Наша пахта идет на отечественные нужды и в ряд стран на экспорт. Продается ГДР и ФРГ, Дании, Швейцарии, Франции, Польше, Югославии, Болгарии, Румынии — мне не известны все страны, куда отправляется наша пахта. Разве я вам этого не говорил?

— Говорил! Чего ты не говоришь на собрании! Для собрания у тебя язык мягкий, а для нас железный. Сколько канаров отправили на стан? Почему мало?.. Вот какой твой язык! — не переставала бушевать женщина в пестром платке.

Вмешалась старуха лет семидесяти, молчавшая до этого, с дряблым лицом и выцветшими глазами:

— Мы тебя знаем, раис, ты знаешь нас. Ты орден получил из Москвы. Я не выполняю норму, мне трудно равняться с молодыми, но я беру пахту зрелую. Ты меня никогда за качество не похвалишь, ты ругаешь меня за невыполнение нормы.

Рип попросила старуху показать свой сбор. Переворошила его и сказала с удовольствием, что это отличный хлопок, бесспорно высший сорт. Да-да, высший. На это качество надо равняться всем.

И лицо раиса перестало быть добродушным.

— Тогда, начальница, прошу вас, поезжайте, пожалуйста, в Ташкент, привезите нам новые нормы сдачи. До сегодняшнего дня мы знали одно: если пахта созрела, зевать нельзя. Нас благодарят и награждают, когда мы работаем быстро. Вас, значит, это не устраивает?

— У нас одно с вами начальство,— мнимо равнодушно приняла удар Рип. — Поезжайте и вы в Ташкент, поскольку указания заводу приходят оттуда же, скажите, чтобы от вас не требовали качества вашей работы... Советское правительство утвердило пять сортов хлопка, поэтому заводом будут учитываться все дефекты доставляемого урожая. Засоренный хлопок — на сколько процентов?.. Влажный, незрелый — на сколько процентов влажный, незрелый? Поврежденный клещиком. В какой мере? Поврежденный совкой... Пора твердо усвоить, что без качества нет количества, любая некачественная работа будет очковтирательством. Вот что я должна вам сказать!

Общее молчание нарушил Рахимбаев. Поле и завод — две стороны дела. Просьба начальницы ОТК

хорошо собирать урожай — правильная. При машинном сборе процент засоренности хлопка-сырца высокий, так если и ручной сбор не будет отличаться от машинного, к какому качеству можно прийти?

Потом заводские простились с колхозницами. Вернулись в сопровождении раиса к желтым акациям, этому темному острову среди белого моря, чуть колеблющемуся под упругим ветром. И вскоре там, на полевом стане, собралось на обед человек пятьдесят. Уставшие, потные люди сидели в тени деревьев, лежали на избитой пыльной травке. Развязывали узелки со снедью. Одна из женщин умывалась в арыке, кто-то катил по земле от дома к арыку арбузы и дыни, побелевшие от пыли, кто-то купал их в арыке, кто-то уверенными взмахами длинного ножа располосовывал их на большие скибы, такие тяжелые, что в одной руке этакую скибу и не удержать.

Раис шепнул Рахимбаеву: Айтматов поименно назвал пятерых мужчин, сейчас он объявит об этом. И Рахимбаев вторично почувствовал ненужность своего выступления. Приказ отдан, люди придут. Зачем выступать? Все же он сказал после раиса несколько фраз собравшимся: завод свою работу должен начать первого декабря, но пущен не будет, если товарищи не помогут довести строительство до конца.

К выступлениям раиса и Рахимбаева люди отнеслись равнодушно. Ни вопросов, ни замечаний. А на речь начальницы ОТК откликнулись дружно, одобрительно.

В представлении Горбушина Рип не была словоохотливой, насколько он мог об этом судить по редким встречам с нею. Здесь же заговорила со всем запалом молодости, не признающей компромиссов. Ударила по раису, что понравилось колхозникам и привело их в веселое настроение. Хлопок — культура дорогостоящая и легко портящаяся, говорила Рип, никому из причастных к хлопкопроизводству не следует это забывать, но как рядовой колхозник станет помнить, если его раис, награжденный орденом за доблестный труд, халатно относится к сохранению урожая? Полуденное солнце хорошо сушит только что отделенный от веток хлопок, но он, еще сыроватый, свален в кучу, и раис спокойно ждет, когда куча будет большой, чтобы погрузить ее на тележку и отправить на завод. Тут присутствуют десятки людей, раис знает, сколько каждый должен собрать за день, но

он не хочет знать, что следует поставить на площадку человека сушить урожай.

Возгласы, одобрительный смешок, лишь умолкла Рип. Даже проснулся Роман, спавший в тени полуторки, сел, протер глаза и стал аплодировать своими широкими, как лопаты, ладонями.

43

Рахимбаев, поскольку в колхозах ему уже нечего было делать, предложил вернуться на завод. Рип расстроилась. Она рвалась в колхозы инструктировать людей и смотреть, на тех ли участках начинают выборочный съем урожая. Волнение девушки нравилось Рахимбаеву. Он похвалил ее за беседу со сборщицами на поле, за критику раиса, пообещал сегодня же поговорить с Джабаровым, чтобы завтра с утра она получила машину в полное свое распоряжение и ездила бы по бригадам и колхозам сколько нужно. Это успокоило Рип.

Колебался и Горбушин, но молчал, готовый поддержать старика, а значит, скорее вернуться на ДЭС, к оставленной работе. Не хотелось расставаться и с Рип, прервать тот молчаливый поединок, который начался между ними еще в машине, когда они сели рядом на порожний ящик. Словом, окончательное решение вопроса — всем вместе вернуться на завод — Горбушина тоже устраивало.

Прежде чем пуститься в обратный путь, он поинтересовался, взглянув на Романа, далеко ли отсюда Сыр-Дарья, широка ли она. Этого было достаточно, чтобы вскоре грузовичок остановился на берегу одной из величайших на планете рек, и все вышли из машины, жадно, с истинным наслаждением вдыхая влажный воздух, идущий от быстро катящихся, слабо взблескивающих бледно-голубых волн.

— Широкая! — одобрительно вырвалось у Горбушина.

— Давай, слесарь, купаться! — хлопнул его по плечу Роман.

— Не надо... — встревожился Рахимбаев. — Человек он новый, а здесь вода беспокойная.

Горбушин тронул руку Рип, улыбнулся девушке.

— Вы начальница, как смотрите на предложение Романа?

— Оно сделано не мне!

Рахимбаев задумчиво глядел на реку. Потом тоном старого учителя начал говорить, что ее поверхность занимает около шестисот тысяч квадратных километров — более той площади, на которой лежат Англия и Португалия, вместе взятые. Горбушин приподнял брови... А услыхав, что по количеству воды Сыр-Дарья уступает Аму-Дарье, даже невольно развел руками. Великие сестры вытекают из одного источника, колоссальных ледовых образований на Памире, оттуда же берут свое начало еще с десяток бурных и достаточно больших рек: Вахш, Пяндж, Ош, Зеравшан и другие.

— Скажите, пожалуйста, Нариман Абдулахатович, верно ли, что Александр Македонский бывал в этих краях?

— Вот тут Александр со своими воинами проплывал на гупсарах.

— Что такое гупсары?

— Воловьи шкуры, надутые воздухом.

— Кого он бил в этих краях?

— Преследовал отступающих кочевников, ваших далеких предков, Никита, скифов и массагетов. Разбил их, рассеял по степи. Затем он осадил город Кирополь, взял его и устроил там кровавый пир.

Роман пламенно поглядел на Горбушина:

— Ура-Тюбе, слесарь, Ура-Тюбе! Человек должен быть орлом о двух крыльях, а ты скучный! Шкрябай свое железо и не спрашивай меня о великом городе Ура-Тюбе!

После этой тирады Роман направился за кусты, там разделся и бухнулся в реку — зазвучали его гулкие шлепки по воде, громкое, сладостное кряхтенье.

В глазищах Рип мелькнуло что-то насмешливое, и Горбушин понял: сейчас он дал маху в этом поединке с Романом. Девушка обратилась к Рахимбаеву:

— Ура-Тюбе — бывший город Кирополь?

— Да! Не многим людям известно, что двадцати трех лет от роду он уже умер, этот грек из Македонии, непобедимо пройдя через города и народы десятки тысяч километров. Вы спрашиваете, Никита, здесь ли кочевали скифы? Они кочевали по всему правому берегу реки Яксарт, так что верно будет сказать: кочевали на территории, ныне занимаемой несколькими советскими республиками. И что интересно, знаете... На них напал

основатель персидской монархии Кир, гробница которого, монолитная, каменная, высоко поднятая на каменных же столбах, сейчас стоит в Иране... Кир победил скифов и массагетов, однако властвовал здесь недолго, что-то лет около пятнадцати. Царица кочевников Томира, собрав в воинские ряды скифов и массагетов, разбила тут Кира и взяла его в плен. Она приказала отрубить ему голову, бросить ее в мешок с кровью, что, видимо, и было сделано; точных сведений нет, было ли приведено в исполнение приказание победительницы, но важно, мои молодые друзья, другое: двадцать пять веков назад народы, почти еще не знавшие цивилизации, ничего захватчикам не прощали, как ничего им не прощают в наши времена. И вот еще что... Киру поставлен памятник на тысячелетия, его, монарха, знает мир. А многим ли знакомо имя этой отважной женщины, царицы скифов и массагетов, Томиры? Она победила Кира, а где памятник ей? История об этом молчит... Вот тут бы и поставить его, в Голодной степи, на берегу бурливой красавицы Яксарт.

Изумление Горбушина росло... Откуда у старого узбека-рабочего такие обширные знания по древней истории? Откуда у него это чистое русское произношение? Почему секретарь райкома назвал его гордостью партийной организации района?

Рахимбаев увлек своим рассказом и девушку. Она стала задавать вопросы. За пятнадцать-двадцать минут, что шумел в воде Роман, молодые люди услышали еще много для себя интересного.

— Я люблю воду, потому что в ней вечное движение, — говорил Рахимбаев, глядя на реку. — Да, я могу ею любоваться сколько угодно, все равно, река это или океан. Жизнь возникла в воде, и кто знает, какие родственные нам организмы обнаружит в ней человек далекого будущего, когда бездны океана покорятся ему полностью и начнется глубокое, достойное его, океана, изучение... Вам не приходилось задумываться о том, почему человеку трудно отвести взгляд от катящихся волн? Подумайте!..

Он говорил о древних народах Средней Азии просто и естественно, двумя-тремя фразами связывая крупнейшие исторические события. Он говорил о пленительной Согдиане, о бактрийцах и джемшидах, о высокопросвещенных сельджуках и их столице, древнем Мерве,

лежащем в развалинах, разграбленном, истоптанном конями Тулая, четвертого сына Чингисхана. Он говорил о древнем Отраре, где в тысяча четыреста пятом году спокойно отдал аллаху душу Потрясатель вселенной Тимур-Тамерлан, начавший свою карьеру простым разбойником на большой дороге, где ему и ногу перебили, навсегда сделав его Железным хромцом. А жизнь Тимур закончил завоевателем, грабителем уже не на проезжей дороге, где он снимал с людей халаты и штаны, но грабителем целых государств, из которых вывозил все ценное для украшения любимого им Самарканда.

— Я напомню вам историю Узбекистана, молодые люди, историю моей родины, историю жизни Узбек-хана, о котором вы также ничего не знаете или знаете очень мало. Он был близким потомком Джучи-хана, старшего сына Чингисхана, и в середине четырнадцатого столетия властвовал над десятками народностей, а если ближе к истине, так этих народностей было девять десятков. Фанатически преданный мусульманской религии, ничего общего не имевший со своими воинственными предками, Узбек-хан заставлял подчиненные ему народности чтить ислам так же глубоко и безропотно, как чтил его сам, а впоследствии все эти девяносто мелких народностей стали называть себя узбеками. Так и родился Узбекистан...

Средняя Азия оживала в точных словах старого слесаря-кудесника, представляясь Горбушину извечной ареной деятельности колоссальных народных масс, народных битв, раскрывалась разнообразными источниками общечеловеческой культуры.

Горбушин извинился, что много уже задал вопросов, и попросил ответить еще на один — последний. Когда в Средней Азии появились русские? В каждом столетии, услышал он, начиная с двенадцатого, русские купцы, затем государевы купцы-посланцы, посланцы-путешественники появлялись в разных городах Средней Азии, изучая населяющие ее народы и пути к ним. Да, пути к ним всегда интересовали русских, но особенно это ощущалось при царе Алексее Михайловиче, отце Петра Первого, а в царствование последнего попытки изучить Среднюю Азию носили уже плановый по тем временам характер.

Нариман Абдулахатович замолчал, только когда от кустов подошел Роман, вытирая мокрую бороду темной тряпицей.

И снова машина, полускрываясь в облаке золотистой пыли, неслась и неслась между полей, с великой щедростью осыпанных снегоподобными цветами. Грузовичок болезненно дребезжал железными частями износившегося брюха, расхлюстанными бортами.

На крутом повороте Горбушин увидел картину, навсегда оставшуюся в его памяти. Шлейф пыли тянулся за машиной километра на полтора-два и, чем выше поднимался в небо, тем причудливее казался громоздящимися одна на другую белоснежно-золотыми волнами и горами... Красивая и зловещая картина! Говорят, когда тут бывают пылевые бури, то пыли столько носится в воздухе, что нельзя определить положение солнца.

Рип опять сидела, полуотвернувшись от Горбушина, и он все ждал, когда она изменит позу, хотя понимал, что при такой езде им не до разговора. Роман, спокойный, медлительный в движениях Роман, был выдающимся лихачом. Как гнал грузовичок в ту ужасную ночь, то в темноте, то обливаемый потоками света, точно так мчался он и теперь, в спокойный яркий полдень.

Он всю Отечественную войну отслужил на колесах. Привел израненный свой бензовоз в Берлин, в День Победы поставил его поперек дороги на какой-то улице, лег перед ним и запел цыганскую песню. Он пел долго и плакал. За войну два раза был ранен, два раза контужен, его не раз обдавало бензином с головы до ног. Солдат обильно пролитой кровью заслужил право гордиться своим фронтовым прошлым, и он гордился им. Вот только самогонка-кишмишовка, которую он варил сам, портила ему жизнь...

Из-за пьянства Романа ушла от него жена с двумя детьми...

Но вот наконец машина с проселочной дороги вбежала на поселковую, и хвост пыли отвалился от нее сразу, как будто кто-то топором отрубил его. Роман уменьшил ход. Рип с чувством облегчения сняла руку с борта и выпрямилась, приняв положение, которого ждал Горбушин.

— Взгляните на эти золотящиеся в высоте каскады, пока они на виду у нас,— заговорил он. — Вы когда-нибудь наблюдали такое?

— Пылевые бури я видела.

— Вы хорошо держались на поле со сборщицами, еще лучше на полевом стане. Раис встретил вас орлом, проводил мокрой курицей. И, честно говоря, вы удивили меня своей прямотой и твердостью.

— Не хотите ли вы сказать, что этих качеств не хватает кое-кому другому? — помолчав, спросила Рип.

— Не кое-кому, их многим не хватает,— засмеялся Горбушин. — Это вы катите бочку на меня!

— Очень мне нужно...

— Знаете, говорят, если женщина собирается мужчине насолить, то можно быть уверенным, что она пересолит.

— Богатый же у вас опыт,— саркастически улыбнулась Рип.

— Это не из личного опыта... Это я вычитал в книге, не помню в какой...

Кончить фразу Горбушин не успел. Роман остановил машину, подкатившую к воротам хлопкозавода.

Первым соскочив на землю, он поднял руки, чтобы помочь девушке сойти, но она непримиримо сказала:

— Отойдите!..

45

Одинокая и страдающая, Рудена терпеливо ждала удобного случая вернуться к тому разговору, который никак не могла признать законченным. Вооружившись новыми аргументами, она рвалась в бой.

Да, теперь-то она уже не допустит непродуманных слов. Она скажет просто и ясно, что любит его, а не дачу, пусть дача пропадает пропадом. Она обиделась на грубость, она вспылила, и вот результат — не поняв друг друга, они расстались.

Но не все у нее получилось тогда неудачно; она рада своей находчивости: «Ты скоро будешь отцом...» Пусть верит. Это поможет ей наладить отношения.

Надежды на примирение чередовались у нее с чувством тоски и безнадежности. Несколько ночей она почти не спала. Лицо осунулось, побледнело, под глазами появились круги. Но при этом она испытывала и странное удовлетворение от своих страданий.

Случай заговорить с Горбушиным выпал на другой день после его поездки с Рахимбаевым в колхоз. Утром должна была начаться подвозка дизелей и генерато-

ров — событие, беспокоившее всю администрацию. Не два дня, как предполагал Горбушин, а полных три пришлось пришабривать параллели, очень уж грубо они были отлиты, и вот в это утро, когда, закончив работу к одиннадцати часам, стали готовиться к приемке машин, Рудена сказала Горбушину тоном деловой озабоченности:

— Ну, теперь смотреть и смотреть, когда Мурат потянет трактором ящики с дизелями и генераторами, не повалил бы какой из них набок. Думать боюсь, что придется просить Николая Дмитриевича срочно высылать самолетом детали... А ведь придется, если Мурат скантует ящик.

Горбушин обрадовался, однако ничем не показал этого: сколько дней молчала! Пора из мира личных обид возвращаться к работе. Ему тоже нелегко, но ведь он работает.

— Смотреть надо всем. Джабаров еще вчера высказывал опасения: Мурат не тракторист, служил мотористом на море, всего и делов. Ящики высокие, узкие, тяжелые, тянуть их придется по неровному, не заасфальтированному еще двору. Ступай, Рудена, к дизелям, Мурат и Рахимбаев уже там. А мы — я, Шакир, Акрам и Гаяс — прикатим, пока они там готовятся, два верстака из главного корпуса да закрепим на них тиски.

— Один верстак с тисками давайте в мою сторону, не стану же я отсюда ходить к той стене!

— Я так и собирался сделать. Трое-четверо на одной стороне, трое-четверо на другой. Ну, иди, пожалуйста, туда — может, подскажешь там что на месте.

Рудена чутко ловила малейшие изменения его интонации, так хотелось поверить надежде, успокоить себя. Однако ни тепла в голосе, ни ласки во взгляде она не заметила, с ней говорил чужой, совсем чужой человек. А надежда все-таки не оставляла ее... Начало хорошее, от разговора о работе они скоро перейдут к главному — выяснят отношения, и все наладится.

— И потом... — тяжело вздохнула она, будто силы оставляли ее,— с сегодняшнего дня я тоже начинаю работать по двенадцать часов.

У Горбушина от недоумения брови поднялись, он посмотрел на нее, готовый сказать, что этого не нужно делать, ей же нельзя теперь много работать, но ничего не сказал.

— Так я пойду! — задрожал обидой голос Рудены.

Он взглянул ей вслед, внезапно пораженный мыслью: вчера ему хотелось, чтобы Рип говорила с ним, она же отвечала ему с трудом, принуждая себя к каждому слову; сегодня Рудене хотелось говорить с ним, а он еле шевелил губами, смотрел с тоской вслед удалявшимся слесарям и спрашивал себя, скоро ли она оставит его в покое. Вот ведь как получается...

Прикатив в машинный зал на деревянных катках тяжелые, обитые листовым железом верстаки с тисками, слесари и Горбушин поспешили на заводской двор к машинам. Горбушин не впервые подходил к знакомым ленинградским ящикам с крупной черной надписью на каждом: «Дизель! Не кантовать!» У машин в это время работали под командой Рахимбаева люди Файзулина. Они одним концом стального троса обматывали ящик с машиной, другой конец подводили к трактору. За рулем сидел всегда и всем довольный красавец Мурат. Высунув из кабины руку, он закричал Горбушину:

— Никита, давай скорее! Сейчас потянем!

Рабочие переговаривались с Файзулиным, дело у них спорилось, а стоявшему тут же Джабарову все время казалось, что работают они медленно, и он нервничал, поминутно делал им замечания. Несколько поодаль толпилась группка молоденьких каменщиц, окружившая свою бригадиршу Муасам, только что прибежавшую смотреть, как трактор потащит тяжелые машины. Люди любопытны, было бы на что смотреть, стоять могут сколько угодно.

— Горбушин,— хмурился директор,— скажи этому морячку: не моторку поведет по воде. Скантует ящик — голову ему отверну этим ключом. Как надо вести машину — медленно, быстро? Скажи!

— Не знаю, Усман Джабарович, я не тракторист. Думаю, что вести трактор надо плавно, соль в этом.

— Слыхал, Мурат? Читай надписи на ящиках...

Тревога мучила Джабарова, и он не скрывал этого. Опытного тракториста уволил за пьянство еще весною, другого не нашлось, трактор долго стоял в углу заводского двора с засохшими комьями грязи на траках. Накануне в полдень, когда Мурат, выполняя приказание Горбушина, явился к трактору приводить его в надлежащий вид, у машины уже работал директор, засучив рукава рубашки. Они до полуночи возились вместе, сле-

сарь-водопроводчик Джабаров и его помощник Мурат. Поздно вечером к ним пришла встревоженная Марья Илларионовна, просила, требовала, чтобы муж шел домой, и все-таки он покинул завод, лишь заставив трактор поработать вхолостую.

Горбушин видел беспокойство Джабарова и невольно припомнил слова Николая Дмитриевича о том, что руководители делятся на два рода: погонщиков и лидеров. А кто Джабаров? Лидер в нем чувствовался так же хорошо, как и погонщик, и вроде бы добавочно к ним жил в нем и еще кто-то, отбрасывающий от стены битый кирпич, катающий по двору бочки из-под цемента, умеющий шабрить, гонять по заводу свинью, ремонтировать трактор. Вероятно, руководителей не два рода, а три,— к погонщикам и лидерам надо прибавить хозяина, не гнушающегося никаким черным делом.

Подошедший Нурзалиев, хлопнув Горбушина по плечу, сообщил приятную для него новость: полчаса назад на завод явились пятнадцать человек из трех колхозов.

— Недаром ездили, Никита, хоп-хоп!

— Я тут ни при чем, спроси хоть Рахимбаева.

Наконец люди завинтили стальные планки на концах троса и отошли в сторону, Мурату была дана команда трогаться. Согнав с лица беспечную улыбку, он включил газ. Трактор, только что тихо и мелко дрожавший от накалившей его жаркой силы, вдруг взревел, сделал небольшой скачок и пополз, трос стал медленно натягиваться. Люди затаили дыхание. Девчонки вместе с Муасам подбежали ближе. Толстые доски, закрывавшие машину, затрещали, сминаемые канатом, потом ящик медленно пополз под одобрительные возгласы молоденьких строительниц. Земля под ним натужно заскрипела, словно ей сделалось больно и она стонала.

Горбушин шел рядом с трактором.

— Не прибавляй газа, Мурат, не прибавляй газа!..

— Так он сейчас встанет!..

— Не остановится, не бойся!

Внезапно произошло никем не предвиденное: лопнул трос... Один конец, взвившись вверх, хватил по ящику с дизелем, да ведь как... Гул прошел по всему заводу! Другой залетел перед трактором, хрястнул по земле: угоди он в человека — в лучшем случае тяжелое увечье на всю жизнь.

В волнении люди заговорили на нескольких языках. Стали рассматривать трос. С полным единодушием было решено, что он не годится для перевоза больших тяжестей. Одно дело, когда строители Нурзалиева качали на этом тросе полутонную чугунную бабу, сокрушая ею стены старых зданий; другое дело — тянуть по земле груз, ровно в сорок раз превышающий вес бабы.

Нурзалиев вскочил на грузовичок, только бы поскорее скрыться с глаз расстроенного, бранящегося на чем свет стоит Джабарова, который твердил: он знал, что дело без аварии не обойдется. Роман погнал машину по улицам поселка. Они проездили несколько часов, прежде чем на старом хлопкозаводе, где все давным-давно было налажено, достали трос нужной длины и надежного диаметра.

Подвозку дизелей и генераторов к зданию ДЭС закончили в полночь. Весь следующий день ушел на установку двух машин на фундаменты. Делалось это следующим образом. Трос протянули в противоположное воротам окно, подцепили его к трактору, и тот медленно втащил дизель, уже без ящика, в машинное здание, а потом по специальным приспособлениям из бревен — на фундамент. На фундаменте же, с помощью мощных домкратов, Горбушин, Шакир и Рудена сцентровали дизель с параллелями фундамента: осторожно двигали двадцатитонные машины то вперед, то назад, то вправо, то влево, пока каждая не встала своими отверстиями, сделанными в шахматном порядке, на такие же отверстия на параллелях фундамента. Слесари под командой Рахимбаева довершили остальное. По двое берясь за тяжелый ключ, они анкерными болтами прикрепили машины к фундаментам. С генераторами меньше возились, поскольку они были вдвое легче дизелей.

Домой рабочие и администраторы ушли после полуночи, довольные собой, пошатывающиеся от усталости. Большое дело было сделано. Рудена шагала рядом с Горбушиным, а поглядывала на женщин, пришедших вечером за своими мужьями да так и оставшихся с ними до конца работ. Это были Жилар Нурзалиева, Марья Илларионовна, Ольга Матвеевна Ким.

Рудене хотелось взять Горбушина под руку, пожать ему пальцы. Она сдерживала в себе это желание. На ду-

ше у нее наконец наступил мир. Так было светло и покойно... И она молчала, зная: теперь его очередь заговорить с ней, и он непременно заговорит. Начало положено.

46

Базар в Самарканде!

Такой развал многочисленных деталей был на ДЭС. Везде двигались люди, стучали, переговаривались. Секретарь райкома Бекбулатов по совету Рахимбаева попросил трест позволить еще десяти рабочим, кроме шеф-монтеров и слесарей, работать сверхурочно, и такое разрешение поступило, развязав Нурзалиеву руки. Пятнадцать пришедших колхозников он расставил на всякие вспомогательные работы, а старых опытных рабочих направил на ДЭС. Каждый вечер на ДЭС работали кроме шеф-монтеров и их помощников двадцать пять человек.

Тяжело урчала у ворот станции бетономешалка. Девушки из бригады Муасам носили ведрами бетон в машинный зал, другие вместе с бригадиршей размазывали его по полу, укладывали серую метлахскую плитку в косую ленточку, а после этого старались не коснуться бетона — ему надо было затвердеть, потом хоть трактор пускай сюда, пол не дрогнет, не раскрошится.

Трое рабочих носили бетон в фундаментную яму и укладывали его между железными прутьями каркаса. Восемь человек строили подкрановые пути на стенах, по четверо на каждой. Четырнадцать человек стеклили окна и крышу.

Суета и шум в машинном здании не портили Шакиру настроения.

— Вира! — командовал он себе и Акраму, вместе с которым тянул цепь тали, и, едва трехсоткилограммовая крышка дизеля поднималась вверх, весело давал другую команду: — Майна!..

Шутки он метил в Акрама, и последнему это нравилось.

— Третья крышка из восемнадцати приземлилась... Сколько осталось, Акрам?

— Сорок осталось, дорогой товарищ! — в тон ему говорил Акрам.

А было вовсе не до шуток в эти дни, когда снимали крышки: каждую долго обматывали канатом, чтобы не

оборвалась, не покалечила бы их, мастеров. Потом приступили к разборке дизеля, извлекая из него масляные, топливные узлы и водяные трубопроводы, — эти предметы весили до двадцати пяти килограммов каждый; их уже снимали вручную, чтобы дело делалось скорее. Было очень трудно.

— Ну и температурка, Акрам! Как вы ее терпите? — Шакир работал в одних трусах, но и то изнывал от зноя.

— Это не жара, дорогой товарищ! Ты бы пожил у моих земляков, горных таджиков с верховья реки Пяндж. Это недалеко от границы с Афганистаном.

— Там хорошо?

— Спрашиваешь, дорогой товарищ. Долина реки Пяндж! Сам аллах радуется на небе, глядя на нее. Рай, дорогой товарищ! Непроходимые заросли облепихи, орехов, жимолости, сплошные сады и цветы, дорогой товарищ. А вокруг горы — тюбетейка с головы летит. Памир, дорогой товарищ. Миллиарды тонн снега и льда на Крыше Мира. Оттуда и скачет тигром наш бешеный Пяндж, наш красавец Пяндж по глубоким теснинам и срывается водопадами — да, такой сумасшедшей реки, дорогой товарищ, в мире больше нет! Рай у горных таджиков, моих земляков!

— А почему ты не живешь в раю, рвешь свой больной живот этими узлами, дорогой товарищ?

— Бедный наш рай, дорогой товарищ... Красотой лучше Ферганской долины, богатством — бедный... Ай, какой он бедный! Камни, дорогой товарищ. На посевы не хватает земли. Дома из камня, что ты хочешь? Мой отец парнем ушел на заработки, я родился пролетарием. Приезжай в гости в мой кишлак, адрес дам. Кунаком будешь. Спроси Бабаевых, скажи, Акрама знал. Большим гостем будешь, дорогой товарищ!

Пришел Джабаров и стал придираться. Почему большие детали лежат на брезенте рядом с маленькими? Маленькие от этого не пострадают? И одни смазаны, другие сухие... Плохое настроение директора имело причину: не вышел на работу Роман. За ним ходила Евдокия Фоминична, еще на улице, приближаясь к хибарке шофера, услышала его неистовый храп. Она дергала цыгана своими слабыми руками за бороду, за усы, Роман не проснулся.

Горбушину надоели беспричинные придирки директора:

— Мне лучше знать, Усман Джабарович, почему детали расположены так. Не понравятся машины, когда будут собраны и пущены в работу,— пишите рекламацию. А заранее нечего устраивать панику.

Джабарова это вроде бы обидело:

— Ну да, Джабаров ишак и водопроводчик, где ему понимать ваши сложные машины! — Он отошел к Рудене и сейчас же вернулся: — Хочешь, бригадир, проверить мое умение работать слесарем? Готов с тобой соревноваться...— И достал из кармана несколько болтов размером на три осьмых дюйма каждый, стал подбрасывать на ладони.— Перебьешь такой болт одним ударом, поверю, что ты мастер.

— Я попробую! — сказал Гаяс.

— И Акрам попробует! — подскочил Шакир.— Верно, Акрам, не испугаешься?.. На это чхать, если саданешь молотком по кулаку со всей силы. А кто следующий? Вы, Нариман-ака?

— Шеф-монтеры классом выше слесарей, им показывать пример! — задорно подхватил Рахимбаев.

— Инициатору, инициатору соревнования давать пример!

— Могу, Шакир...— согласился Джабаров.— На, зажимай болт!

Рахимбаев, взглянув на Горбушина, напомнил, что давно уже не было перекура, и все подошли к верстаку, достали курево. Шакир проворно зажал в тисках болт, затем извлек из верстака молоток, зубило, подал Джабарову.

Директор поплевал на ладони, как заправский мастеровой. Потом он взял молоток в правую руку и далеко ее отвел и поднял для удара, левой приставив зубило к болту, и, не примерившись к нему, то есть не тронув его слегка молотком, как делают многие слесари, готовясь рубить толстое железо, хватил по зубилу с такой великолепной уверенностью, что головка болта отлетела от тисков к стене, шлепнулась о нее и подкатилась к тискам.

Гаяс захохотал от удовольствия,— мастер оценил мастера. Улыбались и что-то восклицали остальные. Более других чувствовал себя возбужденным Шакир — ведь его хлебом не корми, толькой дай подначить!

— Вот это удар! У тебя так не получится, Акрам! Товарищи, я совершенно убежден, что, если мы продол-

жим это соревнование, кому-то из нас сегодня выпишут бюллетень минимум на месяц. Оплачивать его должен инициатор соревнования, наш директор, и, конечно же, из собственного кармана. Поэтому, не желая вводить его в материальный расход, я отказываюсь рубить болт. Акрам тоже празднует труса. А кто следующий?

— Я на фронте не трусил, дорогой товарищ! — сказал Акрам.

— Так то фронт: трусишь или не трусишь, а идешь, но зачем в мирные дни делать себя инвалидом?

— Зажимай болт! — повысил голос Акрам.

Джабаров, однако, протянул молоток Горбушину:

— Доказывай, бригадир!

Горбушин молоток не взял:

— Мне не перебить одним ударом, признаюсь сразу.

— Тогда ты не можешь быть бригадиром!

— И не держусь, Усман Джабарович, за бригадирство. Неинтересно отвечать за худую работу других.

Гаяс изобразил удивление: а почему, собственно, Шакир подбивает Акрама взять молоток?.. Сам-то где, в кустах? Или действительно все шеф-монтеры рубить с плеча не умеют?.. И тогда Рудена решительно сказала, что защищать честь шеф-монтеров будет она, если Шакир и Горбушин спрятались в кусты.

Шакир не стерпел такого предательского удара.

— Тогда жребий, жребий! — воскликнул он. — Мне рубить или Акраму?

Молоток взял Акрам, и опять все на минуту притихли. Ведь руку и правда можно было разбить ужасно... Три осьмых дюйма — это восемь с половиной миллиметров, и пересадить этакий болт одним ударом мог лишь человек, обладающий хорошей физической силой и истинным мужеством.

Акрам тихо стукнул по зубилу раз, другой, третий, четвертый, пятый, все примериваясь, и наконец хватил по зубилу с полной силой. Головка болта наклонилась, перерубленная примерно на две трети. Однако и этот удар понравился товарищам, а Шакира прямо-таки восхитил, хотя слова его прозвучали двусмысленно:

— Отличный удар, я именно такого и ожидал от тебя, дорогой товарищ! Но перед следующим соревнованием лагмана ешь побольше, тогда перерубишь, факт!

Рудена подошла к Гаясу, азартно поглядывая на зажатый в тисках недорубленный болт, предложила ему рубить новый.

— Потом я возьму молоток. Надо же выручать нашего слабосильного бригадира товарища Горбушина,— панибратски улыбнулась она Никите.— А Шакир только треплется, сам не будет, я его знаю.

Шакир вырвал у Акрама молоток:

— Тысяча и одна ночь! Какие оскорбления в адрес артиллериста Курмаева! Женщина обвиняет его в трусости. Сейчас отомщу ей — разобью себе руку, пойду на бюллетень, и слесарь-директор оплатит мне его, тогда все узнаете, где раки зимуют.

— Разбей хоть две руки, рубля не дам. Не умеешь — не берись,— сказал Джабаров.

Шакир долго переступал перед тисками с ноги на ногу, а было похоже, что он пританцовывает, выбирая позицию поустойчивее, испытывая терпение товарищей, но еще дольше он помалу клевал зубило молотком, прилаживаясь, примериваясь, и, когда нанес удар, головка болта, как и у Акрама, лишь наклонилась, недорубленная,— и было же издевательского хохота над Шакиром! Даже старый Рахимбаев взялся за живот.

Кажется, тут Шакир сполна получил сдачу за все насмешки над другими. Шутки звучали, пока молоток не взяла Рудена, пристально при этом посмотрев Горбушину в глаза.

— Женщинам не обязательно состязаться с тяжелоатлетами,— проговорил он равнодушным тоном, в котором, однако, она услышала тревогу за нее, и почувствовала благодарность.

А взгляд ее все же как будто угрожал Горбушину: вот сейчас я назло тебе, милый, разобью себе руку, узнаешь тогда, как обижать меня. Сколько дней прошло после установки машин на фундаменты? Ждала, что ты подойдешь, заговоришь, что дурное забыто, ты принимаешь мою любовь... Так вот сейчас и получишь за все.

А Горбушин, сделав свое замечание, подумал: это первое его обращение к ней со дня возвращения из Ленинграда на хлопкозавод, и не надо было делать его, она все равно не послушается.

Рудена ощутила вдруг прилив сил. Да, ей захотелось показать себя перед любимым ловкой, сильной, она не только ни в чем не уступает мужчинам, она силь-

нее их. Приблизившись к тискам, она встала перед ними, немного отставив правую ногу, опираясь на нее, и неожиданно для окружающих, потому что не примеривалась, нанесла, широко замахнувшись, удар такой силы, что и достижение Джабарова оказалось слабее: головка болта шлепнулась о стену, отрекошетила к тискам, ударилась о них и свалилась на пол к ногам Рудены.

Захохотал один лишь Шакир. Почтительное уважение к русской женщине, способной на такой необыкновенный удар, на такую отчаянную смелость, с которой он был нанесен, читалось на лицах буквально всех... Только Горбушин облегченно вздохнул.

Рудена, кладя молоток на верстак, была очень бледна.

47

— Здорово, Сашка!

— Привет, Горбушин, привет!

— Потрясающая слышимость, знаешь... Иногда я с Выборгской стороны звоню к себе на улицу Герцена и слышу отца куда глуше, чем сейчас тебя.

— И я тебя отлично слышу. Да здравствует советская дальняя телефонная связь! А может, потому хорошо слышно, что сегодня воскресенье, деловых разговоров меньше? Ну, что нового у тебя? Почему не звонишь и не пишешь?

— Новое то, что начинаем вручную вытаскивать из машины узлы, а наигравшись ими за двенадцать часов, еле тащимся домой, валимся и спим мертвецки. Письмо я отправил заводоуправлению вчера вечером. Раньше не имело смысла, все утрясалось. Но скажи, почему звонишь ты, а не Скуратов?

— Ушел в отпуск и уехал в Николаев. Так директор и Лука Родионович попросили Елену Тимофеевну связаться с тобой, выяснить, как идут дела, всех нас здесь твоя работа беспокоит, а ты молчишь. Ну, Елена Тимофеевна ко мне: «Сынок, позвони ты, я еще чего не расслышу или перепутаю...» В общем, побоялась тебе звонить. Так вот отвечай: письмо наше сработало?

— Отлично сработало! Первый секретарь райкома Бекбулатов строительство нашей ДЭС взял под личный контроль.

— Понял. Комсомольцы из нашего райкома приехали или приезжают?

— Я отказался от них. Бекбулатов поставил нам для постоянной работы очень хорошего старого бригадира, так что нас не шестеро, а семеро, и пятнадцать колхозников уже пришли и работают... Решили: справимся, незачем вызывать ребят из Ленинграда.

— Значит, план осуществляется, как наметили?

— Пока что осуществляется. Передай, что наметить было легче, чем осуществлять... Ирония, Сашка! Живем в век атомной техники, а талевой цепью, как при царе Горохе, поднимаем трехсоткилограммовые тяжести. У нас с Шакиром кожа с ладоней едва не слезает, честное слово! Стонем во сне. Но ты, конечно, не поверишь.

— Чего треплешься? Почему не поверю?.. Степан уже два раза спрашивал, что слышно от тебя. Директора и Бокова наверняка встревожит твой отказ от помощи выборгских комсомольцев.

— Пусть не беспокоятся, мы справимся сами. Нас другое заботит. Мы же дипломники теперь, а раскрыть книгу или заглянуть в записи никакой, понимаешь, возможности. Так что придется, может быть, защищать диплом не весной, а осенью,— конечно, заводоуправление должно будет дать нам справку, что сие не по нашей вине.

— Погоди бить в колокол. Первого января вернетесь на завод и больше в командировки не поедете, обещаю. А дома все виднее будет. Ведь вам дипломную практику проходить не на чужом заводе. В общем, в крайнем случае можно консультантов на недельку-другую пригласить, не паникуйте. Что с Машей Яснопольской?

— Да покапризничала немного... Теперь вроде ничего. Прихожу к выводу: не надо было брать ее сюда...

— Да, конечно, Степана бы лучше!

— Я просил его у Николая Дмитриевича. Не дал. В общем, ладно, как-нибудь вытянем.

— Не как-нибудь, все руководство, говорю тебе, думает о вашем объекте. Вытаскивайте его во что бы то ни стало, это последние слова директора, которые он просил меня передать вам.

— Так передай ему наше твердое обещание: вытащим!

— Вот это молодцы! Так и передам... Но, честно, очень трудно?

— Да чему ты удивляешься?.. Я же знал, на что иду, еще когда летел к вам. Жаль, Шакира одолели головные боли. Вчера прогнал в поликлинику, так врач нашел у него повышенное давление, советовал реже бывать на солнце.

— Тоже мне солдат-гипертоник!.. Как же теперь? Запрети ему работать сверхурочно, слышишь?

— Ничего с ним не будет... Глотает цитрамон и скалит зубы, как всегда. Уедем отсюда — вернется нормальное давление. Ну, все, Курилов?

— У меня, кажись, все. Передавай привет Шакиру и Рудене...

— Привет!

— Привет!..

48

Не оправдались надежды Рудены. Горбушин не подходил к ней, не начинал разговора. И тогда она решила попросить его не прятать от нее глаза, если считает себя правым, а объясниться еще раз. Сразу же она почувствовала, как вновь дурное настроение начинает путать мысли, вызывать безразличие к работе. Хотя она надумала не откладывать в долгий ящик своего намерения, чтобы тоска опять не засосала ее, но утром подойти к Горбушину не захотела: к нему наперебой обращались сборщики с производственными вопросами — так велось каждое утро. Ладно, сказала она себе, подступлю к нему в обеденный перерыв!

А тут еще суета и нервозность возникли на заводе: началась массовая приемка хлопка. По двору часто проезжали колхозные и совхозные тракторы с тележками, наполненными белокипенной массой, воздух оглашался звуками работающих машин, криками людей. И не оттого ли некоторая нервозность ощущалась и здесь, на сборке дизелей, чего в помине не было раньше? Хлопок уже принимается, говорили Джабаров и Ташкулов, да и Рахимбаев, на станции же только еще стелют крышу, до конца не выложен пол, нет крана!

Диковинная для шеф-монтеров очередь выстроилась перед воротами завода, стояла днем и ночью метров на полтораста, если не на двести,— все виды и роды живого и машинного транспорта. Поблескивали синей краской новенькие трех- и четырехтонные грузовые автомобили с зарешеченными кузовами и прицепами, наполненными хлопком, вперемешку с ними стояли и дремали вечные странники пустыни верблюды, молодые и старые, одногорбые и двугорбые, запряженные в арбы, также нагруженные хлопком, — век нынешний и век минувший! В бронзовом веке верблюды уже топали по Средней Азии, да и тысячелетия до бронзового века служили людям. А теперь вот помогают строить социализм!

Но более всего в очереди было трех- и четырехколесных тракторов, притащивших по одной, по две, по три зарешеченные, набитые хлопком тележки; и вперемешку с машинами и верблюдами стояли, отмахивая хвостами слепней и мух, потные лошади, запряженные в телеги, волы — в мажары, ишаки — в одноосные коляски на высоких колесах... Горбушин пожалел, что оставил в Ленинграде свой фотоаппарат. Хорошему бы художнику запечатлеть эту очередь на полотне!

Все виды транспорта хороши в дни массовой уборки хлопка, с ее началом перестраивается жизнь в республике. Разговоры повсеместно одни и те же: как скорее убрать урожай? Кто больше сдает на заводы? Кто больше сложил в амбары, в бунты? Кто успел уже укрыть бунты брезентами? На поля выходят все машины и все люди, способные убирать это главное богатство народа. Короткие совещания в кишлаксоветах, райисполкомах и облисполкомах, райкомах партии, горкомах и обкомах — только по вопросам уборочной. Только предъявителям справки со штампом «Уборочная» выдаются вне очереди билеты на вокзалах, в аэропорту. Всенародной страде газеты посвящают свои полосы, радио и телевидение — передачи. Артисты на полевых станах дают концерты.

Дилдабай Орунбаевич Айтматов вызвал в райком Джабарова и Кима. Они всполошились. Зачем вызвал?.. Джабаров позабыл уже и день-то, когда мирно разговаривал с секретарем. Очевидно, предстоял очередной

трудный поединок, который, в сущности, начался еще накануне в полдень: Айтматов пришел на завод смотреть, как определяется сортность поступающего хлопка, как он взвешивается; обратил внимание и на ДЭС, сказав, что покрытие крыши стеклом идет медленно. Теперь срокам пуска станции он придавал первоочередное значение.

Он не очень-то бодро выглядел, второй секретарь райкома. Годы брали свое — шестьдесят есть шестьдесят. Но главное было не в этом. Бекбулатов не постеснялся критиковать его на совещании с заводскими по поводу присланного из Ленинграда письма, а когда совещание закончилось, повторил еще раз, уже резко:

— Значит, строители дважды приходили к вам просить людей. Я очень уважаю ваши знания, Дилдабай Орунбаевич, ваш опыт, я учусь у вас работать, но первый секретарь я и прошу впредь все важные вопросы согласовывать со мной.

— Меня подвел Джабаров!

— Я не увидел этого. Я инженер, приведенные ленинградским бригадиром факты меня убедили. Ну в самом деле, как можно было полагаться только на энтузиазм людей? На один энтузиазм... Здесь ваш опыт дал осечку!

Так с ним разговаривал, в сущности, вчерашний комсомолец, с неприятной, такой свойственной иным молодым людям уверенностью выговаривая ему, райкомовскому работнику с двадцатилетним стажем. А если дело с заготовками пойдет не лучшим образом, он не постесняется опять кольнуть его плохой работой. На новом же заводе неблагополучие явное, хотя Джабаров этого не признает. И если район проиграет соревнование, тогда уже он, Айтматов, обвинит Бекбулатова, слишком поверившего Джабарову!

— Товарищи,— начал Айтматов, едва Ким и Джабаров опустились на стулья, — вы наблюдаете за приемкой пахты? Не пустили ее на самотек, целиком отдавшись достройке электростанции?

— Везде стараемся успеть,— скороговоркой ответил Григорий Иванович.

— Везде успеть сразу очень трудно, хотя и желательно. Поэтому надо выделить главное, а вы, надеюсь, знаете, что у нас сейчас главное.

— Да...— смотрел ему в глаза Ким.— Но пока у нас как будто все в порядке.

— Не все, Григорий Иванович, у нас в порядке. Намечается нежелательная практика в приемке пахты. Во-первых, мне не нравится длинная очередь перед воротами, такой нет на старых наших заводах. Вначале мне показалось, все объясняется просто: новому предприятию люди больше повезли, интересно увидеть, как принимают там... А потом меня эта очередь несколько насторожила, думаю, вы поймете меня.

— Конечно, поймем! Как иначе?.. — подхватил Григорий Иванович.

— Слишком придирчиво ОТК принимает товар, долго рассматривая каждую тележку, это и создало длинную очередь. Долго рассматривает приемщик, долго определяет, каким сортом взять. Вчера я для сопоставления попросил сводку принятого хлопка на Сулимовском заводе, так оказалось, вторым сортом у вас принято значительно больше, чем там, хотя и почва и семена, разумеется, одни. И первым сортом у вас принимается меньше, чем там.. Но ведь есть еще третий и четвертый сорта.. Что же останется на первый сорт, Джабаров?

— На первый сорт останется первый сорт.

— Я такой математики не понимаю, Джабаров... Меня одно интересует. Пахта хуже уродилась на ближайших к вашему заводу землях? Нет... Процент первого сорта на старых заводах высокий, обычный для Голодной степи. Так не по заниженной ли сортности принимает хлопок ваша девица Гулян и подчиненные ей люди? А вот и доказательство, что это именно так. Вчера приходили в райком две группы колхозников с жалобой на ОТК. Раис колхоза «Рассвет» сказал мне расстроенно, что он радовался открытию нового завода, близко сдавать товар, но не придется ли тужить, если и дальше много хлопка будут принимать вторым сортом?

Джабаров выжидал, сидя с опущенной головой. Какой вывод сделает секретарь? О двух мелких конфликтах между сдатчиками хлопка и его приемщиками он, директор, знал — Гулян была права, приняв хлопок вторым сортом, он не отвечал по своим качественным показателям первому сорту.

— Скажите, Дилдабай Орунбаевич, зачем Гулян поступать несправедливо, обманывать людей и государ-

ство? Не понимаю! Скорее другое предположить: она поступает, как ее учили в советском институте, как требует от нее инструкция ОТК, основанная на государственных стандартах, утвержденных советским правительством. Мы на вчерашний день приняли первым сортом шестьдесят восемь процентов того, что было привезено на завод. Шестьдесят восемь, но это действительно первый и высший сорт, этот хлопок не переведут во второй сорт, что делается ежегодно и чем наносится государству многомиллионный убыток. На воротах стоит опытный приемщик и хороший комсомолец. Зачем ему, зачем Гулян, зачем нам, руководителям завода, следящим за работой ОТК, обманывать людей, скажите?

— Я не говорю, что вы обманываете... Но райком не может остаться равнодушным, если приходит жаловаться один из лучших раисов в Голодной степи, орденоносец, да и другие люди.

— Я не принимаю возражений этого раиса. Против него на полевом стане выступила Гулян в присутствии Рахимбаева. И этого же раиса проработала наша областная газета «Сыр-Дарьинская правда» в статье «Первые канары хлопка»!

Не знал Джабаров, что эту статью написала Гулян, вернувшись из колхоза, но попросила редакцию не ставить ее фамилию под статьей.

Айтматов откинулся на спинку стула, прищурил глаза:

— Значит, раис мстит вашей начальнице за критику? Зады повторяете, Джабаров... Но согласимся на минуту, мстит... А почему другие колхозники пришли сюда с той же претензией — много хлопка берет завод вторым сортом?

— Во втором конфликте мы пока не разобрались,— снова быстро, потому что разговор очень тревожил его, сказал Григорий Иванович.— Качественно мы стараемся принимать хлопок, качественно, Дилдабай Орунбаевич... Газета заострила вопросы об ответственности людей за высокое качество и уборки хлопка, и сохранности его. Надо осуществлять то, о чем говорится в партийной печати!

— Вы мне лучше вот что скажите: а если эти два колхоза повезут свою пахту на Сулимовский завод, это не будет похоже на явное игнорирование вашего завода?

Ким и Джабаров молчали.

— Может быть, переведем эту девушку на другую работу? Чтобы она пробоотборочными банками не закрыла от нас политическую сущность нашей работы?

— Кого поставим на ОТК? — тяжело спросил Джабаров.

— Опытного работника. У Гулян опыта нет.

— С фонарем в руке надо его искать!

— Найдете, если захотите!

Из райкома Джабаров пошел домой. Видимое, кажущееся его спокойствие было обманчивым. Он сказал Марье Илларионовне, что хочет немного полежать. Она посмотрела ему в лицо и все поняла. Уложила его в постель, дала выпить капель, к ногам пристроила грелку с горячей водой.

49

Поскольку утром Рудене не удалось договориться с Горбушиным о встрече, она решила подойти к нему в полдень, однако и тут ее подстерегла неудача. Горбушин на этот час обеденного перерыва запланировал себе хорошенько расспросить Мурата и Акрама о Рахимбаеве, интерес к которому в нем все рос. Не мог Горбушин забыть, какими большими историческими знаниями блеснул перед ним старый слесарь. По указанию Бекбулатова Рахимбаев работал не по двенадцать часов, а по восемь и в обеденный перерыв два часа отдыхал дома. Почему?

Поговорить обо всем этом Горбушин решил в лагманной — так по-местному называлась столовая. А Рудена о предстоящем разговоре узнала, только когда они все в полдень, по обыкновению, вышли за ворота хлопкозавода; так ничего не получилось из ее намерения сесть в лагманной за один столик с Горбушиным и тихонько договориться о встрече. Это очень расстроило ее. Значит, и руки-то с куском пемзы она сейчас тщательно мыла напрасно!

А едва оказались за воротами, у нее помрачнело лицо: из конторы, вероятно от директора или главного инженера, торопливо вышла Рип в белоснежном халате, направилась к своей лаборатории. Увидев слесарей, она сделала вид, будто не узнала их или о чем-то задума-

лась,— пробежала мимо с опущенной головой, сунув руки в карманчики халата. Горбушин лишь на секунду-другую задержал на ней взгляд, но этого было достаточно, чтобы ревность перехватила дыхание Рудене, и она еще раз с болью в сердце сказала себе, что виною всех ее несчастий эта глазастая девушка.

Вынужденная жить с ней в одной комнате, Рудена поневоле видела, с каким достоинством держится Гулян. А вот в ней, Рудене, нет достоинства... И недаром жизнь бьет ее... А такие, как Гулян, мужской любовью согреты всегда!

И пропало у Рудены всякое желание заговорить с Горбушиным в лагманной. Бригада заняла один квадратный стол, начала изучать меню. Горбушин прежде всего достал коробку с папиросами и, отдыхая, закурил.

Лагманная представляла собой вместительную террасу со столами, открытую ветрам с трех сторон; за четвертой, закрытой, стороной пряталась кухня. Рудена, Шакир и Акрам заказали шашлыки, Гаяс, Мурат и Горбушин — лагман. Гаяс сказал:

— Ешь, бригадир, национальное узбекское блюдо — лагман. Иначе ленинградцы не поверят тебе, что жил в Средней Азии.

В большую пиалу-косу повар положил изрядный кусок отварного мяса, засыпал его не менее изрядной порцией морковки со злым зеленым перцем, залил это добро сметаной набело, на сметану навалил отварных макарон и тоже сдобрил их морковкой и зеленым перцем, затем опустил в пиалу большой вареник, называемый по-местному м а н т ы, а манты тоже залил сметаной набело. Горбушин не страдал отсутствием аппетита, но, кое-как справившись с лагманом, уже не захотел ни первого, ни третьего блюда.

Вот это был бай! Всем баям бай! В обширной России о таком кулаке и слыхом не слыхивали. Он имел десять или двенадцать тысяч овец, сто пятьдесят пар волов, пятьдесят лошадей и тысячу десятин земли. Семьсот батраков круглый год работали на него.

На Первомай восемнадцатого года они пошли по улице древнего кишлака с красным флагом, хозяина это привело в ярость. Три его сына, байбачи, вскочили на

ахалтекинских лошадей, каждый держал в руке ременную плеть-камчу со свинцом на конце. Байбачи врезались в демонстрацию, обрушили на головы и плечи людей удары своих свинчаток. Абдулахата Рахимбаева байбачи убил с одного удара, а потом еще истоптал труп копытами неистового скакуна.

Нариман Рахимбаев, сын покойного, работал в это время в ташкентском железнодорожном депо слесарем по ремонту паровозов и подвижного состава: его не взяли на фронт в четырнадцатом году, он был хорошим слесарем, а ведь кому-то надо было обслуживать и железную дорогу. На рабочем собрании в депо Нариман рассказал о постигшем его горе, и рабочие горячо стали советовать ему ехать в родной Андижанский уезд организовать там кишлаксовет, объединить вокруг него бедняков и батраков, защищать Советскую власть от баев. Молодой Рахимбаев сделал из куска рессорной стали отличный кинжал и отправился в родной кишлак организовывать кишлаксовет и свершить акт родовой мести: убить байбачи.

Председатель кишлаксовета Рахимбаев пришел на байское собрание в дом бая, у которого до конца своей жизни работал отец. И это было неслыханной дерзостью — рабочему войти без приглашения в уважаемый дом богатейшего в округе бая. Но, нимало этим не смутившись, молодой Нариман Рахимбаев остановился в дверях широкой комнаты, стены которой были увешаны дорогими коврами, пол покрыт кошмами. На них сидели баи, с трудом дыша от жары и возбуждения. Оно усилилось, когда в дверях остановился этот ташкентский пролетарий, осмелившийся на доме юродивого, ничего не понимающего человека вывесить красный флаг и назвать дом кишлаксоветом. Слух о том, что там он что-то записывает, лишал баев сна и аппетита. В одну из ночей они сбросили с крыши флаг, но утром Рахимбаев опять поднял его на крышу, тогда они сбросили флаг еще раз и разорвали его на лоскутья, кинули их к порогу кишлаксовета. Рахимбаев два дня сшивал флаг непривычными к игле руками и, когда сшил и поднял его на крышу, ночью встал у крыльца с заряженным дробовиком в руках, и с тех пор баи нападения на советский красный флаг уже не делали.

Рахимбаева они приговорили к смерти в первые же дни его появления здесь, однако приговор привести в ис-

полнение не спешили, потому что им надо было посмотреть, что представляет собою Советская власть, как с нею придется бороться.

Речь держал хозяин дома, толстый, небольшого роста, с тяжелым и желтым от жира лицом и вставными челюстями, мешавшими ему говорить: их недавно сделали ему в Бухаре за пятьдесят штук овец, и он еще не привык к ним. Может, поэтому, увидев на пороге дома Наримана Рахимбаева, он от неожиданности прервал речь, рот раскрылся, и челюсти вывалились... Пока он заправлял их на место, чуть склонившись и полуотвернувшись, старший его сын, байбачи, убийца, поднялся и громко спросил, обратив взгляд к двери:

— Кто тебя, кяфир, звал сюда?

Смелости в эти минуты у председателя кишлаксовета было куда больше, чем ума... Сжав в кармане отличный свой нож, он ответил дерзко:

— Советская власть желает знать, что говорится на контрреволюционном собрании!

Баи помоложе вскочили с кошм, стали показывать Рахимбаеву кулаки и ножи, перебивая один другого, а баи постарше, тяжелые на подъем, продолжали сидеть, но тоже выкрикивали угрозы и показывали кулаки. Рахимбаев стоял, прислонившись к двери, чтобы не получить удара в спину, всем своим видом показывая присутствующим, что плевать он хотел на их угрозы.

Когда хозяин наконец справился с челюстями, он поднял обе руки в широких рукавах шелкового халата, словно готовился свершить намаз, и в просторной комнате стало тихо.

— Тогда, кяфир, председатель кишлаксовета, Нариман Рахимбаев, сын Абдулахата Рахимбаева, кяфира, продавшегося большевикам и убитого как собака, слушай меня хорошо и запоминай... Нигде в Туркестане истинно правоверные мусульмане, слуги аллаха и его пророка Магомета, не дадут большевикам ни скота, ни хлеба, ни денег, ни риса, ни даже паршивой джугары, которую отказываются есть наши собаки... Истинно правоверные мусульмане сейчас становятся под зеленое знамя пророка Магомета для джихад... священной борьбы с неверными, переставшими быть слугами аллаха, отрекшимися от него кяфирами... Весь Туркестан вста-

нет под зеленое знамя пророка Магомета на защиту во веки веков нерушимых устоев ислама. Тысячи лет ислам владел умами и душами мусульман, владеть ими будет тысячелетия... Головы с большевиков и продавшихся им кяфиров упадут, как яблоки падают, когда дерево трясут!

— Джуда якши!.. Джуда якши!..— вскочили молодые баи и опять стали показывать Рахимбаеву ножи и кулаки.

Он быстро взглянул на садовую дорожку, по которой можно было бы убежать в случае надобности, крепче сжал в кармане кинжал. Баи двигались на него... И вдруг они остановились, как бы раздумывая о том, что же с ним сделать... Рахимбаев плотнее прижался к двери и ждал. Несколько человек подкрались к нему вдоль стены, один из них ударил его ножом в плечо. Рахимбаев быстро повернулся и выхватил кинжал, который был длиннее и острее всех байских ножей, но в это мгновение чей-то нож вонзился ему глубоко в правый бок, и уже не стало силы сопротивляться. Падая от жгучей боли в плече и в боку, Рахимбаев помнил только, что старался устоять на ногах, ухватиться за ручку двери — хватался за нее как за единственное средство для спасения, а она куда-то ускользала и ускользала от него... Ему нанесли еще один удар, теперь в грудь, после которого красный туман застлал ему глаза, и больше он ничего не помнил.

Очнулся он в городской ташкентской больнице через несколько суток, а впоследствии узнал, что баи за ноги выволокли его из дома, бросили лицом в горячую дорожную пыль. Тут же играли мальчишки, часть из них при виде окровавленного человека в страхе бросилась по домам, но нашлись и такие, что побежали к батракам бая, сказали, что председателя кишлаксовета убили. Батраки унесли его, остановили ему кровь, а через пять часов уже везли его поездом в Ташкент.

Рахимбаев в больнице пролежал четыре месяца, у него было время сделать вывод о родовой мести и классовой борьбе. Его резал не байбачи-убийца,— байбачи спокойно сидел рядом со своим отцом,— его резал многоликий классовый враг, куда более сложный, чем враг родовой.

Никому бы Рахимбаев не мог сказать, даже жене, сколько раз он, имевший три ножевые раны, участвовал

в схватках с басмачами в местных отрядах самообороны, а затем в Казанском полку Красной Армии. Он ненавидел басмачей лютой ненавистью насмерть. Он жить не мог спокойно, зная, что они еще недобиты. Он дрался с ними за Советскую власть в трех уездах: Андижанском, Кокандском, Наманганском. Он участвовал в разгроме и последней крупнейшей басмаческой банды одноглазого бая-курбаши. Он начинал с ними борьбу, он и заканчивал ее через несколько лет. Оставшиеся недобитыми Красной Армией баи, беки, курбаши во главе с одноглазым атаманом перешли границу с Афганистаном на конях, увезли в бурдюках много народного золота и драгоценностей.

Сколько раз партия предлагала малограмотному коммунисту Рахимбаеву идти учиться. Он отказывался. Много раз отказывался. Пугала таинственная учеба, он не верил, что осилит ее, и было у него уже пятеро детей, которых надо было кормить, растить, и часто болели его раны, три ножевые и две пулевые. Он навсегда остался слесарем и был доволен своей судьбой. Работа не мешала ему по вечерам сидеть за книгами по истории, которой он необыкновенно увлекся. Тридцать лет читал он и перечитывал историю Туркестана, историю России, всемирную историю, отдельные особо важные даты и события записывал в тетради.

50

Через час должно было начаться то комсомольское собрание, о котором Муасам предупредила Горбушина в день его поездки на хлопковые поля.

Муасам каждую свободную минуту отдавала чтению. Вот и в этот день, придя с работы и взглянув на свои маленькие часики, она переоделась, легла на кровать с букварем в руках, читая про себя, рассматривая картинки. В изучении русского языка она делала быстрые, прямо-таки поразительные успехи.

— Рип, здесь написали: утки... Они тут, смотри, утки... А как уткин мужик называется?

— Я тебя не понимаю... Какой мужик?

— Уткин... Утка женщина, да-а?

— Утка женщина... Ну так что? А-а, поняла! — засмеялась Рип.— Уткин муж, ты хочешь сказать?

— Почему так надо говорить? Утки замуж венчаются, да-а?

— Вздор... Ты еще спросишь, ходят ли они в загс... Видала, наверное, как птицы венчаются?

— Тогда называется... утка он?

— Да нет, подожди... Не знаю! — наконец решительно сказала Рип. — Русский язык тоже не мой родной!

Муасам положила букварь на грудь, взгляд черных, напряженно блестящих, как у тетерки, глаз следовал за подругой, бродившей по комнате.

— Не знаю,— еще раз сказала Рип. — Может быть, он тоже утка?

— Я у Рудены спрошу, она русская.

— Только не при мне, хорошо?

И надо же было случиться, что именно в эту минуту в комнату вошла Рудена, вернувшаяся с работы. Рудена, трудившаяся в своей бригаде по двенадцать часов в день, домой возвращалась позже, чем девушки.

Муасам, забыв о просьбе Рип, задала свой вопрос и Рудене.

— Знаю, конечно...

— Так говори...

— Постой... Постой...— Рудена коснулась пальцами лба.— Он называется... Забыла!

— Ты русская, как можно — забыла?

— Ну и что, что русская? Родилась в Ленинграде, с подростков пошла на завод — откуда мне знать, как он называется, уткин мужик?

Муасам вскочила с постели, не выпустив букваря из рук: она пойдет спросит Горбушина. Горбушин сам мужик, он знает. А Рудене не захотелось, чтобы эта добрая, наивная девушка, не улавливающая неловкости положения, простодушно обращалась к Горбушину с таким вопросом, и поэтому сказала недовольно:

— Погоди, Муасам... Он тоже городской, может не знать. Лучше сходи к Марье Илларионовне, она до войны в колхозе работала.

Муасам помчалась с букварем к хозяйке, чтобы показать ей картинку. Ведь может статься, и она не знает. Вернулась девушка с сияющим лицом:

— Селезень! Селезень!..

51

Горбушин никогда не считал, как иные парни и девчонки, будто всякое собрание есть только трата времени. Для него собрание означало прежде всего встречу с друзьями, необходимость сообща обдумать что-то интересное и принять решение. Он всегда шел на собрание в приподнятом настроении, ни одно никогда не посчитал пустым. Возможно, такое его отношение к собраниям началось еще с войны, когда с одноклассниками стоял на торжественной линейке, вступая в комсомол, слушал напутствия старших и видел, как у ребят, потерявших на фронте отцов, дрожат губы от сдерживаемых слез. И как же ему тогда хотелось пойти на фронт! Именно с того дня в эвакуации комсомол и стал для него очень близким, дорогим.

А в комсомольскую работу на «Русском дизеле» втянулся незаметно. Особой активности в цеху не проявлял, но, когда о высоком качестве его работы начали писать в заводской многотиражке, а затем в городской молодежной газете, это привлекло к нему внимание райкома комсомола, его избрали членом бюро.

Выборгский район большой, для Горбушина, как и для других членов бюро, заданий хватало. Он проверял деятельность комсомольских организаций по вовлечению молодежи в социалистическое соревнование, занимался вопросами туризма, шефством над колхозами, спортом и всякими другими делами, и все у него ладилось, и почти всегда им были довольны. Так продолжалось до тех пор, пока не начались его поездки на объекты.

На хлопкозаводе Горбушин с нетерпением ждал предстоящего собрания. На нем должны были присутствовать руководители райкома комсомола. Догадываясь, что дело тут не обошлось без совета с Бекбулатовым — он ведь в недалеком прошлом был одним из руководителей комсомола в республике, — Горбушин говорил себе: если с помощью Бекбулатова на завод пришли пятнадцать колхозников, почему по его рекомендации не могут появиться на сборке еще два-три комсомольца-слесаря?

В небольшой кабинет Джабарова мальчишек и девчонок прямо-таки набилось. Сам директор тоже был

здесь, только не за письменным столом, отдав его Степану Громову, секретарю райкома. Было тесно, жарко, это в седьмом-то часу вечера; впрочем, жарко, может быть, было лишь Горбушину и Шакиру.

Секретарь райкома Громов обрадовался встрече с ленинградцами. Он прежде всего сказал о себе, как будто надо было разговор начинать именно с этого: он бывший москвич, сюда эвакуировался с матерью в начале войны, а когда война закончилась и вернулся отец, они навсегда остались здесь. Он механизатор в совхозе, мать работает в ателье по ремонту обуви.

Горбушин осторожно спросил, не поможет ли райком заполучить парочку слесарей для работы на ДЭС. Громов от души рассмеялся:

— Парочку! Мы девчонок каждую весну сажаем на тракторы, кое-как подготовив их к вождению, они до смерти боятся техники! А ты — парочку слесарей!..

Через минуту Громов открыл собрание.

— Товарищи! На повестке дня у нас два вопроса. На заводе началась приемка хлопка-сырца. Как она проходит? Чем мы можем помочь? И в прорыве строительство ДЭС. Муасам месяц назад докладывала нам на бюро райкома о состоянии строительства, было принято решение, затем одобренное товарищем Айтматовым: ждать приезда ленинградских механиков, а пока всемерно помогать руководству завода в строительстве этого объекта. И вот теперь, как вы видите, ленинградцы перед вами.

Горбушин под аплодисменты подходил к столу, чувствуя на себе десятки дружеских взглядов и улыбок. Выступать, конечно, ему приходилось много раз, однако такое собрание он видел впервые. Сидели ребята... скольких национальностей?! И одинаковое выражение на лицах, выражение привета и радости.

Горбушин сказал, что ему поручено передать товарищам голодностепцам и в их лице всем юношам и девушкам Узбекистана большой, пламенный привет от комсомольцев Ленинграда.

Он говорил недолго:

— Всякая форма соревнования хороша, если работать в полную силу и по совести. Не жди, парень, подсказки со стороны. Не надейся, что кто-то подумает за

тебя. Ты же комсомолец! На своем рабочем месте ты сам себе хозяин. К мастеру обращайся в крайнем, критическом случае, тебе поручили твое дело — ты и живи им... Все зависит от тебя, от твоих стараний. Думай! Пробуй! Проводи опыты до тех пор, пока не получится. А потом — клич соседям: смотрите! берите!.. Так принято работать у нас, комсомольцев Ленинграда.

Когда Горбушин кончил, он понял, что его слова нашли самое горячее одобрение у присутствующих. Затем поднялся Джабаров.

— Это хорошо, что вы собрались, поговорить есть о чем. Сегодня утром я получил телеграмму: нам отгружен и уже отправлен мостовой кран. Плитка уже получена. Укладывать ее долго. А как будут дальше работать каменщицы? Пока темпы недостаточные. Райком партии недоволен нашей работой — медленно идет приемка хлопка. А на приемочных воротах стоит ваш парень, комсомолец Махкам...

Махкам, грек по национальности, крупный, с большими черными, как сливы, глазами, поднялся и заговорил очень сумбурно. Горячий по натуре, он к тому же и плохо владел русским языком. Однако упрек, сделанный Джабаровым, он понял хорошо.

— Я медленно работаю!.. Вчера был случай... Осмотрел товар, замечательный товар, высший сорт. Давай на весы. Взвесил. Почему тележка много весит? Так тележки не весят... Закрыл ворота, пусть очередь стоит, пошел за тележкой. Смотрел, как ее разгружают. На дне — два железнодорожных чугунных колеса для узкоколейки. Я к водителю: «Тебе за что государство будет платить по пять рублей за килограмм? За чугун?..» А водитель удивляется: «Ты с ума сошел, Махкам... Как я мог поднять такое, мне овцу в тележку не поднять, или ты не видишь?.. Тут олимпийский чемпион работал! Нет, я не прав, тут два олимпийских чемпиона трудились, два!..» Ай, какой у нас замечательной силы родятся люди, ай-яй...

В кабинете — хохот. Подает реплику Джабаров:

— Я в милицию сообщил. Может, найдут «олимпийских чемпионов»... Такой колхоз план сдачи выполнил бы раньше всех, награду получил бы...

Видя, что Махкам никак не может успокоиться, взяла слово Рип, и Горбушин прежде всего уловил в ее тоне те бескомпромиссные нотки, что так отчетливо

слышались на полевом стане несколько дней тому назад:

— Я, как начальница ОТК, заявляю, и Муасам разделяет мое мнение: Махкам отлично работает... Мы не боимся сказать это в его присутствии, не загордится. Он хорошо проверяет хлопок, внимательно и со всех сторон осматривает тележки. А что нужно еще? Темпы? Без качества нет количества, а есть очковтирательство, пора это усвоить... Мы в лаборатории, проверяя накладные и хлопок из пробоотборочных банок, еще ни разу никакого дефекта в его работе не обнаружили, а ему ошибиться легко, к вечеру у него краснеют глаза, слезятся...

— Я доволен Махкамом, но все же пусть быстрее принимает,— сказал Джабаров.

Махкам сверкнул на него глазами и сел расстроенный. Его работой недовольны, а ведь он старался!

Выступила Муасам, встав из-за стола, где сидела рядом с Громовым и все время с ним переговаривалась. Ни директор, ни главный инженер, ни начальник строительства никогда раньше претензий к комсомольцам не имели. Наоборот, работу хвалили... Соревноваться не с кем, предприятие небольшое, она предлагает каждому взять повышенное обязательство. Она, бригадир каменщиц, подсчитав, сколько метров пола бригада сможет за день покрыть плиткой, прибавляет к норме еще тридцать процентов. Значит, бригада за один день уложит плиткой тридцать пять квадратных метров.

Джабаров, зная цену таким обещаниям, одобрительно кивнул.

Горбушин то и дело останавливал взгляд на лице Рип и замечал, к некоторому удивлению, что решительностью оно уже не светится. Да, это было так, и перемена в настроении Рип имела причину. Девушка не переставала чувствовать себя виноватой всякий раз, когда вспоминали о ДЭС, хотя и знала, что новый фундамент построен, сверкает на нем капотами дизель и генератор. Она собиралась говорить о ДЭС, ей было неловко и скрыть этого она не могла.

Заявив, что пуск всего хлопкозавода зависит от работы шеф-монтеров, она предложила присутствующим попросить Курмаева и Горбушина рассказать собранию, как у них идут дела. Ей, ведущей собрание, никто не возразил.

А Горбушину уже надоело говорить о трудностях нынешних и предстоящих на сборке машин, но и отказать собравшимся он тоже не мог. Он толкнул локтем Шакира, тот поднялся и зачастил так, что Горбушин готов был заткнуть ему рот.

Шакир живописал, как они сюда приехали, увидели голые стены и ничего больше; он, Курмаев, и Яснопольская хотели вернуться в Ленинград, иного не оставалось, а Горбушин решил по-другому. Они настаивали, он их не слушал. На свои средства полетел в Ленинград пробивать в заводоуправлении придуманный им, бригадиром, план тяжелых работ, короче, вручную по двенадцать часов в день заниматься сборкой, что они теперь и делают. И не надо думать, будто на «Русском дизеле» план Горбушина начальство тотчас и одобрило. Попортили ему крови там, прежде чем он доказал свое.

— Мораль? Здесь Мурат, пусть он скажет, кто в нашей бригаде работает больше всех. Где тяжело — там Горбушин, где сложно — там он. Если каждый будет вкалывать не меньше, чем он, завод первого декабря пойдет.

Горбушин сидел с опущенной головой. Болвану Шакиру он бы сейчас выдал... Нашел место выражать свои дружеские чувства! Кому они нужны?

Но Горбушин ошибался. Комсомольцы встретили слова Шакира явно одобрительно. Не дрогнул ни один мускул лишь на лице Рип... Она вспомнила, как шла с Горбушиным со станции и как хотелось ей узнать, что же происходило в Ленинграде. Она догадывалась — это он, бригадир, был во всем первой скрипкой. А он ответил запомнившимися ей словами: «Не думайте обо мне лучше, чем я есть».

Нет, не болтун и дело знает. И работает больше всех. Ну а Рудена... Зачем он с ней связался, если не любит? А впрочем, ей-то какое дело? Он приехал и уедет.

52

Рудена не жила, она горела, терзая себя бесконечными мыслями о том, восстановятся ее отношения с Никитой или всему пришел конец. Она даже внешне как-то отяжелела от груза своих переживаний, не оставлявших

ее и во сне. Горбушин ежедневно подходил к ней перекинуться словом о работе, она с надеждой поднимала на него взгляд: ведь сутки прошли, может, что-то доброе шевельнулось в нем; и он, конечно же, читал в ее глазах надежду и страдание, но оставался вежлив и деловит, не видела она привета на его лице, не слышала тепла в голосе.

А когда Никита отходил от нее, она готова была рвануть на груди комбинезон, так делалось душно и подступало к горлу сердце... Ей хотелось хлопнуться ничком на детали, заорать... С уходом Горбушина терялся смысл жизни, терялся полностью, жестоко, до конца. Она испытывала такое внутреннее опустошение после каждого кратенького делового разговора, что ее уже ничто не интересовало: ни суета вокруг, ни работа, ни деньги, которые всегда любила. Вероятно, в жизни человека есть порог, подойдя к которому ему ничего уже не нужно...

А сколько раз, пытаясь сбросить с себя невыносимую тяжесть, она старалась доказать себе, что любить Горбушина не за что? Она считала его умным, чутким, но где же его ум и чуткость, если она страдает, а он видит это и все же остается безучастным?

Ни одна женщина на свете не полюбила бы его так, как любит она. Жить считай что не начинала, вся в ожидании той настоящей жизни, для которой женщина и родится; она ждет ее, свою долю, каждый день, ей неприятно вспоминать о былых увлечениях, кажется, их вовсе не было. Она живет будущим, ведь они рождены друг для друга, Никита и Мария. За ее любовь он должен бы на руках ее носить, а он и замечать ее не хочет. Нет, сердце не напрасно забило тревогу в ту минуту, когда Гулян впервые легко и быстро подошла к ним.

Особенно тяжело Рудене сделалось в воскресенье. Она не знала, куда себя девать, в поисках облегчения решила сходить к уборщице Евдокии Фоминичне — посидеть хоть у нее, поболтать о чем-нибудь, ведь и молчать-то уже до тошноты надоело.

По адресу, данному Марьей Илларионовной, Рудена, отчаянно нарядившись во все лучшее, пришла в поселок к старухе. Увидела ветхую, скособочившуюся избенку, пни ее ногой — и развалится, но туда же: и ее подслеповатые оконца зарешечены железными прутьями. А войдя

внутрь, прежде всего увидела внуков хозяйки — трехлетнюю Настю и пятилетнего Федю.

Евдокия Фоминична обрадовалась неожиданной гостье. Дети сидели за столом, из одной тарелки уплетали рисовую кашу. На приветствие Рудены, помедлив, ответили друг за другом.

Она огляделась. В домишке земляной пол. В углу широкая, с облупившейся красноватой краской кровать; комод, на нем, обсиженные мухами, пожелтевшие фотокарточки.

Евдокия Фоминична угостила Рудену чаем. Завязалась беседа, в которой Рудене, однако, пришлось больше слушать, чем говорить, но и тому она была рада: женщина рассказывала хорошо.

Отец ее мужа работал у князя Романова за гроши, рыл вместе с другими канал, да работать ему не хотелось, а выпить человек любил, и вот однажды за ведерный кувшин вина отдал киргизу лошадь, принадлежавшую князю. У него стали спрашивать, куда девалась лошадь, он говорил: должно, жары не вынесла и убегла в степь, это мы терпим, а животное разве станет терпеть?.. Через некоторое время у него убегла вторая лошадь, а потом и третья. Когда же стало известно, что они в кишлаках, у киргизов, князь рассердился и велел бить вора розгами. Деда раздели, связали руки-ноги, положили на скамью и всыпали пятьдесят горячих... Так, запоротого до полусмерти, принесли его домой, он полежал на кровати несколько дней, постонал, покряхтел и помер.

— Сын его, мой муж, в рот водки не брал, убили его басмачи в двадцать шестом году, а сынок наш лил в себя это зелье, как в прорву. Проклятое то вино перекинулось через колено, от деда к внуку. Ну, пил он, пил, наш сынок, опух, его уже на работу не брали. Пропил одеяло, подушку, стал избивать жену, требовать денег себе на пропой. Она, ясное дело, не давала... Вон они, сычи, их кормить надо... Ну, забил он ее совсем, померла. Его судить. Лишили прав отцовства, заслали на восемь лет без применения амнистии. Осталась я с ребятами одна, трудно, хожу на распухших ногах, а что поделать? На одну маленькую пенсию за мужа не проживешь, надо работать, внуков растить...

От Евдокии Фоминичны Рудена ушла вечером, когда стемнело; она ничего не говорила о себе, расспрашивала

старушку о ее жизни, но, странно, все же ей было полегче, когда возвращалась домой. В комнате она увидела Рип и Муасам, вернувшихся из кино, коснулась губами стакана воды, будто затем и появилась в доме, и сейчас же вышла; так уж повелось, что не разговаривала она даже и с Муасам, если Рип была дома.

Спать не хотелось. Она медленно направилась в глубь большого сада Джабаровых, начинавшегося за задней стеной мазанки. Сад тяжело благоухал цветами, яблоками, был залит лунным светом.

Рудена еле брела по узенькой, посыпанной желтым песком дорожке, потом увидела площадку со скамьей, площадка тоже была посыпана песком заботливой рукой хозяйки. Опустившись на скамью, Рудена долго сидела неподвижно, машинально поглядывая на астры, георгины; потом вспомнила, как ходила по улицам Выборгской стороны с Тимофеем и Светкой, распевала ту песенку, что всех приводила в веселое недоумение, и вдруг ей захотелось потанцевать вот здесь, сейчас, не для людей, как бывало там, на улицах, а для себя одной — на этой маленькой площадке, залитой лунным светом.

И Рудена поднялась, прислушалась. Было тихо. Где-то брехали собаки, но тишина от этого только усиливалась. Лунный свет, дробясь в яблонях, заливал сад. Рудена стала танцевать, поначалу неуверенно, будто в каком-то оцепенении, потом все смелее и свободней, назло всем несчастьям, назло себе.

53

Наконец-то прибыл долгожданный подъемный мостовой кран, остро пахнущий свежей шаровой краской. Джабаров и Нурзалиев помчались на железнодорожную станцию смотреть чудо. Оно оказалось длинной, неуклюже брюхатой штуковиной весом на четыре с половиной тонны и лежало на двух платформах вверх колесами. В тот же день рабочие Нурзалиева, под его и Джабарова наблюдением, с их посильной помощью, перегрузили кран с платформ на тракторный прицеп, после чего долго крепили его тросами — прицеп был явно маловат. Трактор, управляемый Муратом, пополз к заводу, победно оглашая воздух звонким треском из выхлопной трубы. В поселке за трактором побежали мальчишки и

собаки, одинаково изумленные, и проводили его до самых ворот завода.

На другой день с утра рабочие и слесари опустили кран перед воротами ДЭС на тяжелые деревянные катки, затем с помощью лебедки втянули его в машинный зал и развернули как надо. Все сборщики оставили работу у машин — до нее ли было. Радость людей не знала границ. Ведь кончался тяжелый ручной труд. Слесари курили, делясь соображениями о том, как лучше поднять кран на стены,— подкрановые пути были уже проложены.

Мурат показал на верхний продольный столб, являющийся коньком крыши, предложил нацепить на него несколько блоков, по ним протянуть тросы, а потом с помощью лебедок поднимать кран. Парня подняли на смех.

— Мурат,— качал седой головой Рахимбаев,— у тебя кто больше думает, тюбетейка на голове или голова? Мы отбежать не успеем, как обрушим крышу и она накроет нас.

— Пойдет враздрай, обязательно враздрай,— согласился и Гаяс.

Горбушин выслушал все точки зрения и не высказал свою, так как никогда не поднимал и даже не видел, как поднимают мостовой кран на стены. Он неловко молчал. Рахимбаев понял его состояние и положил ему на плечо ладонь:

— Не волнуйся, Никита, поднимем!

Рядом с ними Гаяс, почесывая волосатую грудь, важным тоном предложил поднять кран четырьмя трехтонными талями. Рахимбаев покивал:

— Ты близок к правде, Гаяс. За что зацепимся, чтобы крыша не пошла враздрай?

— За столбы, Нариман-ака, за столбы, за что же еще?

— Ты опять близок к правде, Гаяс. За столбы, не за воздух. За какие столбы мы зацепимся, покажи мне.

Гаяс долго смотрел, подняв голову, на симметрично расставленные, косо уходящие вверх опорные белые столбы. Короче, Рахимбаев ни с кем не согласился. Он решил зацепить тали за столбы внизу, на стене, у их основания, там они были наиболее крепки, а если бы не выдержали тяжести и лопнули, крыша все равно не обрушилась бы. Две трехтонные тали Рахимбаев прика-

зал навесить на два рядом стоящие столба, а две такие же — на столбы противоположной стены.

Так началась последняя физически тяжелая работа. Люди привыкли талевыми цепями поднимать части машин, но те трудности были цветочками в сравнении вот с этими, когда надо было с помощью талей поднимать не триста килограммов, а четыре с половиной тонны. Да чего стоило мощные тали поднять на подкрановые стены...

Восемь человек, по двое на каждую таль, потянули цепи, поднимая двести семьдесят пудов груза. Еще два человека, держа ручку лебедки, следили за тем, чтобы крану ничто не мешало подниматься, то есть чтобы его концы не задевали за стены. Эти два человека, Ким и Джабаров, стояли на стенах, командуя подъемом. Они так напряженно кричали вниз, подавая команды, что к вечеру оба остались без голоса.

К полуночи кран подняли на три метра, закрепили тали и лебедку, оставив его висеть в воздухе, и пошли по домам, шатаясь от усталости, но с хорошим чувством исполненного трудного дела. Утром со свежими силами взялись за работу, и в полдень кран уже был на рельсах. Тут перекур объявили на целый час — вполне заслуженный всеми отдых. Он быстро прошел, потому что каждому было что сказать о своих надеждах, усилиях и страхе и, наконец, о радости, что все так успешно завершилось.

К крану подключили ток. Мурат поднялся по металлической лесенке в будку крановщика, погнал кран на обкатку в конец здания, потом назад к воротам. Кран покряхтывал, постанывал — запевал рабочую песню.

Мурат сверху поглядывал именинником.

54

Маки уже отцвели. На высоких, тонких ножках печально качались темно-коричневые головки. И это было все, что осталось на дувале от волшебной красоты, встретившей ее здесь. Не так ли начинается и заканчивается жизнь человека?

Рудена смутно думала об этом, вглядываясь в темные кубышечки, что так еще недавно были дивными цветами. Слезы текли из ее глаз.

С Горбушиным все кончено. Она хорошо отрепетировала предполагаемый разговор с ним, подошла к нему и сказала, что если может бесконечно молчать он, то не может этого она,— пусть после работы отстанет от всех, они пойдут домой вместе и объяснятся. Горбушин молча кивнул.

А на дороге, как только отошли от завода, он сразил ее жесткими словами:

— Нам не о чем говорить, Рудена. На ребенка я буду тебе давать, а если не хочешь его воспитывать, отдам отцу и мачехе, вырастят. На этом и кончим. Я много думал о себе, о тебе, о ребенке и ни разу не смог представить, что мы женаты. Я это говорю к тому, что никакого легкомыслия в этом вопросе я не допустил. Ну вот и все. Пережевывать старое я отказываюсь.

И Рудена почувствовала впервые, что идет рядом с нею чужой, совершенно чужой человек и старается обидеть ее как можно больнее.

— Нет у нас ребенка и не будет... — глухо, пересохшим языком проговорила она с тяжелым усилием.— Я соврала, думала удержать тебя, но удерживать и не стоило, оказывается...

И остановилась. Было темно, с юга тянул душный ветерок.

— Прости меня, если сможешь,— сказал Горбушин. — Ты еще встретишь человека, который тебя полюбит...

Рудена резко ощутила ненужность этих слов, и силы вдруг пришли к ней. Она закричала громко, надрывно, захлебываясь слезами:

— А где я его найду, на дороге хорошие валяются?! Вся моя жизнь связана с заводом, а что я видела? Ты — третий у меня, и все меня бросили... Или, думаешь, я не знаю, как смотрят окружающие на таких, как я?! Ну иди, иди, чего остановился?! Вот дорога, шагай!..— И зло, матерно выругалась.

Горбушин пошел торопливо... Рудена осталась. Долго смотрела ему вслед, а когда перестала его видеть, подошла к стоящему у дороги телеграфному столбу, вскинув руки, прижалась к нему лбом и зарыдала.

Выплакав первые жгучие слезы, она подумала, что спешить ей некуда, отошла в сторону от дороги, чтобы не заметил никто проходивший мимо, опустилась на жесткую почву с колючими травинками и задумалась,

чуть вздрагивая от только что сотрясавших ее рыданий. Кажется, она искала какую-то особую меру, чтобы измерить все свои несчастья.

Прежде всего, она очень плохо жила с матерью. Начиная с четырнадцати лет ни в чем не слушалась ее, а мать дочери плохого не желала. Дочке же наплевать было на ее советы. Полюбила парня, думала, любовь у них на всю жизнь, а он погулял да и был таков. Нашелся другой, этот нравился больше, настоящий мужчина с крепкими руками, да и характером подходящий, а как кончилось? Вышла бы за него, теперь матерью была бы. Ну, набила морду Светке, и дело с концом. Но ведь ее ничто не устраивает наполовину, ей либо все, либо ничего, и вот она у разбитого корыта.

Тимофей был дурак, она старалась вытащить его из грязи, а теперь Горбушин считает ее дурой и презирает — необразованная, книг не читает... Все крайности какие-то в твоей жизни, Мария, а ты обыкновенная баба, ты хочешь, чтобы был муж, была семья, были дети, чтобы было для кого стараться, потому что если не для кого стараться, тогда зачем жить?

Девчонкой была — для барахла старалась, теперь им два тройных шкафа битком набиты: пальто, шубы, плащи, костюмы, платья, и все модное, дорогое. А для чего все?..

Конечно, можно прожить без любви, иные женщины и девчонки встречаются с мужчинами без всякого чувства, ничего, им это нравится, но она так не умеет, хотя, может, придется и ей привыкать... С таким гардеробом, как у нее, с таким устойчивым большим заработком можно и не быть одинокой, всегда хватит мужиков, еще и сзади побегут... И пусть бегут, к чертям любовь... Три раза любила, три раза ревела, потому что оставались от любви только боль и грязь. Все теперь!.. К черту любовь!..

Только ведь женщина всегда есть женщина, какой бы сильной ни была... Она тоже сильная, иного мужика за пояс заткнет, но она все-таки женщина, муж для нее — сила... Замужем женщина — это дом за забором, а если одна, так это дом с развалившимся забором, заходи кому не лень, обижай женщину и не бойся, она умеет молчать, защитить ее некому... Но теперь она и сама, наверное, обидит любого!..

Каждое воскресенье Рип и Муасам уходили вечером в кино, иногда за ними увязывался Мурат, отдававший предпочтение Муасам перед другими девушками. Рудена знала, что и в соседней комнате никого нет — Горбушин и Шакир продолжали жить у Нурзалиева.

Поздно вечером она подъехала к дому на грузовой машине. Поладив с незнакомым шофером, вынесла свои литые чемоданы, два больших и один средний, погрузила их и умчалась на станцию, никого не предупредив о намерении покинуть Голодную степь навсегда, ни с кем не простившись, даже с Марьей Илларионовной, с которой так подружилась и которой стыдилась теперь.

Около полуночи Рудена выехала в Ташкент. Оттуда, на восходе солнца, вылетела в Ленинград.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

КУРАМИНСКИЕ ГОРЫ

55

Бунт горит!.. Пожар!..

Бросив инструменты, перепрыгивая через многочисленные детали,— теперь, когда работал подъемный кран, они широким полукругом лежали у машин, черные, белые, желтые, серые,— Горбушин бросился к воротам ДЭС, прислушиваясь к звонкому девичьему голосу, не перестававшему оповещать о несчастье.

Рядом с ним бежали Акрам и Шакир, девушки-строительницы, еще какие-то люди. Отстали Рахимбаев и Гаяс, бежать которому мешали опорки на ногах, да Мурат, долго спускавшийся из будки крановщика.

Зловещая красота бросилась в глаза Горбушину, едва он обогнул угол амбара. Бунт хлопка длиною в двадцать пять метров и шириной в семнадцать, высотой с четырехэтажный дом был охвачен почти неразличимым на фоне неба синевато-голубым пламенем. Такой цвет имеет пламя над зажженной спиртовкой. Огонь с сильным треском и всего за секунду-другую объял эту величественную белую гору, вскинулся в небо высоким голубым, широко развернутым знаменем, и дыма над ним почти не было.

От заводских ворот бежали рабочие. Впереди, с багром в руках, Роман, багор он держал опущенным вниз, так когда-то мужики ходили на медведя с рогатиной. Горбушин близко подбежал к бунту, его опалило жаром. Закрывая лицо согнутой в локте рукой, он то под-

ступал к огненной стене, то отступал от нее, как бы примериваясь, что можно сделать.

— Рип с пожарниками!— закричал оказавшийся рядом Шакир.

Приближались две лаборантки и Рип в белых халатах, на ходу помогая пожарникам раскатывать брезентовый шланг. Шакир и Горбушин подскочили к ним, взяли у них шланг. Подбежавшие Акрам и Гаяс помогли другому пожарнику открыть канализационный люк, ввинтить планшайбу в водонапорную колонку, подтянуть ближе к огню шланг. К ним подоспел Джабаров с цепным ключом: вот когда он пригодился директору-водопроводчику! Подбегали отовсюду люди, крик усиливался.

Горбушин раскатывал уже второй шланг, ему помогали Рип и ее две лаборантки.

— Отчего загорелся бунт? — спросил он.

— Не знаю! Может быть, кто-то бросил окурок. Или проехал трактор без сетчатого колпака на выхлопной трубе.

— Без сетчатого колпака?

— Из выхлопной трубы иногда вылетают искры, их может нести ветер... Водителям запрещается въезжать на территорию без колпака на выхлопной трубе! — Рип говорила, не отрывая беспокойного взгляда от огненной горы.

— Не приближайтесь к огню!

Вода из брандспойта фонтаном ударила в стену бунта и словно провалилась в яму, но затем хлынула вниз, вся в пару и черная от пепла. Резко звучал голос Джабарова:

— Сбивайте огонь с угла, на угол лейте!

Из второго брандспойта воду направили на верх бунта. Хлопок загорается легко, но огонь легко гаснет, если возникает на открытых местах. В амбарах хлопок лежит целую зиму и слеживается в плотную массу, огонь в нее проникает медленно, но зато и тушить его намного сложнее.

Водой из двух брандспойтов огонь на углу бунта был сбит сразу, и Роман кинулся к стене, дышащей жаром, дымом, паром, стал багром вырывать пуки искрящегося хлопка, который тут же пожарники заливали водой. С баграми начали работать Шакир, Ким, Горбушин, Гаяс и другие мужчины.

Шатаясь от волнения, старая уборщица несла из конторы пенный огнетушитель, причитая:

— Ах, господи, беда какая!.. Отврати ее, господи!..

Вскоре исчезло над бунтом это зловещей красоты голубое пламя, огонь осел, однако еще держался, мощной гривой колыхаясь вдоль всей кладки.

Звонко колотя в колокол, ворвались на территорию завода пожарники на красной машине, прибавилось еще два брандспойта. Бунт сделался сплошь черным и совсем уже скрылся в едком дыму, пару. Огонь вгрызался в толщу хлопка.

Горбушин бросил багор, взял у Евдокии Фоминичны пенный огнетушитель и пошел вдоль черного, горячего бунта, заливая пенной массой еще золотящийся кое-где хлопок. По лицу ручьями бежал пот. Резало от дыма и жара глаза.

Горбушину особенно запомнился Роман своим полным бесстрашием и яростной работой. Он будто сошел с ума, быстро и непрерывно отбрасывая пучки дымящегося хлопка. Он ни разу не отбежал отдышаться, разогнуться, как делали другие. Отошел только тогда, когда сломал ручку багра. Его знаменитая в поселке бородища и длинные, как у женщины, волосы обгорели, он не обращал на это внимания.

Из кладовой рабочие принесли связку кирзовых сапог. Слышался голос Рахимбаева, вдруг сделавшийся сильным, властным:

— Молодым подняться на бунт! Молодые, надевайте сапоги! Будете сбрасывать хлопок вниз!

Горбушин присел на минуту отдышаться: кружилась голова, тошнило... Он угорел. Этого следовало ожидать, ведь запах горящего хлопка не сравнить ни с каким другим дымом, так он ядовит.

К нему подбежала Рип, халат на ней был разорван и испачкан.

— Вам плохо?

— Ерунда...

— Вам опалило волосы! — удивилась она.— У Романа тоже...

Горбушин встал.

— Надо туда, на бунт,— сказал он.

— Я уже в сапогах!

— Вам не надо подниматься!

— Почему? Муасам и ее девочки надевают сапоги, вот они, сейчас мы вместе поднимемся на бунт!

Рип убежала. Пожарники приставили к бунту три лестницы, с профессиональной ловкостью подняли по ним тяжелые шланги. Там, на верху бунта, открылись их взглядам огненные колодцы, в которые и хлынула прицельная вода. В небо взвились новые столбы дыма и пара, как будто из глубины бунта кто-то стрелял. Последние языки огня быстро исчезали.

На бунт с баграми в руках следом за пожарниками поднялись человек двадцать; Горбушин оказался в центре и увидел, что огонь там не успел пробуравиться глубоко. Так много воды вбирает в себя, оказывается, хлопок. Пласт небольшой, но его еле тащишь... По пояс в черном, мокром и горячем пепле, Горбушин подносил пласт за пластом к краю бунта, рискуя свалиться с него,— где этот край, кто его разберет, если все черно и дымит? — и сбрасывал вниз. Там относили хлопок в сторону, заливали водой искры и затаптывали их сапогами.

Пожар гасили около четырех часов. По ориентировочному подсчету, он сожрал около ста тонн хлопка.

Несколько человек угорело, их отправили в больницу. Там оказалась и уборщица Евдокия Фоминична. Много лет страдавшая сердечной недостаточностью, к полуночи, ослабев от частых рвот, она умерла. Перед смертью попросила дежурную сестру передать директору Джабарову ее просьбу: не оставить без присмотра ее внуков, определить их в детский дом в Ташкенте.

О пожаре и смерти уборщицы на другой день говорили люди всей Голодной степи. Джабарова, Кима и Рахимбаева бранили: видели старуху, таскавшую охапками мокрый, ядовитый хлопок, и никто не догадался отослать ее в контору. Джабаров, слыша это, злился и мучился. Да, недосмотрели, но и как было доглядеть в такой сумятице?..

Внуков покойной временно взяла в свой дом Марья Илларионовна. Ее муж и Рахимбаев собирались, согласно воле умершей, отвезти детей в Ташкент, а вышло иначе. Вдруг прикипела сердцем к худенькой, болезненного вида девочке Марья Илларионовна, стала просить Усмана Джабаровича оставить ребенка у себя. И он, всегда охотно соглашавшийся с нею во всем, конечно же дал согласие. Это взволновало Дженбека и Жилар

Нурзалиевых, они прибежали к Джабаровым спросить, правда ли, что те оставляют девочку у себя, и, услыхав подтверждение, молча переглянулись.

Мальчика Федю взяли себе Нурзалиевы.

56

О пожаре и возможных причинах его, о погибшей женщине и оставшихся детях суды-пересуды занимали людей целую неделю. Производственные вопросы на хлопкозаводе были отодвинуты на второй план.

Нурзалиевы радовались... У них есть сын! Они дали ему свою фамилию, официально усыновив его.

Рахимбаев сказал Никите Горбушину:

— Да, эти ребятишки — уже пятое поколение русских, осваивающих Голодную степь.

В пожарной суматохе никто не придал невыходу Рудены на работу серьезного значения. Сборщики решили, что она заболела, а Рип и Муасам, поздно вернувшиеся домой в воскресный вечер, не увидев Рудены и ее чемоданов, подумали, что она переехала куда-то на другую квартиру, и обрадовались этому. Сколько же можно портить нервы друг другу?

Но и в четверг не увидев Рудены у дизелей, Муасам подошла к Горбушину спросить, куда она переехала, почему не работает. Тот с удивлением и тревогой быстро взглянул на нее:

— Она живет с вами, вам знать!

Муасам, медленно подбирая слова и стараясь четко выговаривать их, сообщила: Рудена уехала от них в воскресенье, а куда, они не знают. Горбушин не испугался этой новости, но постепенно какая-то оторопь стала овладевать им.

— Пожалуй... — задумчиво сказал он и сделал большую паузу. — Я сейчас схожу к Джабарову... Может, Марья Илларионовна что-то знает?

— Да-да, выяснять! И я пошла с тобой!

Муасам что-то говорила ему, он не вникал в смысл ее слов, не до того было. Где Рудена? Ее отсутствие на сборке он посчитал результатом кризиса их отношений. Рудена переживает, даже, может быть, больна, завтра или послезавтра выйдет на работу.

К Джабарову они попали не сразу. У него сидел следователь, выясняя причины пожара. Пока он находился

в кабинете, тревога в Горбушине росла. Предчувствие большой беды клещами сжало душу. Неужели Рудена погибла?.. Ведь давала же она понять, и не один раз: не станет жить, если он оставит ее. Что он сейчас услышит от Джабарова? Директору, наверное, что-то известно...

А тут, как бы нарочно для того, чтобы он, Горбушин, побольше помучился, не спешил выйти из кабинета следователь. Такая у него работа — подробно расспрашивать всех причастных к делу. Горбушин и счет минутам уже потерял, прежде чем средних лет человек с плотно набитым портфелем в руке с недовольным выражением лица покинул кабинет директора.

О том, как глубоко был расстроен Джабаров, говорил его вид. Комбинезон и ворот толстовки расстегнуты, а волосы, казалось навсегда образцово уложенные природой, были всклочены. Директор непрерывно вел монолог с самим собою. Так как же мог возникнуть пожар? Кто виновен в его возникновении? Ему больше, чем следователю, хотелось уличить виновного, но предположение, что кто-то бросил дымящуюся папироску около бунта, отпадало по своей нелогичности: ни один человек из живущих вблизи хлопкозавода, тем более работающих на нем, никогда не забывал, какую угрозу представляет каждый, идущий по заводу с дымящейся папиросой в руке. Хлопок в бунтах, в открытых амбарах, при малейшем ветерке он пухом стелется по двору, а пух — что порох, что бензин: достаточно искры — и беда. Пойди человек с папиросой, его тут же остановит первый встречный.

Значит, наиболее вероятной причиной пожара был другой вариант: кто-то из водителей въехал во двор без сетчатого колпака на выхлопной трубе, Махкам на весах-воротах не проверил машину, озабоченный качественным приемом товара, и дело сделалось. Джабаров, почти уверенный в его вине, яростно подступал к нему с расспросами, но улики отсутствовали, оставались только догадки.

Управляющий трестом объявил директору выговор за халатное отношение к своим обязанностям. А у Горбушина еще свежим был на памяти недавний разговор с отцом об ответственности руководителя, который, оказывается, отвечает не только за содеянное, но и за то, что

может случиться в результате его недальновидности, и он испытал искреннее сочувствие к директору.

Вместе с Муасам войдя в кабинет, они торопливо стали рассказывать об исчезновении Рудены. Джабаров сердито прервал их:

— Куда могла пропасть ваша Рудена?! Почему мне надо думать о ней? Звоните в милицию, может, в канале утонула!

Слова о канале у него вырвались случайно, но, конечно же, они не показались случайными Горбушину! Неуверенным движением он снял трубку телефона, набрал номер, подсказанный Джабаровым. Но нет, дежурному милиции не было известно об исчезнувшей девушке. Может быть, что-то знает начальник? «Минутку, товарищ, я сейчас выясню...»

И Горбушин стал ждать с телефонной трубкой в руке, нисколько уже не сомневаясь, что Рудена погибла. Вторая девушка ушла из жизни по его вине. Убийца... Что за невероятная, дикая, отвратительная Судьба!

И как раз в это время, когда он с трубкой около уха ждал ответа, как приговора себе, остро чувствуя себя преступником, в кабинет вошел Роман, неузнаваемо изменившийся. Теперь Рудена не сказала бы о нем: «Обволосатился, как лев». Могучая борода цыгана, опаленная на пожаре, была снята парикмахером, длинные волосы подстрижены под ежик. И вдруг оказалось, Роман-то вовсе и не солидный, у него тощее и усталое лицо и печать удивительной покорности на нем.

Муасам засияла улыбками:

— Ой, Роман-люли... Ты комсомолец! Пиши заявление в комсомол!

— Подам заявление. Замуж за меня пойдешь? Жениться на тебе буду. Совсем буду жениться!.. — вскричал, мгновенно оживившись, Роман.— Я тебе заявление в комсомол, а ты за меня замуж... По рукам?!

— Исчезни! — зло бросил ему Джабаров.— Ты что, лошадь продаешь или покупаешь?.. В трест я не поеду!

Но Роман еще какое-то время стоял, завороженно поглядывая на Муасам, и, когда взялся уже за ручку двери, чтобы выйти, она вдруг спросила:

— Роман-люли, ты Рудена видал?

— Я не видал. Один шоферюга тут хвастался: бабу из директорского дома на станцию отвез, калым — на литр... — И с гневом обратил взгляд на Горбушина: —

У нас живут — калым чужому шоферу дают... — И вышел из кабинета возмущенный.

Горбушин бросил трубку телефона, вытер пот со лба... И как это Муасам догадалась спросить о Рудене. . . Гора с плеч!

— Значит, она сбежала от нас... Как ты на это смотришь, Муасам?

— А такие отношения выясняйте не у меня! — рявкнул на них Джабаров, и они вышли.

57

Горбушин забежал домой взять денег, чтобы отправиться на почту заказать разговор с Ленинградом. Жилар, изумив его, протянула ему почтовое извещение: Горбушина вызывал для разговора Ленинград...

Он еле дождался вечера, хотя тревога его была уже иной. На почту пошел вместе с Шакиром. И опять, лишь соединили Голодную Степь с Ленинградом, подивился прекрасной слышимости и порадовался этому. В трубке отчетливо слышалось астматическое нервное дыхание Скуратова.

— Здравия желаю, Николай Дмитриевич! Поздравляю с возвращением из отпуска!

— П-приветик, черт вас дери... Вы что там, козлы, натворили?

— Ничего не натворили. Рудена у вас?

— В-вернулась, Карменсита... В чем дело? Выкладывай.

— Я ничего не знаю... Спросите у нее... Она никого из нас не предупредила об отъезде.

— У нее много спросишь. Молчит. В-в-вернулась, и все. Б-бился, бился... Молчит. «Рас-с-считаю, говорю».— «П-пожалуйста, говорит, хоть сейчас. Написать заявление? Мне даже и лучше». А сама б-бледная, таким бюллетень дают на две недели, и полные с-слез глаза... А я же не бревно, к-как ты думаешь... Хоть и ору на вас, но вы же мои дети... «Как раз, говорю, отпущу тебя, держи карман шире... Зачем мы десять лет учили тебя работать, для чужого дяди?..» Ничего я не добился от нее, м-молчит. Это все из-за тебя, козел, произошло!..

— Почему из-за меня, Николай Дмитриевич?

— Ну, тогда из-за меня, если не из-за тебя... Курмаев же ж-женатый.

— В чем вы меня обвиняете?

— Сегодня мать божья и заводская, перед которой все души раскрываются, д-два часа билась над твоей Руденой, а результат т-тот же. Какой сияющей отсюда уезжала, говорит Елена Тимофеевна, а вернулась белая как с-смерть. К-короче, Горбушин, Елена Тимофеевна н-награду тебе за тот объект готовит, ну а я тебе другую награду п-п-приготовлю, будь уверен, тогда узнаешь, в чем я тебя обвиняю. Н-ну скажи на милость, кого я должен послать к т-тебе вместо К-карменситы? Самому ехать, что ли? З-зарезал ты меня, Ник-кита Максимыч!..

— Никого не нужно посылать сюда, положение у нас выправляется. От помощи ленинградских комсомольцев я отказался, вы это уже знаете. Две недели назад смонтировали подъемный кран, да и людей много работает сверхурочно. Словом, обо всем этом я отправил вам письмо. Получили?

— Получили. Если и человека к тебе не посылать... Ладно, хорошо хоть это! Я предположительно сообщил в Баку, что п-первого января Горбушин и Курмаев прилетят к ним из Средней Азии... Там на танкере надо большую машину поставить... Даешь согласие?

— Нам Елена Тимофеевна твердо обещала: не посылать нас в командировки несколько месяцев. Диплом за нас вы будете защищать?.. В глаза не видим учебников!

— Хорошо Елене Тимофеевне обещать. А кто мне план станет делать, она? Но я п-постараюсь помочь вам насколько возможно. Теперь точно доложи, что с-сделано, что намереваешься делать дальше. Ну, подробненько... Первое, когда поедешь в Пскент?

— Ноябрьские праздники хочу использовать для этого.

— Когда съездишь, мне немедленный и полный отчет напиши. Д-д-дальше... Работаете уже по восемь часов или еще по д-д-двенадцать?

— Добиваем последнюю неделю по двенадцать.

— Так... Средний фундамент готов?

— Уже и машины на нем!

— Скажи кратко, что делаете на первых двух дизелях, ч-чтобы я представил себе, г-г-где вы там плаваете.

— На одном проверяем индикатором развалы щек коленчатого вала в рамовых подшипниках, на другом центруем коленчатые валы.

— Подходяще...

— Не то слово, товарищ начальник... Если уже занимаемся этим, то, значит, не работали, а горели здесь по двенадцать часов в сутки. Вот об этом «Русскому дизелю» будет отправлено отсюда письмо через несколько дней. Ответ на наше письмо, который мы просили... Помните?

— Еще бы... Значит, из прорыва полностью вырвались. У-у-уразумел теперь, голова, где та к-колокольня, с которой надо было тебе з-з-звонить к обедне?

— С вашей помощью! — засмеялся Горбушин.

— С-с-слава богу... В другой раз не п-полетишь мамочке-Людоеду в колени рыдать. Передай привет Шакиру, да буду спать, ты, в-в-верно, забыл, что у нас сейчас не десять вечера, как у вас,— на моих вон в-второй час ночи, да к тому же не б-б-белой... Все?

— Спокойной ночи!

— Д-д-до свиданья.

58

Дженбеку Нурзалиеву исполнилось сорок лет. В этот день он раньше ушел с завода домой — помочь Жилар приготовиться к встрече гостей. Перед уходом обошел наиболее важные участки строительства, чтобы быть спокойным, что без него дело не остановится.

На центральном дворе люди привычно укладывали в траншею толстые трубы для пневматической подачи по ним хлопка из амбаров в перерабатывающие цеха. Здесь Нурзалиев увидел десятника Файзулина, попросил его следить, чтобы асфальтирование двора ни на час не прерывалось. Затем направился к последнему строящемуся амбару, предмету его неусыпного внимания: до пуска завода оставалось уже менее месяца, из колхозов и совхозов хлопка подвозили все больше, а последний амбар только еще строился; теперь не станция была у Нурзалиева заботой номер один, а вот этот амбар.

Однако причины для беспокойства он не увидел и здесь. Методично постукивали каменщики ребром лопаточки о кирпичи, снимая лишний раствор быстрым, ловким движением, подсобницы подавали им материал. Попросив рабочего накрыть рубероидом только что привезенный, сваленный на дворе цемент, Нурзалиев легким шагом понесся домой.

Вечером в его большой желтой комнате собрались гости. Горбушин и Шакир только накануне освободили ее, и то лишь потому, что в квартире появился маленький Федя с испуганными глазами. Шеф-монтеры вернулись в дом Джабарова, в комнату с зарешеченными окнами и глазастым глухарем-павлином, встрече с которым оба обрадовались. Шакир даже прокричал ему «кукареку» и отдал честь.

Накануне он съездил в Ташкент, купил позолоченные наручные часы, нашел гравера. И на крышке часов появилась надпись: «Дженбеку на память от Г. и К.» Только после этого, вручив хозяину подарок, друзья почувствовали облегчение. Они прожили у Нурзалиевых на всем готовом целый месяц, платы же никакой супруги не брали, уверяя их, что киргизский обычай не позволяет им брать деньги с гостей. Напрасно Шакир доказывал, что гости — гостями, обычай — обычаем, но кормить целый месяц двух тяжеловесов не шутка, гостям надо и совесть знать. Словом, лишь купив эти часы, друзья ушли от Нурзалиевых успокоенными.

Поздравить Дженбека с днем рождения пришли: Ким с женой Ольгой Матвеевной, тоже небольшого роста, как и он, Джабаров с Марьей Илларионовной, Рипсиме с Муасам, Рахимбаев, Ташкулов, Гаяс, Акрам, Мурат.

Рахимбаев перед застольем ознакомил присутствующих с письмом «Русскому дизелю», которое сочинял уже несколько дней. Накануне письмо прочитал в райкоме Бекбулатов, сказал: «У вас, Нариман Абдулахатович, руки рабочего, а голова министра».

«Директору завода «Русский дизель» *Н. А. Дмитриевскому*

Секретарю парткома *Л. Р. Бокову*

Председателю завкома *Е. Т. Гавриловской*

Начальнику цеха внешнего монтажа *Н. Д. Скуратову*

Дорогие товарищи!

Вы просили сообщить вам письмом, когда строительство ДЭС будет выведено из прорыва и ничто уже не помешает пустить завод в эксплуатацию в плановый срок.

Мы прорыв ликвидировали. Это стало возможным после полуторамесячной работы монтажников, трудившихся у машин по двенадцать часов в день. Спасибо вам за помощь. Рахмат!

Мы не сомневались, что получим ее. Ведь даже в дореволюционное время, когда народы Туркестана притеснялись царскими чиновниками, как ими притеснялся и ваш русский народ, лучшие русские люди, жившие в наших городах и кишлаках, несли нам культуру и пример.

Многие века народы, населяющие Туркестан, жили под гнетом. Коран и шариат иссушали ум народов Средней Азии, стремясь убить в них интерес к наукам, заставить народы только в Коране и шариате видеть науку всех наук, способную ответить на любой возникающий в сознании человечества нравственный вопрос. Коран и шариат утверждали, что ими в мире все изучено, объяснено, исчерпано, поэтому ничто в них не подлежит ни критике, ни сомнению. В этих условиях развивались фарисейство, буквоедство, религиозный фанатизм и нетерпимость к людям других вероисповеданий.

Но глубокая духовная жизнь народа никогда не ограничивалась толкованием Корана и шариата. У нас были великие архитекторы, создавшие бессмертные памятники, великие поэты, творения которых пережили века, великие астрономы. Народ создавал свою музыку, науку, свои песни и свое искусство.

Мы счастливы теперь, живя при Советской власти, в одной семье братских народов. Да, мы никогда не были так свободны, как сейчас, и никогда мы не жили так богато, как живем сейчас.

Да здравствует наш многонациональный Советский народ и его Коммунистическая партия!

Джабаров Усман, директор хлопкозавода.
Ким Григорий, главный инженер.
Рахимбаев Нариман, секретарь парторганизации.
Ташкулов Гулам, главный механик.
Нурзалиев Дженбек, начальник строительства.
Бабаев Акрам, слесарь.
Абдулин Гаяс, слесарь.
Алимжанов Мурат, слесарь.

Джабарова Муасам, бригадир каменщиц, сложивших ДЭС, комсорг.

Гулян Рипсиме, инженер, контролировавшая строительство ДЭС».

Женщины несли с веранды и ставили на стол большие пиалы с шурпой и блюда с горячим бешбармаком, от которого закурился в комнате ароматный парок. А до этого уже стояли на тарелках красный фаршированный перец, холодная рыба и помидоры. Фрукты на отдельном столе, — там, обложенный виноградом и грушами, лежал ошеломляющего размера арбуз, рассеченный на две кроваво-красные половины.

Тамадою избрали Джабарова, но пожалели об этом — он оказался плохим тамадою. Он сказал только, что гости желают новорожденному жить долго и богато, как богата голодностепская осень, и что еще они желают ему и его жене вырастить сына, Федора Нурзалиева, хорошим человеком. И взоры присутствующих обратились к Жилар, на коленях которой сидел с грушей в руке принаряженный маленький Федя.

Выпив рюмку вина, занимаясь рыбой, Горбушин охотно слушал сидевшего рядом Григория Ивановича.

— Мы с женой родом из села Синельниково Никольско-Уссурийского края, это вблизи воспетого в песне Благовещенска. Корейцев в Средней Азии много. Живем хорошо. Рис сеем, хлопок выращиваем. Хлопок — культура дорогая, люди зарабатывают хорошо. А какие дивные тут разводят фруктовые сады, вы знаете? Тут всюду сады, виноградники, бахчи. Земли каждому дают много, а это главное. На такой земле, в таком благословенном крае произрастает все. Давай трудись, и будет твой дом полной чашей.

Григорий Иванович выпил кумыса, положил в тарелку бешбармак и помидоры и понесся дальше, не забывая в то же время и о еде.

— Что здесь еще хорошо? Люди многих национальностей, а посмотрите, как дружно все живут. Я работаю, жена дома с ребятами. У нас четверо. Она похожа на японку, правда? Она неутомимая танцорка! Пригласите-ка ее потанцевать!

Женщины подали шашлыки. Григорий Иванович нацелился на палочку, взял ее и неожиданно для Горбушина заключил:

— Ташкулов уходит на пенсию с нового года, видите, какой у него глаз? Совершенно закрылся. Мы не станем удерживать Гулама Абдурахмановича. Хотите поступить на его место главным механиком? А что? Джабаров будет рад, я знаю! Отпустим вас в Ленинград защитить диплом, потом возвращайтесь. Дадим квартиру. В Ленинграде, конечно, юношам отдельные квартиры не дают, мы — дадим. Мы новый завод, у нас перспективы...

— Я дизеля люблю, Григорий Иванович.

— Дизеля! — иронически засмеялся Ким, откидываясь на спинку стула. — В Узбекистане им осталось жить три-четыре года. Наша республика перейдет на единую энергосистему.

— Найдется им работа, я думаю... — улыбнулся Горбушин.

— Безусловно, кто с этим спорит... Они вон, дизеля, таскают поезда, да какие... Разве тепловоз сравнишь с паровозом?

Прислушивался Горбушин и к словам сидящей напротив него Рип, немножко досадуя: почему не он рядом с нею, а Шакир? Рип была в том темно-голубом платье, отделанном малиновым бархатом, в котором ему уже не раз хотелось ее увидеть. Большие темные глаза девушки, когда на ней было это платье, казались бездонными. Вспомнив поездку в колхоз, Горбушин весело подумал: «Подождите, Рип, вы не победили меня в грузовичке. Мы еще прикурим от солнца!..»

— В романе Алексея Толстого «Петр Первый», — слышал он ее слова, — есть любопытный эпизод. Император отхлестал Меншикова по лицу за гнилые шинели для солдат. А Меншиков не виноват... Наказать следовало сгноивших хлопок, потому что грубый материал для шинелей не просто взял да отчего-то и сгнил: хлопок был влажный, согрелся в своей массе и сопрел, и не спасла шинели даже та часть шерсти, которая всегда есть в шинелях. Что я хочу сказать?

— Догадываюсь, тысяча и одна ночь! Хлопок согревался и при Петре Первом!

— Он согревается уже тысячелетия.

— И до сих пор его пускают в дело... Ага, я знаю, что из прелого хлопка выделывают! Например, шнурки для ботинок... Верно? Дрянь ужасная... Натянешь два-три раза — и тресь пополам...

— А то и рубашку хлопчатобумажную иногда купите, а через месяц из нее локти вылезают... А с виду такая красивая, в клеточку... А ведь рубашка не четыре копейки стоит, как шнурки...

— Дрянь и за копейку продавать не следует!

— Вы бы знали, как ругаются ватерщицы и ткачихи на фабриках, когда к ним попадает некачественный хлопок. Рекламации присылают очень резкие, спрашивают, почему часто обрывается нить. Люди во всем мире пока еще не научились полностью сохранять хлопок от согревания, но раньше всех научимся мы, и советской науке будет принадлежать здесь первое слово.

— Почему вы так думаете?

— Для этого у нас многое делается.

Женщины принесли на блюдах плов. Это после всех-то других многочисленных блюд! Но таков праздничный ритуал: плов в застолье подается последним.

За столом продолжали оживленно разговаривать. Кто-то что-то утверждал, кто-то что-то оспаривал, кто-то смеялся, кто-то почти бранился. Застолье!

Теперь Горбушин прислушивался к словам Рахимбаева, который, отвечая Гаясу, рассказывал, как проходила в Узбекистане гражданская война.

В дни гражданской войны Англия и Турция рвались к Советскому Востоку, разумеется скрытно, стремясь сделать его своей колонией. Их разведчики, но прежде всего разведчики английские — тень самого Локкарта лежала на Средней Азии,— в тесной связи с дипломатами своих стран делали все от них зависящее, чтобы оторвать от России Туркестан. Англия, правда, не впервые стремилась этого добиться, еще во второй половине прошлого века она развила воистину лихорадочную деятельность, однако безрезультатно.

В гражданскую войну многие отряды басмачей — а в иных насчитывалось до тысячи сабель! — были в английском обмундировании, с английским оружием в руках. И на деньги не скупились британцы. Взамен требовали от басмачей одного: решительных боевых выступлений против Советской власти. Они вносили коррективы в их военные планы, требовали уничтожения местных отрядов самообороны, первых ячеек Октября в Туркестане.

От английских шпионов не отставали турецкие, стремившиеся бурные события в Туркестане повернуть на

пользу Турции. Басмачи охотнее верили агентам младотурков, а не англичан, эти их симпатии объяснялись единой у тех и других мусульманской религией; турки так же считали: нет бога, кроме аллаха, и Магомет пророк его. И точно так же, как народы Туркестана до революции, свершали пять намазов в день. Бамдад намаз — перед рассветом, аср намаз — перед закатом солнца, а днем еще три намаза...

— Вот почему баи и священнослужители, командовавшие басмачами, — медленно, глуховатым голосом говорил Нариман Абдулахатович, — готовы были продать свои народы Турции, а не Англии, не отказываясь, однако, от ее щедрой помощи. Сплавив воедино религиозное и национальное изуверство с классовой ненавистью, басмачи с неслыханной жестокостью расправлялись с нами, своими соотечественниками, первыми защитниками Советской власти, да и первыми пропагандистами ее в нашем народе, и яростно кидались на части Красной Армии. Много погибло и русских крестьян, поселившихся в Туркестане еще за десятилетия до Октябрьской революции. Население большой русской деревни Спасское басмачи вырезали все, от стариков до младенцев, дома сожгли... Страшно было смотреть...

Шакир присмирел, слушая старика.

59

Мурат включил проигрыватель, начались танцы. Он первым вышел на круг с Муасам, и не один из гостей, видя их улыбки, подумал, что свадьбы не миновать (действительно, перед Новым годом у молодых людей была свадьба). Горбушин пригласил Ольгу Матвеевну Ким, Григорий Иванович подхватил всегда смущающуюся Жилар. Танцевали кое-как, но топали что надо. Мурат едва успевал менять пластинки.

Партнерша Горбушина танцевала легко и все время немного кокетничала с ним. Они довольно долго танцевали только друг с другом.

Возвращаясь к столу, Горбушин услышал слова Рип, сказанные с явным раздражением:

— Пригласите меня, бригадир!

— С удовольствием, Рип... — остановился он и сел на диван рядом с девушкой.

— Даже с удовольствием? А я было подумала, что сегодня для вас не существую.

— В таком случае вы сегодня непохожи на себя.

— Ну, вы говорите неправду, и, очевидно, уже по привычке.

— Конечно, неправду! Специалистка по этому сложному вопросу ваша ташкентская подруга, с которой вы упорно отказываетесь меня познакомить. Сейчас она наверняка согласилась бы со мной, что правду говорю я, а вы даже не краснеете.

— Серьезно?.. — ярко улыбнулась Рип.

— Судите сами, похожи ли вы сегодня на себя. Ваше главное качество — агрессивность... Вы непобедимы, потому что всегда агрессивны.

— Прекрасный комплимент для девушки...

— Комплимент я еще только собираюсь вам сделать. Несколько ночей назад я увидел вас во сне вот в этом платье. Знаете, как оно сверкало? Я даже смутно различал ваше лицо.

— Но это комплимент моему платью, а не мне!

— А кто был в платье?

— Ужасно какое серьезное открытие...

— Пользуясь вашим хорошим настроением, Рип, хочу спросить... Когда вы перестанете сердиться на Горбушина?

— Меня в агрессивности обвиняете, а сами? Успокойтесь, нисколько я на вас не сержусь, да вы и не стоите того, чтобы на вас долго сердиться. Скажите мне лучше вот что... Я слышала, вы собираетесь в Пскент. Вы поедете туда первого декабря?

— Да, по окончании здешнего монтажа. В Пскенте тоже строится хлопкозавод, установим там одну машину.

— И сколько времени вы будете там работать?

— Один месяц. Второго января — алейкум ассалам, Средняя Азия...

— В Ленинград?

— Предполагается — в Баку. За нас думает наше начальство. А мы с Шакиром — вечные странники.

— Скажите, пожалуйста, вот что... Вы хорошо знаете Ленинград?

— Там я родился и вырос.

— Улицу Белинского знаете?

— Да, конечно...

— Где она расположена? И вообще... Хорошая улица, большая?

Горбушину показалось, что Рип утратила уверенность, заговорив о Ленинграде, и он внимательно посмотрел ей в лицо.

— Во-первых, она расположена в самом центре города. Во-вторых, улица небольшая.

— Красивая, нет?

— У нас все улицы красивые. У вас там знакомые?

— Есть... — Рип явно смутилась. Горбушин помолчал, ожидая дальнейшего, и девушка продолжала уже иным тоном: — Я родилась в Пскенте, и завод, о котором вы говорите, находится вблизи нашего дома. Отец все ждет, скоро ли его построят, и часто ходит его смотреть. Впрочем, теперь уже не ходит. Две недели назад он перевелся туда работать. Он джинщик.

— А что это такое? Какая у него работа?

— На станке «джин». Станок многочисленными иглами расчесывает хлопок, превращая его в волокно.

Горбушин задумался. Его заинтересовали слова Рип о Ленинграде и то, что она смутилась, а затем поспешно перевела разговор на прежнюю тему. Не означает ли это, что ему не следует расспрашивать ее о Ленинграде? Да, он не хотел ошибиться, зная, что никакой ошибки Рип ему не простит. Да, ему приятно было услышать, что она из Пскента. Но обещает ли ему это совпадение встречу с девушкой и там, в ее городишке? Сейчас он выяснит, как туда проехать. Ведь ноябрьские праздники не за горами.

— Рип, мне очень важно знать, построен завод в Пскенте или только еще строится.

— Два месяца назад он строился, а что там теперь, я не знаю. Во всяком случае, — она улыбнулась, — мне кажется, там девушка не расплачется и вам не придется показать себя в роли ее спасителя.

— О чем нельзя не пожалеть... Я люблю спасать девушек, особенно таких большеглазых, как вы.

Рип встревоженно посмотрела на сидящего рядом Гаяса, но в эту минуту завертелась новая пластинка. Рип и Горбушин поднялись, вышли на круг. Они кружились, его ладонь лежала у нее на талии, а глаза были близко от ее лица.

— Сегодня у вас такое же хорошее настроение, Рип, как тогда, когда мы шли со станции, и я с удовольствием вспоминаю об этом.

— Завтра оно будет другим.

— Это предупреждение? — засмеялся он.

— И очень хорошо, что вы меня правильно понимаете, — как будто нехотя прибавила она.

Лишь музыка умолкла, они вернулись к дивану, сели, и Горбушин с веселой улыбкой признался: всякий разговор с ней ему представляется таким образом, будто они ловят друг друга, а поймав, стараются получше отхлестать. Так что же это, если не желание понравиться друг другу?

— Я такого желания не испытываю! — поспешила возразить Рип.

— Ну и ладно... Меня очень интересует Пскент. Скажите, пожалуйста, это кишлак, поселок или город?

— Городом называют из уважения к его сединам. Это кишлак, возникший за триста лет до появления в этих краях Александра Македонского. Пскенту две с половиной тысячи лет. Он такой же вечный, как Рим.

— Информация полнейшая... Благодарю вас. И вам известно, кто там жил раньше?

— В точности не знаю. Мой отец приехал сюда из Армении в годы революции, купил у старой узбечки дом. Он может о Пскенте рассказать подробнее, чем я.

— Скажите, как туда удобнее проехать?

— Железной дороги в Пскент нет. Поездом вы доедете до Ташкента, затем на автобусе еще пятьдесят километров.

— Я получил из Ленинграда указание побывать в Пскенте на ноябрьские праздники, обследовать тамошнюю ДЭС, прежде чем явиться туда с инструментом.

Рип, немного помедлив, сказала:

— Я тоже туда поеду на праздники. Могу быть вашим проводником, если хотите.

Горбушин позабыл, что они ловят друг друга.

— Это замечательно!

— Остановиться вы можете у нас, дом большой,— уже равнодушно предложила она.

— Ну что вы, беспокоить вас... О моем ночлеге обязан позаботиться хлопкозавод.

— Но если он еще строится... Впрочем, как хотите. Беспокойства вы нам не причините, а свежие простыни для гостя найдутся в каждой армянской семье.

Горбушин опять на минутку задумался, боясь допустить ошибку. Что ему подсказывало не давать согласия вот так сразу?..

— Может быть, вы и вечный кишлак мне покажете? — осторожно спросил он.

— Весь Пскент — не обещаю... Он достаточно обширный. А на древний базар, который по праздникам собирается очень большой, я вас, пожалуй, свожу, люблю и сама смотреть его. Седьмого в городе все закрыто, восьмого — базар. Приезжают люди из самых дальних кишлаков...

60

Шакир пытался разбудить Горбушина, а тот что-то бормотал, переворачиваясь с боку на бок, никак не мог проснуться.

— Пожар? Где пожар?..

— Очумел от пожара! Если хлопок будет гореть часто, мы без штанов окажемся. Дождь идет, кончай спать!

Крепок первый сон... Они работали уже по восемь часов, но все равно тяжело уставали. Горбушин гнал работу, решив закончить монтаж на два-три дня раньше срока. Глазеть по сторонам, болтать, часто курить никому не давал.

— Дождь идет,— повторил Шакир. — Сейчас Джабаров был здесь, просил помочь закрыть брезентами бунты.

Стало слышно, как забегали в соседней комнате Рип и Муасам, мягко шлепая по земляному полу голыми пятками.

Окончательно друзья проснулись, лишь когда пробегали мимо освещенных окон Джабарова. Они увидели Марью Илларионовну, спешно повязывающую голову платком.

Дождь шел не крупный, не частый: дождичек, не дождь, однако и такой в дни массовой уборки причиняет много хлопот людям. Они пугались при мысли, что хлопок здесь, уже на заводском дворе, может быть замочен дождем. Едва первые капли опустились на землю, сторож у ворот разбудил Джабарова телефонным звонком. И директор, полуодетый, стал звонить, вызывая на завод тех, у кого был домашний телефон.

У бунтов шеф-монтеры увидели Джабарова, Ташкулова, Кима. Подбежал Дженбек с непокрытой головой, на ходу застегивая рубашку, за ним тенью неслась Жилар.

В кладовой каждую скатку брезента, длинную и тяжелую, с трудом поднимали два человека, несли медленно. Марья Илларионовна запретила Джабарову носить брезенты, она сама отправилась в кладовую. Шакир сострил:

— Эта физкультура не для женщин!

— Садись на брезент, землячок, я и тебя подниму вместе с ним! — ответила она.

Женщины дружно помогали мужчинам, ловко раскатывая брезенты на бунтах — не впервые приходилось это делать. Марья Илларионовна смеясь закричала:

— Ой, девоньки, помогите! Я упала и утопла. Не могу встать, не за что ухватиться.

Дождь скоро прекратился. Утром рабочие сняли с бунтов мокрые, паривишие на солнце брезенты, сбросили сверху незначительный слой намоченного хлопка и тут же около бунтов раскидали его на просушку.

61

Небольшой дождь оказался причиной большого конфликта.

Утром к воротам завода подкатили два трехколесных трактора, каждый притащил две нагруженные хлопком тележки. Хлопок оказался сырым, весовщик Махкам не принял его. Возчики начали возражать, доказывая, что везти его на завод распорядились раис колхоза и член бюро райкома партии, директор школы Карпо Брыкса.

Махкам по телефону вызвал Рип. Та пришла, осмотрела тележки, подтвердила решение приемщика и прибавила в назидание возчикам, чтобы впредь сырой хлопок на завод не привозили. Возможно, колхозники послушались бы ее, повернули бы тракторы и уехали, но тут их стал бранить горячий Махкам, самолюбие которого было уязвлено: не поверили ему, вызвали начальницу.

— Умные нашлись! — воскликнул он. — Во всех колхозах сейчас сушат пахту, ни одной тележки у ворот. А вы мокрую привезли, на дураков рассчитываете?

В конце концов возчики обиделись. Чего парень разорался? Они-то при чем? Им велено. Брани раиса и Брыксу. И они пошли в райком партии, надеясь встретить там товарища Брыксу, выяснить недоразумение, оправдаться перед начальницей, натянуть нос Махкаму, обидевшему их. Брыксы, однако, в райкоме не оказалось,

он еще ездил по полям, их принял секретарь Айтматов, он только что вернулся из колхозов. Настроение у Дилдабая Орунбаевича было плохим уже который день. Управляющий хлопкозаготовительным трестом сообщил ему по телефону из Ташкента, что Голодная степь в социалистическом соревновании занимает лишь третье место, так не окажется ли она причиной того, что и вся Сыр-Дарьинская область проиграет соревнование другим областям?

Айтматов сообщил об этом Бекбулатову и, заручившись его поддержкой, созвал в райкоме партийный актив. Он предложил во что бы то ни стало вырваться вперед, требовать от хозяйств наилучшей работы, весь снятый машинами и людьми хлопок ежедневно сдавать заводам до последнего грамма. И вдруг пошел этот дождь над Голодной степью, именно здесь, а не где-то еще.

Слушая претензию колхозников, секретарь вспомнил свой колкий разговор о начальнице ОТК с Джабаровым и Кимом, и ему стало очень неприятно. Возможно, она в какой-то степени права теперь, но принять хлопок тем не менее должна была, если интересы района для нее не безразличны. Но в том-то и дело, что у нее бумажная душа. Он рекомендовал перевести ее на другую должность, администраторы не согласились с секретарем райкома. Тем хуже для них!

Он решил проучить Джабарова и Кима. Это не доставляло ему, давно уставшему от работы, удовольствия, но он привык служебные обязанности выполнять прежде всего, это был его давний и надежный метод, не изменит он ему и теперь. Он попросил технического секретаря вызвать в райком начальницу ОТК на новом заводе, пожелав лично убедиться в ее упрямстве и неумении работать, а потом взяться и за администраторов.

Рип спокойно отнеслась к вызову. Насовав в карманы хлопка из тележек и мельком поправив перед зеркалом прическу, она поспешила в райком. Когда Рип вошла, Дилдабай Орунбаевич читал сводки о ходе уборочной, на приветствие вошедшей только кивнул.

— Объясните, товарищ Гулян, — но прежде сядьте, в ногах правды нет,— почему вы не приняли четыре тележки?

Рип опустилась на стул и сказала, что пахта была влажной. Горячий солнечный свет ударил ей в лицо,

заставив поморщиться, она хотела переставить стул, чтобы сидеть спиной к окну, но, заметив, что секретарь смотрит на нее внимательно и недоверчиво, не решилась на это. Еще подумает, будто она прячет от него лицо!

Но Айтматова в эти секунды занимала не проблема хлопка; в их прошлую встречу в здании ДЭС он не обратил внимания на ее лицо, теперь же Рип слегка его удивила. Перед ним сидела красивая молодая женщина, и это несколько его разоружило.

— Не думаю, чтобы пахта была такой уж влажной, если ее отправил на завод сам раис, да и представитель райкома одобрил это решение,— мягко сказал Айтматов. — Разумеется, не мог не видеть и бригадир эту пахту... Так разве все трое меньше нас с вами разбираются в том, что такое влажная пахта?

— Работники ОТК руководствуются инструкцией, товарищ секретарь, а в ней не сказано, что по рекомендации руководителей хозяйств и работников райкома можно принимать некачественный хлопок.

— А я вас как-то просил руководствоваться не только бумажками и пробоотборочными банками, но еще помнить, что ваша работа и политическая.

— Да, я помню. Но инструкция у нас всесоюзного значения, игнорировать ее мы не можем.

— Зачем игнорировать? Но и смотреть на жизнь, всегда очень сложную, через бумажку тоже не годится, поверьте... Тем более, что сейчас идет всенародная страда.

Уже испытывая беспокойство, Рип снова возразила:

— ОТК ни с кем не соревнуется. И не может соревноваться в силу своей специфической работы.

Айтматов поморщился. Не привык, чтобы ему долго возражали. Он отдал дань вежливости интересной девушке, а ей пора вспомнить, где она находится и с кем разговаривает.

— Я просил вас быть патриоткой своего района, если вспомните... А это значит — хорошо, очень хорошо работать.

— Простите, товарищ Айтматов, моя служба обязывает меня прежде всего помнить об этом. На совещании у директора перед началом приемки урожая, где присутствовал и член бюро райкома Нариман Абдулахатович Рахимбаев, нас, работников ОТК, предупредили: если не будем строго руководствоваться инструкцией, нас уволят с работы и даже, может быть, отдадут под суд. По за-

ключениям ОТК товаросдатчикам выплачиваются миллионы рублей.

Уже теряя терпение и не желая вовсе его потерять, Айтматов закурил и помолчал. Эта девушка, пожалуй, нравится ему, но почему она думает, что больше его заботится об интересах государства?

— У вас интересно получается, товарищ... Все за качество... Дирекция, вы со своим штатом, трест в Ташкенте... А вот райком партии против качества... Ай-яй... Ну скажите, пожалуйста, а кто от райкома партии требует быстрой уборки урожая и ежедневной его максимальной сдачи на хлопкозаводы — не область, не республика, не Москва?

— Я не могу делать такие широкие обобщения. Моя задача куда скромнее. Четыре тележки, которые стоят сейчас у ворот, я ни от кого не приму, даже если будет рекомендовать управление трестом,— внешне спокойно продолжала Рип.

— Напрасно, напрасно... Игнорируете мнение двух человек — орденоносца-раиса и старого коммуниста, члена бюро райкома. Но, допустим, они ошиблись... Все равно вам и в этом случае надо было принять хлопок, приказать свалить его где-нибудь отдельно и на досуге разобраться... Ну вот и ступайте, пожалуйста, сделайте так... Конечно, если мое мнение что-нибудь для вас значит.

Однако Рип не спешила подняться. У нее порозовели щеки. Она молча прикидывала, как ей держаться дальше.

Но Айтматов решил, что ее упорство наконец-то сломлено. Он продолжал с мягким укором в голосе:

— Давайте еще раз вспомним о соревновании... Что оно собою представляет? Хорошую работу. Я вам говорю элементарные вещи, потому что не уверен, достаточно ли хорошо вы, по своей молодости, знаете это. А вот как лично вы справляетесь со своей работой? Колхозники второй раз приходят сюда жаловаться на вас. Утверждают, что принимаете от них пахту по заниженной сортности и что, если это будет продолжаться, они повезут ее на старый завод, куда сдавали раньше. Не скрою, товарищ Гулян, я предложил вашей администрации перевести вас на другую работу, не столь ответственную, а сейчас убеждаюсь, как я был прав. — Айтматов встал, медленно отошел к раскрытому окну. Поднялась и Рип. — Так ступайте же и в наказание этим возчикам,

что привезли недостаточно сухой хлопок, велите принять его вторым сортом. Я вам разрешаю это.

— Не имею права взять его вторым сортом, потому что это замечательный товар, высший сорт. Только пусть его прежде хорошо высушат, потом привезут нам.

— Вторично они привезут вам другую пахту...— хрипло сказал Айтматов, повернувшись от окна.— Мы не можем позволить своему скудному транспорту по нескольку раз возить один и тот же товар, это в такие-то напряженные дни и часы! Я не обязан вам докладывать, но скажу... Район в сводке республики значится на третьем месте в соревновании. Позор для Голодной степи... И в такие дни четыре тележки...

— Это большой вес, я вас понимаю. Особенно если учесть, что пахта сырая. Но что же нам делать, скажите? Идти на служебное преступление?

— Не утрируйте! — закричал Айтматов — Прикажите свалить тележки не в бунт, а где-то в стороне, и рабочие завода пусть высушат этот хлопок!

— Приказывать заводским рабочим сушить колхозный хлопок могут директор, главный инженер, а не я!

Лицо у Айтматова перекосилось от гнева:

— Достаточно, товарищ Гулян, что это говорю вам я. А вы мое указание передайте Джабарову. До свиданья!

Рип достала из кармана хлопок:

— Вы хоть посмотрите, пожалуйста... Из него едва не льется вода! Как мог товарищ Брыкса отправить такой хлопок?

Айтматов большими шагами подошел к ней, не взял, а вырвал из ее рук хлопок, поднял его на уровень груди и сдавил ладонями.

— Не льется вода! Нет воды! Кому вы морочите здесь голову?!

Рип испугалась:

— Но вы его сжали в лепешку...

— И лепешки нет! Где лепешка?

— Пусть Джабаров уволит меня с завода, но я и от него не приму таких лепешек!..— воскликнула Рип.

— Я приказываю вам!

— А приказывать мне может директор Джабаров, не вы...

— Я вас научу,— уже захрипел в ярости Айтматов,— как игнорировать указание райкома партии!

— Но райком партии это еще не вы, вы только его секретарь!

Рип быстро вышла, не закрыв за собой дверь. Вслед ей неслось:

— Я вас выгоню с завода! Выгоню из Голодной степи!

Рип примчалась на завод, хлопнулась на свое место за столом и расплакалась, испугав обступивших ее сотрудниц.

62

Махкам не без основания волновался, поджидая возвращения начальницы из райкома. Пришедшие оттуда колхозники с видом победителей играли в карты у ворот, спрятавшись от солнца на теневой стороне. Они ждали, когда ворота раскроются навстречу их тракторам и тележкам, лениво дразнили Махкама:

— Все равно, парень, примешь нашу пахту! Сам товарищ Айтматов сказал!

Махкам места не находил, выслушивая эти насмешки, но в полемику с ними больше не вступал, чтобы опять не отправились в райком с жалобой.

Заметив, как быстро прошла в лабораторию Гулян, он запер ворота на ключ и побежал в ОТК, а увидев девушку плачущей, кинулся в контору к директору. Джабаров, выслушав его, поднялся из-за стола медленно, словно на ногах у него повисли гири. Он сразу понял, что его давний конфликт с Айтматовым зашел в тупик, теперь наступает решающая фаза.

И понял он также, что должен немедленно проситься на прием к Бекбулатову. Он позвонил в райком. Там сказали, что первый секретарь уехал утром в обком на совещание по вопросам уборочной, вернется с вечерним поездом. Джабаров, подосадовав, отправился на ДЭС к Рахимбаеву.

— ЧП, Нариман-ака!

— Слушаю,— сказал парторг, не отводя взгляда от зажатой в тисках детали. Но в следующее мгновение он взглянул на Горбушина, напомнив ему, что пора бы сделать перекур, время подошло. Горбушин согласился. Привилегией курить на территории завода теперь, после пожара, пользовались только сборщики в специально отведенном для них месте. Строжайшее указание директора и Рахимбаева не приближаться

к воротам с дымящейся папиросой здесь честно, со всей осторожностью соблюдалось каждым.

Джабаров стал рассказывать о случившемся. У Наримана Абдулахатовича сузились глаза, с таким вниманием он слушал. Гаяс с горьким смехом подхватил:

— Это что, знаете! Вот в прошлом году произошло в Карши на хлопкозаводе... Заведующий ОТК железно требовал ГОСТа, ни на шаг от ГОСТа, так нашлись сдатчики, устроили ему веселый сабантуй. Они задрались у весовой будки, разбили друг другу носы в кровь, а когда вышел заведующий и попросил прекратить дебош, кто-то из них подставил ему ногу, второй толкнул его, он упал... И давай его возить кулаками, но осторожно, больше для показа, что и он дерется. А на суде единодушно заявили, что заведующий напал на них, разбил им лица, акт и протокол, составленные в милиции, это подтверждают... И железный заведующий схватил пять лет тюрьмы за злостное хулиганство при исполнении служебных обязанностей. Новый же заведующий, говорят, товарищ куда более спокойный, нервы не портит ни себе, ни сдатчикам...

Джабаров принес хлопок, с которым Рип ходила в райком. Рахимбаев внимательно рассмотрел его, потом взял Гаяс.

— Сырой на вид и на руку,— сказал Рахимбаев, и грустным сделалось его лицо.— Очередной перегиб на хлопкозаготовках... Когда приезжает Бекбулатов?

— С десятичасовым. Позвоним ему в половине одиннадцатого. ЧП есть ЧП, откладывать не надо.

— А мне кажется,— заговорил Гаяс,— беспокоить его так поздно не нужно. Давайте встретим на станции, переговорить недолго. А что? Всем вместе, дело серьезное! Кима, Нурзалиева и Ташкулова возьмите, меня тоже...— Как и всегда, веские, с достоинством произносимые слова убедили Джабарова и Рахимбаева.

— Много не будет?— взглянул парторг на директора.— Не покажется Джуре Каюмовичу, будто жаловаться коллективно пришли?— И сам себе ответил:— Не покажется. Ты прав, Гаяс. Я буду настаивать — вопрос о поступке Айтматова поставить на бюро. Да есть и еще что вспомнить... Я вспомню.

— Об этом случае я буду говорить у нас на партийном собрании,— решил Гаяс, кончая курить.— Гулян наша работница!

— О собрании после подумаем, давайте работать,— предложил, направляясь к тискам, Рахимбаев.

Горбушин слышал этот разговор. Он невольно задумался о Рип, вспомнив, как непреклонно она разговаривала с раисом и колхозницами на поле.

63

И вот вокзал. Едва поезд остановился и пассажиры вышли из вагона, Джабаров, Рахимбаев, Ким, Гаяс, Нурзалиев и Ташкулов подошли к Бекбулатову, встретившему их веселым восклицанием:

— Целая партгруппа! Куда это?!

Дальше отправился поезд, и разошлись пассажиры, а семеро мужчин стояли на перроне, чуть отойдя в сторону, дымя папиросами, никак не могли наговориться. Бекбулатову было неловко. В случившемся в райкоме партии он почувствовал и свою вину. Его отношения с Айтматовым никогда не строились на равных прежде всего потому, что Дилдабай Орунбаевич был старым руководителем, все новое в партийной работе не очень-то и хотел понимать. Учить же его, шестидесятилетнего, он, тридцативосьмилетний, не решался. Так оно и пошло. Айтматов говорил ему «ты», и часто с покровительственными нотками; Бекбулатов ему — «вы».

С вокзала он намеревался ехать домой, рабочий день кончился. Но поехал в райком, зная, что ранее полуночи Дилдабай Орунбаевич домой не уходит.

— Добрый вечер! — войдя в кабинет второго, сказал он.

— Джура Каюмович... Сейчас приехал?

— Только что. — Бекбулатов сел к столу, положил на него портфель, на портфель шляпу, провел ладонью по волосам, как бы снимая усталость. Он надел очки и стал казаться старше.

Беседу начал Айтматов:

— Ну, так хорошо нас поздравили за третье место?

— Хорошо... Возразить нечего было. Все отчитывались о ходе уборки и сдаче урожая, пришлось и мне. Много внимания, больше, чем обычно, уделялось борьбе

за качество уборки, за качество посевов и, разумеется, за максимальную сохранность хлопка.

— Эта тема возникла в прениях?

— Секретарь обкома поднял, и довольно резко. Заявил, что вопросам качества в хлопкопромышленности придается должное внимание только при посевах хлопчатника, а когда он вырастет, его тащат с поля как попало, лишь бы утащить. — Бекбулатов достал из портфеля записную книжку, раскрыл ее. — Вот данные за прошлый год, приведенные секретарем обкома, запишите, пожалуйста, Дилдабай Орунбаевич... Волокно, закупленное, как и всегда, по самым высоким ценам, из-за всяческих его недостатков, допущенных некачественной работой приемщиков, принесло государству убытков на один миллион сто пятьдесят тысяч рублей.

— Такие убытки ежегодно списывают все хлопкосеющие республики. Давай дальше.

— Вы бы все-таки записывали... Секретарь обкома просил нас записать эти данные... Запишите и вы, на днях будем говорить о них на бюро.

Айтматов достал из стола бумагу, карандаш, начал записывать. Бекбулатов курил, ожидая, когда он запишет.

— Дальше... Из всего хлопка, заготовленного в нашей республике в прошлом году первым сортом, переведено во второй сорт по разным недостаткам его и болезням восемнадцать целых и девять десятых процента... Считайте: без малого пятая часть переведена из первого сорта во второй, разумеется после того, как государство закупило его у нас первым сортом... Из второго сорта по тем же причинам переведено в третий сорт двадцать девять целых и четыре десятых процента... Записали? Иначе говоря, почти уже треть всего закупленного вторым сортом переведена в третий сорт... А из всего закупленного третьим сортом переведено в четвертый восемнадцать целых и семь десятых процента... И так далее... Продаем государству за один сорт, но он оказывается другим, более низким. Убытки, наносимые государству такой некачественной работой, исчисляются огромными суммами... Ваше мнение?

— А что оно изменит? — равнодушно спросил, поднимая от стола голову, Айтматов. — Я одно хорошо знаю, проработав в райкомах около двадцати лет: в

других наших республиках, не обладающих столь большими посевными площадями, как наши, узбекские, этих переводов хлопка из одного сорта в другой бывает еще больше, чем у нас. Эти переводы происходят, как ты знаешь, главным образом из-за согревания пахты, которая и во всем мире, вспомним кстати, согревается с тех пор, как человечество носит одежду из хлопка. Мы-то с тобой что можем сделать? Науку надо брать за бока, пусть она скорее подскажет практикам выход из тысячелетнего тупика!

Бекбулатов прервал его:

— Позвольте, я закончу... Серьезные цифры еще не все. Дальше... Хлопкопродукция, отправленная заводами Узбекистана с неправильными качественными показателями,— а тут уже природа ни при чем, это халатная работа людей,— составила в прошлом году шесть тысяч четыреста семьдесят две тонны. За что получены от текстильных фабрик из разных республик пятьсот семьдесят четыре вполне обоснованные резкие рекламации... Из них девяносто четыре — на хлопок, отгруженный Узбекистаном на экспорт, но экспортной комиссией на экспорт не допущенный.

Айтматов медленно записывал. Ни малейшей озабоченности не читалось на его тяжелом малоподвижном лице. А Бекбулатов поглядывал на него и спрашивал себя: отчего же так? Или трудности уже сломили пожилого человека? Нет, первый секретарь райкома не покривит совестью, если выскажет в обкоме свое мнение о том, что Дилдабаю Орунбаевичу пора уходить на заслуженный отдых.

— Я вас прервал,— сказал он. — Продолжайте, пожалуйста.

— Что, Джура Каюмович, всегда было главным в нашей работе? Вот эта борьба с согреванием хлопка, с его большой засоренностью при машинной уборке, с его вредителями? Нет... Побольше засеять Его Величества хлопка, получше вырастить его, побыстрее убрать... Вот первейшая задача хлопкоробов — вырастить лишнюю тонну, а каким сортом он будет принят на заводе, первым или третьим, не существенно. И первому и третьему сортам место в большом народном хозяйстве найдется. Важно, чтобы его получить больше, от этого великая польза советским людям, а не убыток, как подсчитывают иные умные головы... Надо же

додуматься! Сколько государство понесло убытков от того, что хлопка уродилось много? Ха! Если убытка от согревания пахты на миллионы рублей, значит, ее уродилось на миллиарды рублей; значит, собран великий урожай и золото из двадцати стран, куда идет на продажу наш советский хлопок, потечет к нам рекой... Конечно, с согреванием и другими недостатками надо бороться, здесь нет двух мнений, мы и боремся. Я тебе больше скажу: мы в Советском Союзе научились лучше бороться с согреванием пахты, чем это делают в некоторых других странах. А как эту борьбу сделать всесторонне успешной, пусть головы болят у наших ученых и куда более крупных партийных руководителей, чем мы с тобой, райкомовские работники.

— Да нет, Дилдабай Орунбаевич, мне трудно с вами согласиться. Мне кажется, что именно мы, непосредственно организующие посевы и уборку хлопчатника, должны ответственность нести в первую очередь, а не в последнюю, как у вас получается... Об этом и секретарь обкома говорил сегодня на совещании.

Бекбулатов задумался. Подняв голову, он устало посмотрел на потолок. Айтматов счел это добрым знаком.

— Может, займемся теперь нашими текущими делами, если ты не очень устал?

Бекбулатов промолчал, выражая согласие.

— Мне не дает покоя третье место, на которое мы сползли, имея хороший урожай. Конечно, я постараюсь положение выправить и выправлю его, положись на меня, но кое в чем ты должен меня поддержать.

— Пожалуйста... В чем же?

— Надо заняться перестановкой людей на двух заводах, в первую очередь на новом. Джабарова, с его рабочими мозолями, я больше терпеть не стану, как хочешь. Вместо него директором поставим заведующего ОТК Сулимовского завода. Далее... Заведующую ОТК на новом заводе, эту девицу Гулян, непременно снять... На ее место я подберу человека, будь спокоен. Мы не можем такой важный пост в системе заготовок отдать человеку, не имеющему практического опыта.

Бекбулатов снова закурил, вытянул ноги подальше, сдвинулся на край кресла, положив на его спинку голову, и так, дымя папиросой, посматривал на потолок, отдыхая в полное свое удовольствие.

— За что будем снимать Гулян? — спросил он.

— Она без практики, я же сказал, а отсюда и неумение работать, некачественная работа... Длинная очередь перед заводом, возчики простаивают часами, тогда как должны возить и возить. Хлопка много... Но главное, конечно, в другом. Колхоз «Рассвет» отказался сдавать хлопок новому заводу, раис говорит — мы радовались, когда завод открылся, а не пришлось бы плакать. ОТК слишком много хлопка берет вторым сортом!

— А это не его Гулян критиковала на полевом стане? Потом еще о нем была статья в «Сырь-Дарьинской правде» — «Первые канары с хлопком»? Кстати, сегодня секретарь обкома хвалил эту статью.

— Ну, Джура Каюмович, это же был безобразный случай... Заслуженного раиса, в хозяйстве которого ежегодно хорошие урожаи, орденоносца, обругали за несколько канаров хлопка!

— Критиковать никого не запрещается.

— В принципе... В принципе никого не запрещается... А что будет, если начнем шельмовать людей за мелкие недосмотры?

Бекбулатов продолжал курить и смотреть на потолок. Ответил нехотя:

— Шельмовать никого нельзя, а критиковать необходимо. Иного и в печати проработать мало, надо в тюрьму сажать... Какие еще недостатки вы находите в работе Гулян?

— Хлопок принимает заниженным сортом! — уже терял терпение Айтматов. — В прошлом году, да и не только в прошлом, хлопок сдавался у нас в основном первым сортом, а посмотри на сводку, какой процент первого сорта теперь?

— А не лучше ли принимать хлопок строго по государственным стандартам, чтобы впоследствии не переводить один сорт в другой, более низкий? Не отвлекать на это дело сотни людей, не тратить средства...

Лицо Айтматова стало наливаться краснотой, тяжелеть.

— Я предлагаю снять не одну Гулян, Джабарова тоже... Не эта очередь, пересекающая две улицы, не эта заниженная сортность создали славу Голодной степи, надеюсь, ты понимаешь... Извини меня за откровенность, но я должен сказать... Ты недавно работаешь

в райкоме и занят в основном освоением новых земель, да еще, кажется, и не научился проводить должную жесткую грань между работой в комсомоле и в райкоме партии. Я знаю цену многочисленным словам о качестве, которые ты сегодня слышал в обкоме партии. Если Джабаров и Гулян много хлопка возьмут вторым и третьим сортом, тогда тот же секретарь обкома устроит нам веселую жизнь... Перестанем спать спокойно, если вообще уцелеем на своих местах. И он будет прав безусловно. Потому что всей стране известно, что в Голодной степи культуры родятся крупно, высококачественно... А Джабаров и Гулян, что же, будут доказывать обратное? Я предвидел такой разговор с тобой, подобрал документы за несколько лет, вот они, взгляни....

— Какие документы?

— Что хлопок у нас родится прекрасный, сдавался всегда в основном первым сортом!

— Ну кто же против этого возражает, Дилдабай Орунбаевич! И правильно сдавался первым сортом. Советский тонковолокнистый — гордость отечественного хлопкосеяния. И республики правильно рапортуют Москве: урожай собран и сдан на хлопкозаводы в основном первым сортом... На что сегодня секретарь обкома обращал наше внимание? Мы еще не научились весь первый сорт до конца сохранять первым сортом, весь второй — вторым... Это наносит народному хозяйству громадный ущерб. Природа даром ничего не дает. Чтобы получить хороший урожай, сколько наши люди прольют пота под знойным солнцем? А убрав урожай, мы не всегда относимся к нему бережно, да еще раздражаемся, когда нам говорят, какие убытки мы терпим от переводов хлопка из одного качественного состояния в другое. Говорите, наше дело вырастить, убрать, а там пусть головы болят у ученых и куда более крупных руководителей, чем мы. Нет, мне трудно с вами согласиться, Дилдабай Орунбаевич... Если принять вашу точку зрения, мы будем в лучшем случае добросовестными исполнителями, а не хозяевами.

— Я понимаю...

— Может быть, мало — понимать?.. Когда сегодня говорили на совещании о большой засоренности хлопка при машинной уборке, о его влажности как основной беде, о хлопке, поврежденном совкой, паутинным

клещиком и другими вредителями, я с чувством удовлетворения подумал: вы, товарищи, только еще заостряете вопросы борьбы за качество, а у нас в Голодной степи уже сколотилась группа передовиков... Вы же, Дилдабай Орунбаевич, вместо того чтобы поддержать эту инициативную группу, помочь ей, предлагаете ее разогнать...

Айтматов от неожиданности даже поднялся. У него сделалось такое выражение лица, словно его оскорбили, но он еще не вполне этому верит. Сделав несколько шагов по кабинету, он остановился, и голос его прозвучал резко:

— Тогда, Джура Каюмович, если ты Джабарова и Гулян считаешь передовыми работниками, а меня отсталым, я, с твоего согласия, завтра отправляюсь в обком партии просить себе перевода в другой район.

— Ну зачем же так, Дилдабай Орунбаевич...— Бекбулатов выпрямился.— И потом... Я все жду, когда вы сами скажете, за что хотели выгнать Гулян и с завода и вообще из Голодной степи.

Айтматов коротко и вроде бы удовлетворенно хохотнул... Затем с живостью, не наблюдавшейся в нем минуту назад, вернулся к столу, решительно сел в кресло и посмотрел Бекбулатову в глаза:

— Джабаров слетал к тебе в обком?

— Нет... Шестеро коммунистов встретили меня сейчас на вокзале. Кстати, их я и считаю инициативной группой. Гулян же только ученица Джабарова, Кима и Рахимбаева. Вопрос о вашем отношении к начальнице ОТК Нариман-ака собирается поставить на бюро райкома.

— Я попугал ее немного. Ну, сорвалось с языка, так что?!

— За что попугали таким странным образом?— почти спокойно продолжал Бекбулатов.

— Чтобы не восстанавливала колхозников против государственного завода. Чтобы больше хлопка принимала первым сортом. Чтобы научилась уважать райком партии, если хочешь...

— Я получил другую информацию. Вы предлагали ей принять намоченный дождем хлопок, а она отказалась это сделать.

Желание спорить, защищаться и наступать прямо-таки обуревало Айтматова, он с трудом дослушал Бекбулатова, не отводя от него острого взгляда:

— Это последний пример ее безобразий! Вот это они тебе не сказали?.. Хлопок, о котором шла речь, на полевом стане осмотрели бригадир, раис и Брыкса, признали его годным к отправке и отправили. Трое! Я требовал от этой девчонки, чтобы она свалила его где-нибудь в отдельном месте, а рабочие завода высушили бы его. Так как она мне ответила? Что приказывать ей может директор, а не райком партии!

— Она же права, Дилдабай Орунбаевич,— удивился Бекбулатов.— Почему вы Джабарова об этом не попросили?

— Я вижу, с тобой сегодня трудно разговаривать... Ты придираешься к слову, вместо того чтобы во всем поддержать меня, свою правую руку. Райкомовский воз ведь тянем вместе... Два часа назад трактористы поволокли тележки обратно в колхоз вот здесь, перед окнами райкома партии. Это что, не игнорирование моих указаний? Какая-то девчонка... Осмелился бы на такое кто-нибудь три года назад...

— Дилдабай Орунбаевич, я снова не понимаю вас... Ну почему же она — девчонка? Она инженер хлопкопроизводства, закончившая институт с отличием... Наконец, у нее штат сотрудников и лаборатория, авторитетно сказать о качестве хлопка может только она, а не вы, не я, не Джабаров...

— А я тебя, Бекбулатов, не понимаю... Почему первый секретарь райкома кланяется ее образованности, вместо того чтобы отдать указание? Кроме умения обращаться с приборами нужен еще опыт, которого у нее нет. Она вчера из института, много ли понимает, скажи?

— Скажу, Дилдабай Орунбаевич... Скорее можно предположить, что это Карпо Брыкса, хороший директор школы, в хлопке ни черта не понимает, потому что только раз в году покатается по полям, поторапливая раисов и бригадиров убирать пахту, быстрее сдавать ее. А у Гулян серьезные знания,— куда от этого уйдешь?.. Диплом с отличием не выдают зря. За такого специалиста при нашем голодностепском безлюдье схватиться бы обеими руками, крепко держать, а мы

гоким... Помочь бы ей устроиться с бытом, а что мы видим? Она живет в доме директора, в одной комнате с его племянницей, в сущности в общежитии, но ни с какими претензиями к нам не обращается. — Айтматов хотел что-то возразить, Бекбулатов жестом остановил его. — Дальше... Что за люди, в своем большинстве, возглавляют ОТК на наших хлопкозаводах? Практики. И отчасти поэтому они стараются не очень-то показывать свой характер. Дорожат хорошим местом, не переходят дорогу ни колхозам, ни совхозам, ни райкомам и райисполкомам — пожалуйста, малейшее желание руководителя выполняется... И всем хорошо от такого упоительного единодушия, страдает только народный карман да покупатель мануфактуры... И всего этого, представьте себе, вполне может не допустить один человек — начальник отдела технического контроля на хлопкозаводе!

Айтматов почувствовал: поединок проигран... И сразу уверенность исчезла, сменилась чувством усталости и безразличия. Бекбулатов это понял...

Он достал из кармана горсть хлопка, из другого — мелко исписанную справку. Помолчав, продолжал заметно мягче:

— Ну посмотрите же, он совсем не дышит... Это та самая горсть, которая была в ваших руках. А это справка из лаборатории, подписанная двумя сотрудниками, с резолюцией Гулян возвратить тележки на досушку в колхоз... В ней сказано, что хлопок проверен влагомером и под микроскопом, влажность его неслыханно высокая. Если бы эти тележки свалить в бунт или в амбар, через месяц согрелась бы вся масса, находящаяся там. И это было бы уголовным преступлением.

— Я не предлагал свалить их в бунт или в амбар. Я просил высушить этот хлопок.

Бекбулатов поднялся, взял со стола шляпу и портфель.

— Это не выход... Один раз разреши — и мокрый хлопок потечет рекой. — Ну, а если соревнование, то выигрывать его таким путем и получать за это награды — не дело. Спокойной ночи, Дилдабай Орунбаевич.

Но вот и пришел конец авралу.

Ушли стекольщики, закрыв крышу узкими полосками стекла, отливающими синевой; ушли хохотушки Муасам, со всей девичьей старательностью выложившие пол серой метлахской плиткой в косую ленту: он казался накрытым серо-матовым превосходным ковром... Было светло и тихо. Стоял неподвижно мостовой подъемный кран, опустив вниз крюк, похожий на перевернутый вниз головою вопросительный знак.

В здании одни лишь сборщики обрабатывали теперь мелкие и мельчайшие детали: смазчики высокого давления, форсунки, картерные люки, глубинные клапана. Интересная у слесаря работа, почти каждый день новая.

Горбушин, работая, думал о Гулян. Случай в райкоме партии, о котором ему рассказали Рахимбаев и Джабаров, а вечером еще и Нурзалиев, новыми красками нарисовал Горбушину мужество девушки, цельность ее натуры.

Ему хотелось видеть ее, слышать чуть глуховатый голос, всмотреться в бездонные глаза, в которых ему всегда чудилась какая-то загадка; не поборов в себе этого желания, готовый направиться к воротам, он шепнул Шакиру, что идет в лабораторию.

— Я тоже! Интересно узнать о поединке из первоисточника!

— Не пойдешь,— твердо ответил Горбушин.

Надо было все время кому-то из них присматривать за работой Мурата и Акрама. Последний неделю назад едва не запорол маленькую хрупкую деталь, и это уже вторично. Хорошо, рядом был Рахимбаев, остановил руку слесаря.

Открыв дверь в лабораторию ОТК, Горбушин оказался в небольшой прихожей с ковриком у порога, с одним окном, наполовину закрытым марлевой занавеской. В комнате, более просторной, все светилось сверкающей белизной. Горбушин в темном комбинезоне, пропитанном пылью и масляными пятнами, оробел, боясь и шаг сделать от порога.

Три девушки в белоснежных халатах поначалу не обратили на него внимания, поэтому он быстро осмотрелся. Одна из них доставала хлопок из пробоотбороч-

ных банок и раскладывала его поперек широкого стола ровными грядами. Создавалось впечатление, будто маленькие волны бегут одна за другой и светятся. Вторая девушка сидела за столом, изучала накладные, каждое утро поступающие сюда из весовой будки Махкама. Рип стояла у стола-бюро, склонившись над микроскопом.

Душно, приторно пахло хлопком... Им забита вся эта просторная комната. Он на столах, в банках на полу, в стеклянных колбах на многочисленных настенных полках. Лаборатория напоминала аптеку.

— Здравствуйте!

Рип поспешно шагнула к нему:

— Сюда нельзя!

— Я и на пороге боюсь стоять... Здравствуйте!

— Здравствуйте!

Сотрудницы прекратили работу, смотрели на них.

Горбушин, понизив голос, предложил Рип выйти на минуту за дверь. Она молча сняла халат, повесила его на вешалку, и они вышли. Остановилась она тут же у двери, что Горбушину не понравилось.

— Вам, кажется, что-то нужно? — холодным, деловым тоном осведомилась она.

— Ничего особенного... Ваш конфликт с Айтматовым переживает вся наша бригада, вот я и зашел убедиться, что вы в хорошей форме.

— Несет пылью... Встанем спиной к воротам.

Они повернулись спиной к воротам, и Горбушин продолжал:

— Я вижу, вы из любых трудностей выйдете победительницей.

— Для комплиментов это не совсем походящая минута.

— Хотите сказать...

— Просто я не давала вам повода говорить со мной таким уверенным тоном.

Горбушин смущенно засмеялся:

— А я как раз страдаю от неуверенности... И довольно часто... — Он пробежал взглядом по своему загрязненному до предела комбинезону. — В тот вечер у Нурзалиевых мне показалось, что мы все-таки маленькие друзья.

Рип пресекла и эту его попытку говорить с нею дружески:

— Вечером у Нурзалиевых я сказала, что завтра все будет по-другому.

— Я не придал этому серьезного значения...

— Напрасно!

— Может быть, и напрасно... Может быть. А думать о вас иногда, Рип, вы позволите мне?

Пауза, возникающая в критические моменты разговора, нередко помогает человеку преодолеть смущение или раздражение, а бывает, усиливает их. Рип помолчала и перешла на еще более решительный тон, чтобы скорей закончить ненужный разговор:

— Моя ташкентская подруга, о которой вы уже столько раз напоминали мне, однажды заметила, что в ее жизни никогда не будет случайных мужчин, потому что она полюбит только такого человека, у которого никогда не было случайных женщин.

— Ну, более чем ясно, Рип... — с горечью и вдруг со злостью сказал Горбушин. — Умница ваша подруга, не могу не заметить этого еще и еще... Впрочем, она, кажется мне сейчас, только то и делает, что всех обвиняет, а сама чиста, как агнец божий... Поразительна, знаете, способность человека все прощать себе, а в другом порицать так много... Если бы эту способность да перевести какой-нибудь чудодейственной силой, скажем, в электроэнергию, тогда, пожалуй, каждый второй из нас смог бы на собственном электродвигателе слетать на Луну и благополучно вернуться на Землю.

Она невольно рассмеялась. Горбушин, однако, чувствуя себя незаслуженно обиженным, решил этого не заметить.

— Я к вам действительно по делу... Извините, что оторвал от работы. Значит, поездом до Ташкента, затем автобусом до самого Пскента, без пересадки?

— Без пересадки. С вокзала в Ташкенте можно на такси переехать на автовокзал, там купить билет и дождаться своего автобуса.

— Благодарю вас. До свиданья...

— Вы когда едете?

— Через неделю, шестого ноября.

— Я тоже еду шестого. Можем поехать вместе.

Горбушин молча склонил голову.

Отправиться в Пскент вдвоем с Рип Горбушину не удалось. За ним увязался Шакир, и никакие просьбы к другу остаться на хлопкозаводе Горбушину не помогли. Шакир решил, что древний узбекский базар, конечно, интереснейшее зрелище, а поэтому выразил желание увидеть его.

Вагон, когда они вошли в него все трое, был переполнен пассажирами: чувствовался канун праздника. Три часа езды до Ташкента они простояли в проходе, в полусумраке присматриваясь друг к другу, к лицам ближайших пассажиров: окна вагона были завешены толстыми зелеными шторами, чтобы не напекало солнце.

В Ташкенте взяли такси, с удовольствием после долгого стояния расселись в машине. По одной из улиц-аллей направились к центру города, а оттуда к шумному автовокзалу,— там каждые полчаса автобусы уходили во все глубинки республики: на Коканд, Андижан, Пскент, Маргелан, Фергану.

В широком новом здании автовокзала, построенном из бетона и стекла, да и на площади перед ним, куда подходят автобусы принять пассажиров, было исключительно пестро. Тут еще больше чувствовался канун праздника, нежели в поезде. Шеф-монтеры внимательно присматривались к публике.

Какого только разнообразия здесь не было! Европейские шляпы и бараньи шапки, надвинутые на глаза, тюбетейки и кепи, платки и шелковые полосатые платья всяческих расцветок — наиболее распространенная в Средней Азии одежда. В широких платьях не так жарко.

С билетами в руках Рип, Шакир и Горбушин вошли в автобус и заняли свои места, что далось им не просто. Машину завалили мешками, узлами, перегруженными снедью корзинами, авоськами. Но вот старый автобус наконец-то с натужным скрипом, свистом и громом стронулся с места и направился в Пскент.

Всякий большой город окружен поселками, как лес кустами. Ташкент еще в давние времена был разделен на два города — Старый и Новый, на европейскую и азиатскую части; огромный, он особенно далеко расползся и своими многочисленными пригородами. Автобус

катился мимо самых разных по возрасту и внешнему виду домов; мелькали косо вросшие в землю сиротливые домишки без оград, без какой-либо зелени около них, печально доживающие свое, и проносились новые и обихоженные, утопающие в садах и цветах дома.

Рип называла Шакиру поселки, объясняла их особые приметы, предлагала обратить внимание на хлопковое поле, на рисовое, на большой яблоневый сад, чаще обращалась к нему, а не к Горбушину, и Шакиру это нравилось, он победно поглядывал на друга. Но потом он спросил себя: почему она игнорирует Горбушина?.. Решив сейчас же втянуть и Никиту в беседу, он стал думать, как лучше это сделать.

А навстречу катились, зарываясь в пыли, грузовые и легковые автомашины, часто с деловитой неторопливостью вышагивал ишак, верблюд, мерно покачивая жирными осенними горбами, тащил наполненную то арбузами, то дынями арбу. И Шакир стал рассказывать о своей первой встрече с среднеазиатским верблюдом.

Они ехали по Казахстану. На какой-то станции неподалеку от покатых гор Уральского горного хребта пассажиры, утомленные долгой дорогой, вышли из вагонов подышать свежим воздухом; Шакир, Горбушин и Рудена — тоже. По перрону они брели медленно, приглядываясь к торговкам и их товару: жены и дочери казахов, все босые, с черными от пыли и загара ногами, почти все одинаково одетые — в шальварах, поверх шальвар широкая юбка из цветастой ткани, бархатная жилетка, на груди мониста,— продавали козлятину, кумыс, манты, арбузы, дыни.

Тут они и увидели верблюда. Он стоял поперек перрона, головой к вагонам, как пассажир, и любовался ими. Оказалось, однако, что глаза у него закрыты, и это удивило Рудену. «Надо же,— сказала она,— стоит и спит, а бока голые и аж блестят, как капот дизеля». — «Походила бы ты в оглоблях, и твои бы заблестели, как капот дизеля!» Шакир хлопнул двугорбого по шее, пыль посыпалась крупная, светлая, похожая на манную крупу, и двугорбый открыл глаза, до того мутные, будто глядели они из воды, в них мигнул свет далеких поколений, словно вместе с ним просыпалась вечность...

— Ну, вижу,— весело рассказывал Шакир,— потянул он в себя с храпом воздух, а я знаю, что это такое... Я — бегом от него и кричу: «Рудка, удирай, он сейчас плюнет! Бьет, как из противотанкового ружья! За неделю не отмоешься!» Никита мчится, даже меня перегнал, а Рудена побледнела и стоит, испугалась за свое шикарное платье!

— Ха! — с иронией сказала Рип. — В поезде была в шикарном платье?!

— Она три чемодана тряпок привезла.

— Ну, меня это не интересует...

— Потом Рудена рассказала: «Смотрит он на меня и что-то глотает, непрерывно подкатывающееся к горлу... «Верблюдик,— говорю,— это не я тебя ударила, не я, честное слово!..»

— И что же, он поверил ее честному слову?

— На сто процентов! Когда мы с Никитой вернулись, он уже не хрипел в ярости, только с презрением посмотрел на меня полузакрытыми глазами и стал катать жвачку, двигая челюстью слева направо, а губы большие, дряблые, и углы забиты ярко-зеленой пеной. Тут Никита начал декламировать, подняв руку: «В некотором царстве-государстве стоял на дороге вот такой двугорбый, готовый двинуться в путь, и на том верблюде высокий балдахин с золотыми кистями, и сидела под ним красивейшая из красивейших, а в некотором отдалении от нее стоял поэт, глядя на любимую, и вдруг воскликнул так громко, что его голос слышен и теперь, через тысячу лет: «О караванщик, не спеши! Уходит мир моей души!»

— Голос проникновенный, что и говорить,— признала Рип. — Кому же он принадлежал?

— Я стихами не увлекаюсь. Это по Никитиной части.

— Скажите вы, Никита...

— Давай, бригадир! — подхватил Шакир обрадованно: все-таки заставил Рип обратиться к Горбушину.

А тот, раздумывая, ответил не сразу:

— Назову поэта и буду читать дальше, но только на пари.

— Нет,— скучно сказала Рип. — На пари мы с вами однажды уже спорили.

Шакир опять подхватил, уже встревоженно — ведь вот-вот оборвется с таким трудом завязавшийся разговор:

— Американское пари — чего хочешь, то бери! Соглашайтесь, Рип! Вы услышите замечательное стихотворение, созданное на земле Туркестана десять веков назад. Никита упрям, без пари читать не станет, поверьте.

— У меня упрямства тоже достаточно,— улыбнулась девушка.

— Хватило бы на двоих,— подтвердил Горбушин.

Так они и не уступили друг другу.

Они подъезжали к Пскенту. Готовое нырнуть за горизонт, солнце смотрело сквозь синюю тучу, уже не сияющее и даже не сверкающее, а тускло-красное, похожее на рассеченный пополам чудо-арбуз, который лежал на столе у Дженбека в день его сорокалетия.

Остановка автобусов в Пскенте находилась рядом со строящимся хлопкозаводом. Шакир, выйдя из машины, узнал стройку.

— Привет! — поднял он руку.

По центральной улице направились в глубь городка. Ни двухэтажного дома, ни большого магазина они не увидели, что удивило Горбушина. За двадцать пять столетий существования Пскент не построил ни одного большого здания? Дорогу для транспорта отделял арычок, вода в нем намертво стояла, загрязненная бумажками и арбузными корками; неужели сюда двадцать с лишком веков тянулись иссушенные жарою руки, когда мираб, распоряжающийся водой, пускал ее в эту канавку?.. Перед этой улицей, перед этим арычком Горбушину захотелось снять шляпу.

Шакира интересовало другое. Он стал подсчитывать единицы живого и машинного транспорта, движущегося по дороге. Минут пятнадцать шли они по улице и за это время увидели девять ишаков, четыре верблюда, один велосипед и две полуторки. Значит, главная тягловая сила тут — ишаки. В этом Шакир убедился и спустя два дня на большом праздничном базаре.

Внезапно запахло горячим маслом и жареной бараниной, а минуту спустя друзья подошли к уличному торговцу беляшами.

— Ни шагу дальше,— скомандовал Шакир. — Ресторан открыт. Я утром заправлялся лепешкой с дыней, а с тех пор на зубах моих ничего не было.

— Может, дома поедим? — возразила Рип. — Вы не умрете еще несколько минут? Сейчас мы уже придем.

— Дома само собой, если ваши родные не испугаются посадить за стол двух боксеров среднего веса. Уртак, каждому по два горячих!

На обитом жестью табурете стояла жаровня, вкусно попахивая дымком, в казане с кипящим хлопковым маслом плавали беляши. На столе раскатанное тесто, в миске мясной фарш. Разговаривая с покупателем, человек схватывал левой рукой тесто, правой мясо, сворачивал беляш и смаху швырял его в казан, отчего брызги кипящего масла летели во все стороны, но прежде всего на одежду покупателя и белый фартук продавца, давно уже имеющий какой угодно цвет, только не белый.

— Пажалыста! — весело предложил Шакиру продавец, показав на горку готовых лежащих на блюде беляшей. — Горячие, совсем гор-рячие, уртак!

— Нет,— сказала Рип,— нам, пожалуйста, достаньте из казана, и достаточно будет по одному.

— Пожалыста, можно оттуда, все можно! — И беляши полетели в казан, заставив Рип быстро сделать шаг в сторону.

Ожидая, когда они зажарятся, Шакир взглядом показал продавцу на его фартук:

— Уртак, можно подумать, что ты не пироги печешь, а дизеля собираешь.

— Почему дизеля? Клянусь аллахом, это беляши! На, скушай, убедись в этом! — Он поймал шумовкой два беляша, прихватив каждый куском газеты, один подал Рип, другой Горбушину, потом достал для Шакира.

Воистину другим миром пахнуло на ленинградцев, когда они следом за Рип свернули на узкую боковую улицу с высокими стенами-дувалами слева и справа и пошли по ней, как по коридору, вдыхая острый запах глины и пыли. Они спускались вниз, в сторону высоких синеватых гор Кураминского горного хребта. Улица с частыми поворотами круто уходила вниз, и, казалось, пыли и запаха глины на ней становилось все больше. Петляя на этих поворотах и видя лишь дувалы, не

позволяюще рассмотреть дома за ними, Горбушин, надышавшийся улицей уже до одурения, вдруг спросил себя: а чем тут дышат в июльский и августовский полдень, если трудно сейчас, ноябрьским вечером?

— Город аллаха!— заявил Шакир.

— Здесь и до аллаха кому-то молились,— поправила его Рип. — Ведь исламу всего только тысяча с небольшим лет.

Навстречу ехал старик на ишаке, в халате и тюбетейке, держа перед собой мальчика лет трех, тоже в халате и тюбетейке. Два наполненных чем-то канара свисали по бокам животного, едва не касаясь земли. И все же ишак, так тяжко нагруженный, резво переставлял свои тонкие ноги, устремляясь вверх по улице. Он лишь низко опустил голову да от усилий пошевеливал ушами.

Шакир остановился, произнес приветствие:

— Салам алейкум, уртак!

Старик остановил ишака.

— Алейкум ассалам...

— Скажи, зачем уши у твоего ишака такие большие?

— Ума много, уртак!

— Тогда продай его мне.

— Денег не хватит, — засмеялся старик.

Скоро Рип свернула в еще более узкий переулок — тут и две встретившиеся подводы не разминулись бы, — прошла еще немного, остановилась перед калиткой из черных от времени досок, в которые словно стреляли дробью — так их источил короед, и подняла руку, чтобы постучать, но замешкалась, отвечая Горбушину на вопрос о том, этот ли дом купил ее отец у старой узбечки.

— Да, она продала его, когда осталась вдовой с двумя дочерьми. Говорят, девушки были очень милы. Выходя на улицу, закрывали лицо чимбетом — это частая сетка из конского волоса, а затем надевали паранджу — своеобразный мешок с длинными рукавами, сшитый из хорошей шерстяной ткани синего тона.

— Чимбет и паранджа, сколько красоты придавали они девушкам!.. — не удержался Шакир.

Рип щедро улыбнулась ему и продолжала:

— Щеки они натирали белилами из риса или яичной скорлупы, брови подводили усмой, ресницы — сурьмой.

— Моей бы Халиде такую механику! — хохотал Шакир.

— Много у них было всяких браслетов, бус и других украшений. Серьги носили с подвесками из серебряных и медных монет и цветного стекла, — случалось, подвески своей тяжестью прорывали девушкам ушные мочки. Чтобы этого не получалось, они поднимали подвески на голову, поверх волос, связывали их одну с другой.

Рип улыбалась Шакиру, потому что благодаря его болтовне ей легко было с Горбушиным. Она уже жалела, что на именинах Нурзалиева предложила бригадиру поехать в Пскент вместе с нею.

— В наше время девушки носят чимбет и паранджу? — спросил Горбушин.

— Девушки — нет. Некоторые старые женщины — да. На базаре вы увидите их.

— Чем занимается местная молодежь?

— Чем она занимается везде? Одни уезжают в города работать и учиться; другие идут в совхозы и колхозы, третьи — в местные учреждения. Таких, впрочем, мало. Пскент даже не районный центр.

Калитку открыла старая седоволосая женщина в темной одежде, маленького роста, смущенно что-то забормотавшая. Рип обняла ее, не дав договорить:

— Здравствуй, бабуля! И не говори по-своему, это наши гости.

Шакиру и Горбушину старушка ответила поклоном, и все направились по выложенной красным кирпичом дорожке к дому, окруженному фруктовыми деревьями.

В небольшой комнате стоял отец Рип, плотный человек с тяжелыми руками рабочего, красноватые, жилистые кисти вылезали из рукавов темного дешевого костюма. Рип подошла к нему, прижала голову к его груди, и они помолчали. Этот порыв нежности смутил Горбушина и Шакира.

— Мы ждали тебя к обеду! — сказал отец.

— Напрасно. Сегодня рабочий день. И за то спасибо, что отпустили пораньше. Познакомься, пожалуйста, папа: это шеф-монтеры из Ленинграда, они ставят три дизеля на моем хлопкозаводе, а потом приедут монтировать одну машину на твоем. Сейчас они приехали в Пскент выяснить, в каком положении здешняя ДЭС. Надеюсь, ты познакомишь их с обстановкой на заводе?

Они познакомились. Теватрос Георгиевич был рад. Оживилась и бабушка:

— А я бабушка Зина! — громко представилась она.

Хозяин предложил гостям умыться с дороги, они поблагодарили, прошли за ним на террасу, закрытую вьющимся виноградом, по белым каменным ступенькам спустились в небольшой садик с запущенным газоном, на нем цвели по-азиатски крупные белые и алые розы, астры, гвоздика и петушиные гребешки.

Двор и сад прорезал цементированный арычок, выходя из-под высокого глиняного дувала справа, удаляясь на соседний двор под такую же высокую глиняную стену слева. Над арычком стояла выгнутая в форме лебединой шеи железная трубка с краником, перед нею — стул, а рядом на камне лежала мыльница и зубной порошок в металлической коробке.

Папаша Гулян повернул краник, вода бесшумной струей, словно стеклянная, опустилась в арычок. Хозяин ушел в дом, а шеф-монтеры занялись туалетом. Они встряхнули от пыли одежду — пыли в Средней Азии везде с избытком, — потом Шакир уселся на стул, пошире раздвинув ноги, закрыл и открыл кран, проверяя его работоспособность, и стал умываться, склонившись. Горбушин стоял рядом, ожидая своей очереди. Вдруг он сказал:

— Слушай, болван, ты видишь эти горы?

— Тысяча и одна ночь... И правда, горы!

— Туда ходит автобус, я уже узнал... Попрошу Рип съездить со мной туда завтра, так ты не вяжись за нами. Понял, нет?

— Нет, не понял. Я решил тебе помогать, иначе не увидишь Рип как своих ушей.

— Серьезно?.. — встревожился Горбушин. — Ты думаешь, она не поедет? А как же тогда? Не объясняться же здесь, в ее доме?

— Поехать она может, но ты уверен в удаче? Нет. Я тоже не уверен.

— Что ты предлагаешь? И говори скорей, сюда может кто-нибудь выйти.

— Сват — великое дело... — отфыркивал воду Шакир.

— Такая помощь мне не нужна!

— Тогда пускай тебе помогает шайтан, а не я.

По ступенькам спускалась Рип, держа на вытянутых руках расшитое на концах красным шелком полотенце. Она услышала последние слова Шакира.

— В чем шайтан должен помочь?

— Мы заспорили, представьте себе... Он утверждает, что может днем увидеть звезды! Я не верю. Кто из нас прав?

— Если ваш друг обладает зрением орла... Пожалуй, может увидеть.

67

Теватрос Георгиевич Гулян медленно, торжественно встал из-за стола и помолчал.

— С наступающим праздником вас. Завтра исполнится тридцать семь лет, как свершилась Октябрьская революция, подарившая нам Советскую власть. Только при Советской власти простой человек стал хозяином своей судьбы и своей страны. Я юношей был в Петрограде в семнадцатом году, участвовал в первомайской демонстрации. Я смотрел, как рабочие Петрограда гордо несли красное знамя, на котором было написано: «Вся власть Советам!» А потом вернулся в Армению, в свое небольшое село около турецкой границы, и вы бы видели, как жадно, как много люди расспрашивали меня, что такое Советская власть, которую хотят завоевать большевики... Они шли в мой дом несколько дней!

Шакир ответил с редкой для него серьезностью, тоже поднявшись из-за стола с бокалом в руке:

— И мы от души приветствуем вас. Мы очень рады встретить праздник в вашей семье!

— И я всех поздравляю, у кого добрые чувства,— сказала бабушка Зина.

Она словно преобразилась, так откровенно радовалась гостям. По комнатам двигалась легко, на стол собирала без суеты, а теперь за столом то и дело просила молодых людей кушать не стесняясь — Шакир невольно вспомнил Жилар Нурзалиеву, она вот так же настойчиво угощала их, мило при этом смущаясь.

Рип была в зеленом шерстяном платье, расшитом на груди бисером, держалась нерешительно,— пока бабушка не предлагала ей обратить внимание на то или иное блюдо, она ни к чему не притрагивалась. Горбушин

решил: она ведет себя так потому, что не хочет сама угощать его... И ему сделалось неприятно.

Беседа текла оживленно. Теватрос Георгиевич спрашивал гостей, когда они закончат монтаж в Голодной степи и приедут в Пскент, долго ли станут работать здесь, полностью или частично разбирают машины и зачем же их разбирать, если они только что вышли из завода. Бабушка Зина интересовалась Ленинградом: люди хвалят этот город, а она его видела лишь на открытках, да ведь на открытках все кажется более красивым, чем есть в жизни. Так ли он хорош, город? Горбушин и Шакир отвечали ей очень охотно.

Они узнали от Теватроса Георгиевича, что станция готова, ждет их. Он тридцать лет проработал на хлопкозаводах джинщиком, последние десять из них приходилось ездить на работу на автобусе, а теперь он уже оформился на этот строящийся завод и пока работает разнорабочим по двору, ждет пуска производства.

Рип задорно улыбнулась Горбушину:

— Я говорила вам, Никита, что в Пскенте ваша работа не осложнится девичьими слезами и вам не придется показать себя в роли спасителя.

— О чем нельзя не пожалеть...

Он ждал, когда у хозяина иссякнет интерес к заводу и машинам, а у бабушки к Ленинграду, и, дождавшись этого, осторожно стал осуществлять свой план поездки в горы. Он никогда не видел близко гор, давно об этом мечтает. Интересно, дорога туда есть? На такси можно доехать?

Бабушка засмеялась:

— Какое вам такси... В Пскенте-то! Автобус завтра утром отправится на Фергану, а в полдень пойдет обратно. Съездите, это интересно, — посоветовала она. — На перевале сойдите и любуйтесь себе на здоровье.

— Шакир, поедем?

— Валяй один, мою душу очаровали дувалы заоблачной высотой и прекрасным ароматом глины. Крепостные стены, которым две тысячи лет. Гениальное творение по своей простоте и долголетию. А что твои горы?.. Завтра все дувалы обойду и обнюхаю, чтобы увезти с собой их божественный запах.

— Все не обойдете... — охотно заметила Рип.

Теватрос Георгиевич смотрел на Шакира.

— Да, я кое у кого узнавал, сколько лет дувалам в центре Пскента. Говорят, дувалы вечны... А что им сделается? Окостенели от солнца и стоят, ну, время от времени их, конечно, поправляют, подмазывают где надо...

Горбушин не дал уйти от нужной темы:

— Придется отправиться в горы одному. Ведь там заблудиться нельзя?

Рип пожала плечами:

— Смотря как далеко уйти от дороги... Там всюду лес. Поезжайте вдвоем, это лучше.

— Вы там бывали? — равнодушно спросил Никита.

— Много раз.

— Ну вот и проводите меня хотя бы до перевала, а дальше я пойду сам! — Он улыбнулся, как бы прося прощения за излишнюю смелость.

— Завтра мне нужно дома кое-что поделать, я ведь редко бываю здесь! — быстро и тоном извинения проговорила она.

Теватрос Георгиевич наполнил бокалы и решил вмешаться в их беседу:

— В праздники дома не работают.

Эти молодые люди ему нравились, он готов был помочь им. И бабушке Зине они показались простыми, что было высшей похвалой в ее устах; она взглянула на сына, потом на внучку, потом опять на сына и сказала примиряюще:

— Да, одному неловко ходить в горах. Я слышала, там есть провалы, над которыми и птицы не летают. А тебе что? Папа прав: кто в такой день работает?

— Нет там никаких провалов, все это сказки, — с легкой досадой произнесла Рип.

Шакир, сочтя вопрос о поездке Рип уже решенным, закричал смеясь:

— Не соглашайтесь, Рип, не соглашайтесь! Что может случиться с солдатом и слесарем? Рысь голову поцарапает? Так это голове на пользу!

— Проводи человека, сама тоже отдохнешь, — наступала бабушка.

К этому никто ничего не прибавил, а Шакир перевел разговор на другую тему:

— А где ваша жена, Теватрос Георгиевич?

Бабушка опустила голову, Теватрос Георгиевич отвел глаза, а в лице Рип появилось напряжение. Шакиру не ответили. Он понял, что задал неуместный вопрос...

Обругав мысленно свою простецкую развязность, которая не раз уже подводила его, он стал ждать помощи от Горбушина, а помощь внезапно оказала Рип. Она обратилась к отцу подчеркнуто безразличным голосом:

— Ну что ж, тогда придется съездить на перевал.

— Ты хоть благодаря гостям попадешь туда,— удовлетворенно заключила бабушка.

Шакиру хотелось как-то загладить свою вину. Он стал расспрашивать Теватроса Георгиевича, давно ли он живет в Узбекистане, и разговор потек дальше спокойно, неторопливо.

68

Рип и Горбушин сошли с автобуса на перевале. По каменистой, но все же отчетливо натоптанной дорожке стали подниматься вверх. Изумительный лес окружил их. Могучие дубы в полтора и два обхвата стояли рядом с высокими платанами, и тут же Горбушин заметил грецкий орех, широко раскинувший густые ветви с обильными, побуревшими от спелости плодами; между деревьями всюду виднелись нарядные кусты тамариска, кизила, боярышника, желтого и красного шиповника. Насыщенный крепким ароматом гор и леса, воздух был до такой степени легким, чуть синим и чистым, что казалось, человек может в нем раствориться и исчезнуть... Невозможно было насмотреться на чудо природы... Волшебная тишина, волшебная красота, волшебный воздух!

Красота может испугать. Она способна так мгновенно поразить воображение человека, что он будет стоять и смотреть, весь во власти чуда...

Перед Горбушиным внезапно открылись склоны двух гор, далеко уходящие вниз и в стороны, несущие на себе неистовое буйство желто-красного, ярко-зеленого, золотистого, синего и многих других цветов. Будто группа одного цвета шла в атаку на группу другого цвета, в каждой были верховые всадники-знаменосцы, увлекающие пехоту за собой. И подобных групп на склонах десятки!

Осматривалась и Рип, но далеко не с такой жадностью, как Горбушин, — пожалуй, ее больше интересовал он, а не горы. Его восхищение девушке нравилось.

— Постоим немного, — попросил он и достал папиросы, но вдруг сунул коробку обратно в карман: пока-

залось кощунством испортить дымом папиросы этот синий, изумительный воздух. — Вы не боитесь подняться еще?

— Чего же бояться?

— Ну, может быть, головокружения... Я должен извиниться перед вами, Рип. Вытащил вас сюда... Вы не собирались отдать это время кому-то другому?

— Если бы собиралась, так бы и сделала.

Они продолжали медленно подниматься и вскоре оказались на южной, залитой солнцем стороне, и тут Горбушину открылось еще одно чудо. Воздух разделялся на струи, они плыли, почти не соприкасаясь одна с другой, голубовато-розово-золотистые, а далеко внизу, представлялось, и вообще никакого воздуха не было...

— Посмотрите внимательно на это дерево, — предложила, останавливаясь, Рип. — Оно называется арча, древовидный можжевельник, и встретить его можно только в горах Средней Азии. В горах, а не в предгорьях, прошу заметить. Нигде в мире оно больше не растет.

— Не вижу ничего особенного. Будь оно пониже, был бы обыкновенный можжевеловый куст.

— Ах так? Тогда оторвите, пожалуйста, вот эту тонкую веточку!

Поняв, что веточка крепка, Горбушин рванул ее к себе изо всей силы, однако она не оторвалась. Он выбрал веточку подлиннее, намотал ее на кулак и рванул с маху, совершенно уверенный, что она отскочит. И согнулся от боли. Кулак опоясала красная полоса, а веточка спокойно покачивалась.

— И не пробуйте, — торжествовала Рип. — Когда-то нам учитель в школе говорил, что в развалинах города Мерв археологи нашли несколько статуэток, изображающих идолов, вырезанных из арчи еще до арабского нашествия на Среднюю Азию. Статуэткам около семнадцати веков, из них шесть они пролежали в земле. Но время не властно над ними. Никаких, даже мельчайших следов старения ученые не обнаружили. Правда, следует сказать, что земля, в которой они лежали, была очень сухая.

— Железная веточка, — согласился Горбушин, растирая больное место. — Нет, стальная!

По каменистой дорожке, спиралью уходящей вверх, они поднимались и поднимались. В зарослях тамариска

вспугнули очень большую птицу, взлетевшую с сильным треском и клекотом. Горбушин заметил крупный краснобелый глаз, а через минуту вспомнил нарисованную на сундуке птицу, и теперь она не показалась ему фантастической. Потом увидел ясноногую молодую березу с золотистой кроной, — она растет, следовательно, не только на сорокаградусном морозе, а и на сорокаградусной жаре.

Прошли под каменным выступом, угрожающе нависшим над дорожкой, спустились в большую впадину, из которой с трудом выбрались, подавая друг другу руку; на дне впадины не было ни травинки, лежали только белые, похожие на гипс, камни — под здешним солнцем выгорали и они.

Рип и Горбушин остановились на площадке, девушка сказала, что это предел ее возможностей, выше этого места она не поднималась. Она взглядом показала на широкий, почти плоский камень, и первой села на него. Горбушин снял шляпу и стоял, продолжая осматриваться.

Далеко внизу лежала земля с золотящимися крошечными домиками слева, справа же начиналась широкая долина, местами бурая, местами черная; лента дороги, петляя, пересекала ее, скрываясь в едва различимом Пскенте, над ним висела сияющая солнечная шапка. Золотой венец над древним кишлаком!

— Вот в этом кишлаке, что слева, растет лучший в округе хлопок, лучший виноград, самые красивые розы.

Горбушин сел рядом с девушкой, и они отдыхали, продолжая осматриваться. Горбушин закурил. Потом напомнил себе, что пора говорить о главном, ради чего он стремился сюда, вдаль от людей, в это прекрасное уединенное место, и сказал чуть дрогнувшим голосом:

— Рип, я серьезно прошу вас выслушать меня... Поскольку мы находимся высоко над уровнем моря, давайте и поговорим на самом высоком уровне искренности.

— Только повторяться не нужно.

— Ну вот видите... Значит, я сейчас плохо начал... А у вас на все случаи готов ответ! — горько вырвалось у него. — За что вы сердитесь на меня?

— Вы ошибаетесь. Я на вас не сержусь, просто я глубоко равнодушна к вам.

Горбушин плотно сжал губы. Он смотрел на далекую землю и как бы не видел ее: «Равнодушна! И совершенно спокойна сейчас... Так зачем я все это говорю?..» В растерянности и ощущая боль в душе, он сказал неожиданно для себя просительно:

— Тогда хоть оправдаться перед вами... можно?!

— А зачем?

— Я не знаю... Я ничего сейчас не знаю! Это вам хорошо в вашем спокойном всезнании... Как ни пытался понять, чем вы отличаетесь от других девушек, так и не разобрался толком... Впрочем, извините, Рип!

Нет, Горбушин ошибался, девушка не была спокойна, как представлялось ему и как хотелось того ей самой. Она намеренно говорила коротко и холодно, чтобы Горбушин скорей отстал — так будет лучше для них обоих.

— И кого же вы имеете в виду, говоря о других девушках? Рудену?

— На нее вы совсем не похожи!

— Вот как! А когда вы пришли к такому выводу?

— Не иронизируйте, Рип. Лучше пойдемте.

— А если я еще не отдохнула?.. — Покраснев, она повысила голос.— Сами предложили высокий уровень — и отступаете... Вы что, всегда так? Скажете одно, через минуту — другое?..

Мучительно помолчав, Горбушин взял себя в руки и проговорил спокойнее:

— Помните, возвращаясь со мной со станции, вы говорили, что не принадлежите к тем девицам, которые мечтают о солнечных парнях, а замуж выскакивают за кого придется.

— Помню, говорила... Да, идеальных людей нет, но есть хорошие, от которых девушки не бегут в слезах за тысячи километров, как убежала от вас Рудена. Но ладно... Не думайте, что мне приятно сейчас это говорить! Вы предлагали откровенность... Так и давайте... Я вам нравлюсь?

— Не надо так... — поморщился он. — Тогда совсем не надо!

Рип сказала мягче:

— Нет, надо... до конца прояснить наши отношения.

Горбушин бросил камешек на ветки кизила, росшего чуть пониже того места, на котором они сидели. Ветки

были белесые, вроде бы осыпанные мукой, — это шелушилась на них кора.

— Не надо... — помедлив, повторил он. — Вы слишком легко говорите сейчас. А мне день ото дня все труднее не видеть вас.

— Нет уж, пожалуйста, ответьте на вопросы... Сколько раз вы признавались в любви?

— Один раз.

— Рудене?

— Нет.

— Значит, еще ошибка?

— Там не было ошибки... И не надо об этом.

Рип склонила голову к коленям, обняла их и долго молча смотрела в сторону. Когда она заметила, не подняв головы, что он снова нарушает уговор, Горбушину показалось, будто она волнуется... Так резко вдруг стал заметен в ее речи акцент.

— Я не отказываюсь ответить, но в таком тоне говорить о ней я не могу. Ее уже нет.

— Она умерла?

— Да.

— Ваша жена?

— Невеста.

— Вы любили ее?

— Да.

Горбушин подумал: чего это она допрашивает его? Какое нелепое объяснение... По-другому он представлял его себе...

— Вас любит Рудена,— тихо сказала Рип.

— К сожалению...

— А зачем вы дали ей повод вас полюбить?

— Наверное, я виноват... — Произнеся это, Горбушин подумал, что откровенность у них зашла далеко. Выходит — не судьба! И тем лучше, пожалуй... И он встал. — Пойдемте?

— Да, конечно, — заспешила Рип. — Надо идти... Бабушка просила нас не опоздать к праздничному обеду.

69

С тяжелым чувством проснулся ночью Горбушин в этом старом доме и прислушался. Было тихо. Объяснение с Рип снова и снова прокручивалось в памяти.

Он понял, что больше не уснет. Перед глазами стояли горы, сияющая солнечная долина. И объяснение от этого казалось особенно горьким.

Незаметно для себя он все-таки уснул, и тяжелый сон обрушился на него: он лежал в гробу, две девушки с насурмленными глазами склонялись над ним и улыбались, и тихо звенели, поблескивая, подвески в их ушах.

Проснувшись, он спросил себя, не в этой ли комнате жили сестры? Не их ли тени витали над ним?.. Горбушин взял с подоконника часы, папиросы и спички и тихо направился к двери. Едва он оказался на террасе, туда же вышел и Шакир. Они закурили.

А небо уже подкрашивали первые утренние лучи, собственно, еще дети-лучики, развернувшиеся небольшим красно-золотистым веером на плотном темно-синем, глубоком темно-синем небе, щедро усыпанном крупными ясными звездами.

— Ты смотри, — тихо, восхищенно засмеялся Шакир,— каждая с кулак, и все будто подпрыгивают... А что над Ленинградом увидишь в ноябре? Крохотные звездочки, затерявшиеся в бесконечной белесой мути...

Горбушин и Шакир спустились в садик, продолжая смотреть на зарю, на звезды. Друзья стояли рядом с газоном, не слыша, однако, дыхания цветов — все заглушал тяжелый, душный запах глины... Шакира даже стало в конце концов слегка поташнивать от него; наверное, поэтому он машинально перевел взгляд с неба на высоченные стены дувала, будто в объятиях держащие старый дом, и думал о том, что веками сосед от соседа должен был отгораживаться подобными устрашающими стенами.

Горбушин же продолжал смотреть вверх, но как-то уже машинально, опять весь во власти случившегося накануне. Какой он получил урок! Ведь он не верил раньше в равнодушие Рип, считая его игрой умной девушки, не допускал мысли, что такой человек, как он, по-настоящему полюбивший, имеющий серьезные намерения, может получить отказ, да еще такой решительный, сокрушающий. Это был конец не только его любви, это был конец чему-то большему — его всегда радостному ощущению бытия.

Он все рассказал Шакиру, горько заключив:

— Это не девушка, знаешь, а какой-то древовидный можжевельник...

— Древовидный можжевельник?

— Такое дерево есть, арча называется, крепче железа...

— Да, — согласился Шакир, кивнув, — случай не тот... А может быть, выправим?

— Нет... — глухо проговорил Горбушин.

Заря разгоралась все больше. Лучики превратились в огненно-золотые столбы, далеко бросающие свет в темное бесконечное небо.

Внезапно Шакир и Горбушин вздрогнули: где-то близко, совсем рядом, раздался печальный голос:

— Ал-ла!.. Ал-ла!.. Ал-ла!.. Бисмилохи ррахмону рахим... Ал-ла!.. Бисмилохи ррахмону рахим... Бисмилохи ррахмону рахим...

Шакир понял, что слышит муэдзина, когда-то кричавшего с минарета, созывавшего правоверных к намазу — утренней молитве на рассвете, — и от изумления раскрыл рот... Свою догадку он шепнул Никите, оба осторожно пошли на голос, певуче звучавший слева от них, и, едва миновали террасу, увидели: на соседнем дувале стоял на коленях человек, молитвенно сложивший руки перед грудью ладонями вместе, он кланялся заре, что-то бормотал. Его темный силуэт на фоне проясняющегося неба напомнил собой сидящего орла.

Они долго слушали мелодию молитвы, не понимая ее слов, но по заунывному тону догадывались, что это звучала сама тоска, сама рабская покорность судьбе. Горбушин, боясь спугнуть молящегося, шепотом спросил Шакира, не знает ли он, что означают первые слова намаза: «Бисмилохи ррахмону рахим»?

— Знаю! Мать меня учила. Это по-арабски... А в переводе на русский выбирай любое из трех понятий: боже милосердный, боже праведный, боже всемогущий... Свистнуть? Я сейчас заложу четыре пальца в рот и как дам...

— Заткнись!..

Они слушали.

Утром за чаем Шакир рассказал об этом муэдзине и не удержался от желания воспроизвести его голос. Шакир поднялся из-за стола, сложив руки для молитвы, опустился на пол и запел, кивая головой, поднимая и опуская сложенные руки. Только рев ишака, а не молитву услышали все в его голосе и засмеялись.

Папаша Гулян пояснил:

— Это мой сосед-фанатик. Я иногда часы проверяю по его пению. Вставать, знаете, приходилось рано, нельзя опоздать на первый автобус, так лежу и жду, когда он заведет свою музыку. Несчастный человек... Ну а теперь я близко работаю, он молится, а я думаю: на здоровье, я еще поваляюсь!

— Фанатик-одиночка... Значит, мало осталось в Пскенте верующих? — поинтересовался Горбушин.

— Совсем мало, и главным образом это старые люди.

— Ну и пусть они молятся, они никому не мешают, — примирительно сказала бабушка.

70

После завтрака Рип повела Горбушина и Шакира на этот хваленый большой праздничный базар, о котором говорила у Нурзалиевых. Горбушин испытывал неловкость, она угнетала его, но это не мешало ему часто поглядывать на Рип, чтобы попытаться прочесть на лице ее настроение. Каждая улыбка девушки его радовала и одновременно доставляла ему боль.

На узких глиняных улицах праздник не был заметен. Он чувствовался здесь, на широкой главной улице: красные флаги на домах, портреты руководителей правительства; люди празднично одеты, из репродукторов звучит музыка.

По мостовой семенил ишак, запряженный в телегу на резиновом ходу, дуга украшена цветами и хлопком, под нею колокольчик. На телеге десятка два малышей и две женщины: одна правит ишаком, другая наблюдает, чтобы ребята не свалились.

Шакир приветственно поднял руку, улыбаясь женщинам:

— С праздником, апа!

Возница ответила почти по складам:

— Мы вас тоже праздник поздравляем!

— Покатайте и нас!

— Хоп майли! — озорно сверкнула она черными глазами.

— Ура, ребята! — не унимался Шакир, идя рядом с телегой.

Дети, конечно, молчали, и свой-то язык еще не зная хорошо, а уж русского не понимая совершенно.

Шакир встречал взглядом одних людей, провожал других, делал замечания о третьих; своей живостью в конце концов вывел из молчания и Рип.

— Сейчас начнется базар,— сказал она,— и я приступлю к обязанностям гида. Пока же спрошу у вас... Вы уже более двух месяцев живете в республике хлопка, а много ли знаете о нем? Что вам известно, например, о том времени, когда ситцевое платье ценилось дороже шерстяного и шелкового и ситцевые платья с удовольствием носили принцессы и королевы?

— Убит принцессами и королевами! — признался Шакир.

Рип улыбнулась:

— Второй вопрос: что, кроме ткани, вырабатывается из хлопка?

— Сейчас сообразим... Ага, хлопковое масло! Ведь в нем варят беляши?

— Правильно сообразили. Еще что?

— Жмыхи, надо думать, поскольку есть масло. И какое-то взрывчатое вещество,— где-то когда-то что-то читал об этом.

— Еще?

— А тут будущий инженер-механик уже выдохся.

— Тогда вы, Никита, прибавите что-нибудь?

— Я в этой области знаю не больше, чем он. Читал что-то об индусских отрядах Ксеркса, пришедших в Европу в тканях из хлопка, но даже сказать точно, полторы или две тысячи лет назад это было, не смогу.

— Так загибайте, Шакир, пальцы... К тому, что вы сейчас перечислили, из хлопка вырабатываются еще и следующие товары: кинопленка для кинопромышленности и других надобностей, стекло для автомобилей, высококачественная бумага для дорогих изданий, фибра, линолеум, великолепное туалетное мыло, спирт, различные красители, различные растворители...

— Минуту! Сейчас разуюсь! На руках пальцы все!

Ведущая к базару улица становилась все многолюднее, так как торговля шла и на подступах к нему. Лежали на земле высокими холмами срезанные под корень кукурузные стебли — ходкий строительный материал, своего рода арматура для глины,— с помощью таких стеблей воздвигались стены и дувалы и стояли века. Еще более жесткими и длинными были стебли джугары, тоже хороший строительный материал; джугара давала

обильное мелкое зерно, люди варили из него кашу, ели сами, кормили домашнюю птицу.

Перед входом в базарные ворота находились две стоянки. Одна, справа, для автомобилей и мотоциклов, а слева — для ишаков. Шеренга длинноухого транспорта своей протяженностью не шла в сравнение с машинной шеренгой, была раз в десять длинней. Стояли черные, сивые, пегие ишаки, многие из них, вытянув шею, трубили приветствие друг другу.

Шакира они восхитили. Он попробовал тихонько потрубить, затем высказал некоторые замечания:

— Обратите внимание на эту молоденькую ишачку. Какую нежную мелодию пела она своему бравому соседу, ласково вытянув шею, но вдруг заревела ужасным хриплым басом, будто подавилась клоком сена или схватила кнута. Или вот этот, с оторванным ухом, пытающийся освободиться от привязи...

— Пойдемте, Шакир, от этих мелодий можно оглохнуть! И на нас уже обращают внимание, — посмеивалась да и смущалась Рип.

Наконец они вошли в ворота, от пестрой одежды зарябило в глазах. Люди двигались почти впритирку друг к другу по пыльной и твердой как камень земле, пахло пылью, стоящей над толпой, солнце безжалостно припекало. Голоса продавцов и покупателей и здоровающихся друг с другом людей сливались в гул; выделялись всплесками среди человеческих голосов ржанье лошадей, блеянье коз и овец, лай собак и трубный рев ишаков. Базар в праздничный день был событием для местных жителей и приезжих.

— Это базарная чайхана, — приостановилась Рип. — Тут можно напиться чаю и узнать все новости, от местных до международных, а прежде всего — цены на ишаков, джугару, пшеницу, на всякие другие товары.

Шакир и Горбушин увидели широкий деревянный помост, поднятый на уровень стола, застланный кошмами. С двух сторон он был защищен от ветра, пыли и взглядов ярко разрисованными фанерными щитами, с двух остальных сторон люди могли сколько угодно обозревать происходящее в чайхане. Там сидели, поджав под себя ноги, мужчины и женщины, и все пили чай: женщины — молча, сосредоточенно, чаще всего глядя только в пиалу; мужчины разговаривали, сдвинув тюбетейки на затылок, распахнув яркие халаты.

В углу стоял стол, на нем два ведерных самовара: из одного наливали кипяток, другой в это время нагревался. Между ними гора посуды и подносов. Чайханщик в белом переднике разносил на разрисованном подносе разрисованные пиалы и чайники.

Плотная толпа вынесла наших друзей к фруктовым рядам. Навалом лежали всяческие плоды: яблоки, груши, кишмиш, урюк, кроваво-красные в разрезе гранаты. К винограду отношение уважительное. Он не навалом, он в ящиках и корзинах на прилавках, а его отдельные, наиболее крупные гроздья за плодоножку подвешены к проволоке, натянутой между прилавочными столбиками.

Улица арбузов и дынь... Настоящая улица! А посреди нее идут люди, приглядываясь к товару. Дыни, знаменитые узбекские дыни источают такой аромат, что в нем есть что-то от мяты, Горбушину даже показалось, будто ему легче дышится здесь, среди дынь. Каждый арбузный навал венчает разрезанный пополам арбуз, его сладким соком упиваются крупные, уже по-осеннему ленивые мухи.

Когда миновали эту улицу, Шакир повел носом:

— Откуда-то бьет кунжутным маслом! Не выношу его! Нанюхаешься, а потом целый день пьешь воду.

Приблизились к ряду закрытых лавок с красным товаром, хозяйственной утварью и готовой одеждой. Здесь женская толпа, здесь крику больше. У высокого забора происходило редкое, по свидетельству Рип, древнее зрелище. В тени забора сидели мужчины всех возрастов небольшими группками, по двое, по трое, поджав под себя ноги. Несколько человек играли на длинных трубах, один стучал пальцами по дутару. Перед толпой плясали два мальчика лет по двенадцать-тринадцать, оба в темных халатах, подпоясанных кушаками. Мальчики плясали с отличным знанием дела — спокойные, очень плавные движения, полные достоинства. Мальчики то простирали руки вверх и на секунду замирали, словно в глубокой молитве подняв к небу взгляды, то ставили правую руку в бок, левую на плечо и снова как бы замирали в задумчивости или молитвенном экстазе, то они кланялись земле просительно, даже униженно, то жестами выражали что-то еще. Позы и жесты чередовались быстро. А по тому, какими внимательными взглядами следили за каждым их движением сидящие у за-

бора мужчины, можно было понять, насколько увлек их танец.

Рип пояснила:

— Это танец бачей, он дошел до нас из древности. Я вижу его второй раз в жизни, хотя каждый большой праздничный базар бываю тут.

Окончив плясать, мальчики направились к забору под одобрительные, возбужденные голоса сидящих. Шакир тоном председателя жюри объявил:

— Первый приз!

— Вы бы так не смогли?

— Что вы, Рип! Это же искусство. Это не пляска Романа перед окнами конторы!

Особое место на базаре занимала торговля зерном и орехами, потому что продажа велась не на вес, а на канары. Десятки канаров с рисом, джугарой, кукурузой, пшеницей, арахисом; тут подолгу торгуются, уходят и возвращаются покупатели, боясь передать, — Шакир даже увидел, как один человек сорвал с головы черную баранью шапку и хлопнул ею себя по колену. Не так ли русский мужик в прошлом срывал с себя шапку и клялся, что отдает себе в убыток? Да, продавали ведрами и канарами, меньшей меры здесь не было, поэтому следовало проявлять осторожность, и люди ее проявляли.

Ишаков продавали в специальной длинной загородке и там же им устраивали гон. Загородка проста: вбиты колья, на них лежат длинные слеги, до блеска отполированные руками болельщиков, которые весь базарный день стоят тут и смотрят, как ишаки бегают, как их продают, как покупают. Хозяин, пожелавший продать ишака, приводил его сюда и по требованию покупателя начинал воодушевлять палкой. Все знают, как упрямы ослы и не любят бегать, — а вдруг попадется полный упрямец, полный лентяй? Тут без палки не обойтись.

Шакир сразу сориентировался:

— Уртак, продаешь ишака?

— Продаю.

— Нич пуль?

— Десять тысяч.

— Побойся аллаха, уртак! Такой ишак десять тысяч?!

— За восемь отдам.

— Получи четыре! Но прежде покажи его ходовые качества, иначе не куплю!

— Пажалыста...

Хозяин поплевал на ладони и огрел ишака палкой, на что последний не обратил внимания. Тогда он огрел его еще и еще, и лишь после пятого или шестого удара животное стало поднимать голову. А получив еще несколько ударов, ишак внезапно лягнул Шакира обоими копытами — Шакир повалился с ног, как подрезанный. Болельщики громко захохотали, не удержались от смеха Рип и Горбушин. На Шакира это, однако, не подействовало: быстро поднявшись и отряхнув пыль с пиджака и брюк, он опять оценивающим взглядом всмотрелся в ишака.

Хозяин с недоверием спросил:

— Может, не купишь, уртак? Зачем тебе ишак?..

— Как зачем? На работу буду ездить. На завод «Русский дизель»!

— О-о-о... — сказал хозяин с уважением. — Пажалыста...

— Но прежде покажи его ходовые качества! — Шакир уже не подходил к ишаку близко, чувствуя его предательский характер, и в своей осторожности был прав. Этого ишака продавали здесь не впервые, поэтому он хорошо усвоил, что бить его начинают всякий раз, как только подходит к нему чужой человек. Ну вот он и стал колотить покупателей.

Не выдержав нового града ударов, ишак вскачь без какого-либо разгона бросился наутек, пригнув низко голову, поставив хвост трубой. Шакир и хозяин бежали сзади, изучая его «ходовые качества»... Зрители у слеги что-то восклицали, иные смеялись.

На другом конце гона состоялся торг:

— Окончательно за сколько?

— За семь отдам.

— За четыре возьму. Отдай за четыре.

— Хорошей породы осел... Всем ослам осел. Сильный какой, ты узнал. Хорошо под седлом ходит.

Шакир с глубокомысленным видом задумался.

— Ладно, пойду посоветуюсь со своими друзьями, ты меня жди.

— Хоп... — недовольно кивнул хозяин.

Упреками встретили Шакира Горбушин и Рип, но при этом Рип и смеялась. Зачем морочил человеку голову?.. Шакир поправил их: не человеку, а ишаку. За

что он ударил его? Кошмарно, какой некультурный ишак. С незнакомым человеком начинает драться.

В сложном многоцветии, в многообразном реве скота, в людской разноголосице кипело торжище на своем древнем месте... И стояло над ним облако светлой пыли, полузакрывшее солнце.

Вдоволь на все наглядевшись, полуоглохнув от шума, Шакир скомандовал своим спутникам, подняв руку:

— Кончай гулять!

71

Дома Рип собрала в чемоданчик необходимые вещи и перед вечером, простясь с отцом и с бабушкой, пошла в сопровождении Горбушина и Шакира к автобусной остановке: утром ей следовало быть на работе. Шеф-монтеры оставались в Пскенте осмотреть здание ДЭС на хлопкозаводе, познакомиться с его администрацией.

Уезжая, Рип дружески улыбнулась Шакиру, а Горбушину, только бегло на него взглянув, сказала «до свиданья», тем еще раз показав полное к нему равнодушие.

Горбушин помрачнел. Шакир же места не находил себе от досады, хотел помочь другу и не видел возможности это сделать. Почему парню не везет? Минуло четыре года после смерти Ларисы, четыре года он девушек не замечал, ходил будто в воду опущенный и вот серьезно увлекся, и что же? Опять драма. Встретилась не обычная, идущая навстречу жизни девушка, а какой-то древовидный можжевельник... Почему она так уверена, что встретит парня без царапины?

На завод утром они пошли с Теватросом Георгиевичем, он представил их как своих гостей директору и главному инженеру, потом простился с шеф-монтерами, и они еще раз поблагодарили его за гостеприимство. Он пошел работать, а они отправились с администрацией осмотреть здание ДЭС. Для монтажа дизеля и генератора здесь все было готово. Машины в ящиках стояли перед свежевыкрашенными воротами, подъемный кран был на ходу. Однако, приглядевшись внимательнее к воротам, потом замерив их высоту, Горбушин заявил, что генератор, который вдвое ниже дизеля, войдет в здание, а дизель не войдет. Встревоженные директор и главный инженер начали было тоже делать замеры, но

Горбушин успокоил их: портить стену над воротами не нужно, следует лишь пробить зацементированную почву у порога, прорыть небольшой глубины канаву, а когда дизель будет втащен, снова сровнять почву и зацементировать.

Договорились и о том, где они будут жить во время работы. При заводской конторе имелась комната для приезжих на четыре койки, шеф-монтеры выбрали две из них, директор попросил главного инженера позаботиться, чтобы к первому декабря они были свободны.

И через час после этого Горбушин и Шакир уже катили в автобусе к Ташкенту.

Прошел месяц. Монтаж дизелей и генераторов сборщики благополучно завершили двадцать восьмого ноября вечером. Двадцать девятого и тридцатого машины работали на холостом ходу: обязательное двухсуточное опробование должно было показать исправность машин, их работоспособность. Никаких замечаний по поводу опробования машин сделано не было. На первое декабря назначили официальный пуск хлопкозавода с полной рабочей нагрузкой.

Было решено сделать это торжественно, поэтому к пуску завода готовились. Заводоуправление и райком партии пригласили всех известных в Голодной степи передовиков-хлопкоробов. К назначенному часу они и явились, празднично одетые мужчины и женщины, почти у всех на груди ордена, медали. Их разделили на две группы и стали показывать завод. Первую группу водил Джабаров, вторую — Рахимбаев. Рядом с Нариманом Абдулахатовичем, выслушивая его объяснения, ходили Бекбулатов и Айтматов,— последний, как и всегда, с недовольным выражением на мясистом загорелом лице.

Бюро обкома партии вынесло Айтматову выговор за перегибы на хлопкозаготовках, который он в душе считал правильным, но линию Бекбулатова в этом конфликте признать правильной не мог: считал, что первому секретарю не следовало выносить сор из избы. Получив выговор, он уже не стал просиживать в райкоме до полуночи, как бывало, — отработав восемь часов, сейчас же отправлялся домой, а на бюро обкома заявил, что с нового года уйдет на пенсию.

Гости и администрация, осмотрев производственные корпуса, двор, амбары и подсобные строения, собрались на ДЭС, откуда завод должен был начать свою жизнь. Огромный зал едва вместил всех, десятки взглядов скользили по стенам, подъемному крану, стеклянной крыше, по машинам, стоявшим попарно в центре здания. Все производило внушительное впечатление и сверкало почти стерильной чистотой.

Гаяс, Акрам и Мурат — будущие машинисты. Гаяс старший среди них. Теперь они ходили около машин, что-то поправляя в них, еще теплых от работы на холостом ходу, готовя их к работе с полной нагрузкой. Шеф-монтеры следили за их действиями. В отличие от слесарей, одетых в обычные рабочие комбинезоны, Горбушин и Шакир были в костюмах, в белых рубашках с галстуками, словно бы показывали: смотрите, это не старинные дизеля с бесконечными вентилями, рычагами, штурвалами и маховиками, у которых человек всегда работал в промасленной насквозь одежде, черный и блестящий, как жук; современными машинами вполне можно управлять одетым в приличный костюм.

Ближе всех к машинам стояли Бекбулатов, Айтматов, Рахимбаев, Нурзалиев, Ким, Ташкулов и корреспондент областной газеты «Сыр-Дарьинская правда», прибывший на завод осветить в печати его пуск. Ведь это же событие для Голодной степи!

Джабаров нервничал и жалел, что нет в руках цепного ключа — сжимал бы его — было бы легче. А если машины не пойдут, тогда что?.. Одно дело гонять их вхолостую, другое — заставить двигать многочисленные тяжелые механизмы, обрабатывающие массы хлопка. Иными словами, в нем опять говорил рачительный хозяин, питающий недоверие не столько к шеф-монтерам, сколько к их возрасту — ведь молодежь, что ни говори: какой у них опыт? А ведь тут шесть сложных машин.

Ровно в полдень шеф-монтеры приблизились к пусковым механизмам, ощущая на себе множество взглядов, и Горбушин уверенно повернул пусковой руль. Тотчас в дизеле родился шум, поначалу еле слышный, постепенно усиливающийся, затем машина громко и как будто облегченно вздохнула. Еще через минуту, когда шум ее главных рабочих органов набрал должную частоту и силу, в хлопкоочистительном корпусе вдруг вспыхнул электрический свет, такой неестественный в

яркий солнечный полдень, и хлопок из амбара потянулся пневматическим способом в производственный корпус, во все его громоздкие механические сооружения, и они тяжело, дружно загрохотали. В раскрытые ворота ДЭС люди увидели этот вспыхнувший сразу в сотнях лампочек электрический свет, взволновавший их, вздрогнули от грохота механизмов. Так же была пущена средняя машина, заставившая завертеться валы джинов, тысячами игл превращавших хлопок в волокно, — они расчесывали его, как женщина гребнем расчесывает длинные волосы. Люди напряженно ждали, на лицах читались удивление, радость и беспокойство. Завод работал уже на две трети... Что будет еще? Об этом не думали сейчас лишь шеф-монтеры. Каждый — слух и внимание. Так, вероятно, летчик-испытатель, подняв машину в воздух, весь как бы сливается с нею, напряженно вслушиваясь в ритм моторов, не отрывая взгляда от стрелок приборов.

От работы третьего дизеля осветились остальные отделы и участки завода, застучал мощный пресс, сдавливая массу хлопка в большую кипу, поползла пока порожняя конвейерная лента, готовая доставить кипы хлопка к подъездной погрузочной железнодорожной площадке.

Джабаров закричал «ура», и в этом его крике слышался вздох облегчения. В едином порыве подхватили люди возглас директора, хлопая в ладоши, смеясь, размахивая руками, — толпа на редкость многоликая, на редкость многоязыкая и на редкость пестро одетая. А когда Джабаров подвел за руки к машине Нурзалиева и Рахимбаева и поставил их в ряд с Гаясом, Акрамом и Муратом, и когда к ним подошли, благополучно пустив третью, последнюю машину, Никита и Шакир, присутствующие устроили бригаде овацию. На многих языках раздавались горячие приветствия, светились искренней радостью лица, смех заглушался аплодисментами.

Отдельной группкой стояли заводские женщины, не похожие на разряженных, с орденами и медалями на груди хлопкоробок. Жилар Нурзалиева, Ольга Ким, Таджихон Бабаева, недавно родившая четырнадцатого ребенка, башкирка в высокой островерхой светлой шляпе, Марья Илларионовна, до того переживавшая и беспокойство мужа и его радость, что лицо у нее стало

пунцовым; Рип Гулян, Муасам Джабарова и девушки-строительницы, такие молоденькие, но сложившие это внушительное машинное здание.

Горбушину несколько раз показалось, что Рип смотрит на него, на него одного, смотрит требовательно, будто пытается что-то ему сказать. Но она сурово отводила взгляд в сторону, лишь только глаза их на мгновение встречались.

На средний фундамент поднялся секретарь райкома Бекбулатов. Он поздравил присутствующих с пуском в эксплуатацию еще одного хлопкообрабатывающего завода. Снова — овация, улыбки, радость.

В этот же день к вечеру Джабаров издал многословный приказ, вынося благодарность за оказанную помощь и отличную работу шеф-монтерам Н. Горбушину и Ш. Курмаеву, начальнику СМУ Д. Нурзалиеву, слесарям Г. Абдулину, А. Бабаеву, М. Алимжанову, бригадиру Н. Рахимбаеву. Все награждались денежными премиями.

На другой день, в час обеденного перерыва на заводе, Горбушин и Шакир уезжали. Проститься прежде всего зашли к соседкам. Муасам сообщила, что Рип на обед домой не пришла, передает им привет и пожелание счастливого пути.

Горбушин призвал на помощь все свое самообладание, чтобы не показать девушке и Шакиру, как это его сокрушило. Уж проститься-то с ним она могла бы...

— У нее много работа, — как всегда радостно, ярко улыбалась Муасам, и остро при этом светились ее напряженные черные глаза.— Ты не надо сердиться, Никита... Очень хорошо?..

— Я не сержусь. Передай, пожалуйста, и ей большой привет от нас.

— И всем другим комсомольцам! — подхватил Шакир. — Махкаму, своим строительницам, секретарю райкома Громову...

— Да... Да... — кивала Муасам.

— Приезжай к нам в гости в Ленинград!

— Это можно... Можно...

Они горячо, сердечно простились с девушкой.

Из дома Горбушин и Шакир вышли с чемоданами в руках. Их провожали Усман Джабарович с Марьей Илларионовной, она вела за руку свою приемную

дочь — на ребенке новые туфельки, розовое платье, розовый бант на голове; были тут и Григорий Иванович, Дженбек с Жилар и сыном, Нариман Абдулахатович, Гаяс. С Акрамом и Муратом, дежурившими у дизелей, шеф-монтеры уже простились.

Горбушину подумалось, что даже старенький грузовичок Романа стоит как-то печально... Из кабины выглядывал Роман, борода у него уже отрастала.

Шакир величественным жестом показал шоферу на свои чемоданы:

— Грузи скора!..

Роман улыбнулся, что с ним случалось редко.

— Можно и не скора, — ответил он важно, вспомнив бурную ночь и свою первую встречу с этими ленинградскими парнями.

Джабаров обнял Горбушина, расцеловал его, потом Шакира. Потом, держа каждого за руку, глядя то одному в лицо, то другому, спросил: так по скольку же им лет? Скоро по двадцать восемь?.. Через месяц-другой выйдут из комсомола?.. А что дальше?

Друзья поняли его.

— Захотите взять у меня рекомендацию, сообщите, дам, — заключил Джабаров.

— Я тоже дам! — громко сказал Дженбек.

— Рассчитывайте и на мою... — наклонил голову Нариман Абдулахатович.

Горбушин и Шакир поблагодарили их.

Обняла земляков крепко Марья Илларионовна. Три месяца были тут, а смотри, как она привыкла к ним! И попросила передать от нее привет России.

— Приезжайте к нам летом в отпуск, — последний раз услышали шеф-монтеры замечательный голос Нурзалиева. — А не приедете вы, так мы с Жилар прикатим к вам посмотреть город Ленина!

И крепкими были последние братские рукопожатия.

72

На Пскентском заводе работа сразу пошла хорошо. Дирекция, как и было обусловлено договором, дала шеф-монтерам в помощь двух слесарей. Четверо на одну машину при новом подъемном кране!

Так что уже к двадцатому декабря стало ясно, что работу они закончат на четыре-пять дней раньше срока.

Они послали Скуратову телеграмму с просьбой не направлять их в Баку, вспомнить, что в Голодной степи они совершенно не готовились к защите диплома, да и потом занимались понемногу, от случая к случаю.

Ответ Скуратова им вручили утром на другой день. Шакир, потрясая телеграммой и не давая ее прочесть Горбушину, отбил чечетку.

«Баку выедут Сергей Степанович и Яснопольская, по окончании монтажа Пскенте выезжайте Ленинград».

Пуск заводика, обрадовав администрацию, они назначили на двадцать шестое декабря. За три дня до этого Шакир съездил в Ташкент, купил билеты на поезд «Ташкент — Москва» на двадцать седьмое. Новый год встретят дома!

Они работали даже в обеденный перерыв, спеша сдать станцию в наилучшем виде. К ним зашел Теватрос Георгиевич, стал дружески журить, что не заходят вечерком посидеть. Потом сказал: вчера приехала Рип, сегодня уезжает, передает Горбушину привет, а Шакира просит подойти к трем часам к автобусной остановке.

Первой мыслью Горбушина было: он пойдет на автобусную остановку вместе с Шакиром! Неужели отказаться от возможности еще раз увидеть Рип? Но мучило и сомнение: в Голодной степи она проститься с ним не захотела, сейчас зовет одного Шакира... Нет, набиваться он не станет... Передаст ей привет и все...

Он так и поступил.

Шакир отправился на автобусную остановку, уверенный, что девушка уже там, но ошибся. Она появилась незадолго до прихода автобуса, в темно-синем шерстяном костюме, с ярко-красной сумочкой в руке. Лицо ее побледнело, осунулось.

— Здравствуйте, тысяча и одна ночь!

— Я вас приветствую, Рип! Вы не болели?

— Немножко... — небрежно ответила она и полуотвернулась. — Вы с Горбушиным говорили мне, что Новый год встретите в Пскенте, а потом вылетите в Баку...

Шакир улыбался.

— Предполагалось, предполагалось! Но за нас думает наше начальство. Так вот начальник отзывает нас домой, и Новый год мы встретим в Ленинграде.

— Ну, ваш начальник, может быть, еще передумает.

— Поздно! Билеты в кармане. Привез два часа назад.

— Покажите...

Она взглянула на билеты и вернула их.

— Ну что ж, тогда нам не придется встретить Новый год вместе. Передайте вашему другу привет...

— Передам, Рип!

Замолчав, они ощутили неловкость, потому что оба думали о Горбушине. Затем Рип словно бы между делом спросила, опять полуотвернув лицо:

— А та девушка, которую он любил, которая умерла... Вы не знаете, кем она была?

— Наша одноклассница.

— Красивая?

— Она была очень талантлива. Училась в консерватории, скрипачка.

— Отчего она умерла?

— От воспаления мозга.

— Он любил ее?

— Вы бы видели, как он плакал!..

— Горбушин?

— Да...

— А с этой Руденой... только скажите правду... Он долго был в близких отношениях?

— Все у них было случайно и недолго. Ну, судите сами: за неделю до отъезда сюда, в Узбекистан, они стали ходить вместе, а тут, только приехали, поссорились. Он любит вас, Рип!

Девушка продолжала смотреть в сторону, говоря с некоторым усилием:

— Кто его отец, мать, вы не знаете?

— Никита — потомственный русский интеллигент.

— Почему потомственный?

— Считайте: прадед — юрист-народоволец Никита Горбушин, умер в ссылке, в Тобольске. Дед — знаменитый кораблестроитель. Отец — генерал-инженер во время войны... Вот он-то и назвал сына Никитой, в честь деда-народовольца.

Далеко на улице показался автобус. Рип взглянула Шакиру в лицо:

— Вы как-то сказали: «Мачеха Никиты...» Его мать умерла?

— Да. Когда ему исполнилось семь лет.

— Могу я попросить еще... Мне думается, этот разговор вам не следует передавать Никите. Правда, в нем ничего предосудительного нет, мы долго работали вме-

сте, почему же и не поинтересоваться друг другом... Но во избежание кривотолков... — Она заволновалась, и, как всегда в такие минуты, почти резко зазвучал ее обычно незаметный акцент.

Шакир не согласился:

— Это невозможно, знаете... Он из меня душу вытрясет... Да вы и правы — что особенного в том, если мы что-то спросим друг о друге?

— Ну, как хотите...

Автобус, заскрипев тормозами, остановился. Рип подала Шакиру руку, затем вошла в машину. Он успел ей прокричать, чтобы передала привет от него и Горбушина всем их друзьям. Он пытался увидеть ее, когда автобус тронулся, но заднее стекло было ужасно запылено, словно его покрыли серой краской. Все же ему казалось, что Рип машет ему перчаткой.

73

Мчится поезд. Мягко стучат колеса. Шакир спит на верхнем диване, Горбушин сидит у окна, наблюдая тона и рельеф проносящегося назад то рыжего, то зеленого, то холмистого, то ровного, как стол, пейзажа. Горбушина мучает одна и та же мысль: зачем Рип расспрашивала о нем Шакира? Что это?.. К чему этот поздно возникший интерес?..

Проснувшийся Шакир свесил вниз голову:

— Бери ложку, бери бак! Нету ложки — беги так...

Горбушин согласился — да, обедать пора. Но открыт ли ресторан? Придут туда прежде времени, и придется стоять в тамбуре. Подождав еще с полчаса, они отправились; прошли вагон, другой, а в третьем Шакир, шедший впереди, увидел в коридоре стоящую у окна женщину в темном костюме, со скошенной вправо прической, похожую на Рип. Приблизившись, он заглянул ей в лицо. И закричал, обратив на себя внимание пассажиров:

— Это не вы, Рип, нет! Клянусь моей татарской кровью!.. Не вы...

От неожиданности все забыли поздороваться друг с другом. Рип отчаянно покраснела и улыбалась.

— Каким образом?! — бушевал Шакир.

— Мы попутчики... — с трудом сказала она. — Я еду к матери в Ленинград.

— Тысяча и одна ночь! Еще одна сказка Шехеразады! Да какая сказка, бригадир!.. Что ты на это скажешь?

Странное состояние овладело Горбушиным. В нем как будто что-то сдвинулось, и ни радости, ни даже удивления он не испытывал.

— Вы в Ленинград? — уточнил он, словно не веря услышанному. — У вас живет там мать?..

— На улице Белинского, о которой я вас спрашивала.

Горбушин и Шакир выжидательно молчали... Рип поняла их. Вздохнув, она продолжала:

— Я смутно ее помню... Мне было четыре года, когда она с другим человеком оставила меня и отца. А теперь вот уже несколько лет очень просит меня приехать. Может, я бы и не собралась, но с вами... по пути... Надо же мне когда-нибудь увидеть, какая у меня мать? — Она закончила совершенно уже смутившись, от волнения даже увлажнились глаза, что удивило Горбушина, привыкшего считать ее твердой и смелой.

Шакир не Горбушин, он не был оглушен этой встречей и прекрасно увидел, сочувствуя Рип, что нужно поскорее переменить тему.

— В протокол, Рип, — весело заявил он, — мы запишем, что эта наша встреча в поезде есть та чистейшая случайность, которых столь много у великого аллаха. Устраивает вас формулировочка? А теперь скажите скорей, что там нового на заводе.

— Закончилась массовая приемка хлопка... Я и попросила Усмана Джабаровича отпустить меня в Ленинград на десять дней, — с готовностью ответила Рип.

— Нелегко этому поверить! Такой директор, как Джабаров, в положенный отпуск нужного человека не отпустит, а вы ему нужны, и ведь вам в отпуск еще рано, проработали полгода!

— Ну, — робко улыбнулась Рип, — я попросила Марью Илларионовну...

— Вот это вернее! Чего не понял директор, помогла понять жена... Больше у меня вопросов нет. Молчи, Шакир, молчи. В базарный загон тебя и гнать палкой!

— Как того, которого вы покупали?

— Синяки от его копыт, Рип, я буду помнить всю жизнь. Но чего мы стоим? Я умираю от голода. Мы держим курс на ресторан. Вы не составите нам компанию?

— Мне все равно...

— Тогда в путь!

И Шакир устремился к тамбуру, за ним Рип, а Горбушин шел последним.

Они миновали вагон. Переходя в следующий по шатающемуся мостику, Горбушин взял девушку за руку и приостановился:

— Рип, я не верю, что вы рядом... — Он поцеловал ей руку. — Я ехал в Ленинград, а каждую минуту был в Голодной степи с вами. Я так много думаю о вас... Додумался до того, что стало даже казаться, будто вы — это я, а я — это вы... Честное слово!

Она испуганно смотрела ему в лицо своими глазищами, все еще слегка влажными.

— Без вас мне тоже сделалось вроде бы пусто... Мы не каждый день виделись, но я знала, что вы рядом, а когда уехали... Я, вероятно, переоценила свои силы... Или устала быть строгой к себе? Не знаю...

Это было больше, чем он ожидал! Волнение не давало ему говорить. Шаталось железо под ними, скребло, гремело вокруг... Внезапно Рип сказала другим тоном, в котором опять послышалось что-то похожее на прежнее недоверие к Горбушину:

— Но пойдемте же! Что подумает Шакир...

А Горбушин странным образом отяжелел... Усилием воли он выпустил руку Рип и шагнул за нею.

Ресторан был закрыт. Шакир постучал в дверь, не сразу раздался грубоватый, немолодой женский голос:

— Чего ломитесь? Или неграмотные?..

Дверь отворилась, у порога стояла полная женщина в белом халате, похожая на Марью Илларионовну.

— Обед не готов, вот на двери написано. Неграмотные?

— Дорогой, милый, драгоценный товарищ,— понес Шакир, — так мы же вам не сказали, что пришли обедать! Мы идем отметить день рождения этой гражданочки, а весь фокус в том, что минута ее рождения... через десять минут! Клянусь, на колени встану, нового костюма не пожалею!..

— Как тебе выпить захотелось! — засмеялась уборщица. — Идите, но обеда не спрашивайте, не готов.

— Бутылку шампанского, лучших конфет и фруктов! — распорядился Шакир.

Столик выбрали справа. В стеклянной вазочке стояло несколько цветков, Шакир собрал цветы и с двух соседних столов, поставил их все перед девушкой. Горбушин сидел рядом с нею, держал ее руку. Что означает робкое полупризнание Рип? Неужели она любит его?

Буфетчица принесла все заказанное. Шакир поднял бокал с шампанским:

— Ну, Никита, шайтан, хватит ли твоего воображения понять до конца мою радость... И поцелуй скорее Рип. У нее же сейчас, сию минуту день рождения!

И он взглянул на часы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Иван Ильич Уксусов

ГОЛОДНАЯ СТЕПЬ

Л. О. изд-ва «Советский писатель». 1979. 336 стр. План выпуска 1979 г. № 117. Редактор *К. М. Успенская.* Художник *М. Е. Новиков.* Худож. редактор *А. Ф. Третьякова.* Техн. редактор *С. Л. Шереметьева.* Корректор *И. Г. Клейнер.*

ИБ № 1756

Сдано в набор 03.08.78. Подписано к печати 24.01.79. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 17,64. Уч.-изд. л. 18,15. Тираж 150 000 экз. Заказ № 772. Цена 1 р. 30 к. Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени типография имени Володарского Лениздата. 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

1 р. 30 к.


ИВАН УКСУСОВ
ГОЛОДНАЯ СТЕПЬ